



ЖИВОЙ СЕВЕР

Сборник рассказов



Санкт-Петербург
2020

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6
П649

*Книга издана при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации
и техническом содействии Союза российских писателей*

Составитель *Владимир Софиенко*

Оформление обложки
Алексея Максимова

П649 **Живой Север:** Сборник рассказов. — СПб.: Издательство Сидорович, 2020. — 456 с.

ISBN 978-5-6044244-0-7

В книгу вошли лучшие произведения о Русском Севере, присланные на международный литературный конкурс «Петроглиф» в период с 2013 г. по 2019 г.

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-6044244-0-7



9 785604 424407

© Владимир Софиенко, составление, 2020
© Издательство Сидорович, 2020

От составителя

Писать о Севере всегда непросто. Писать о Русском Севере сложно вдвойне. Может, потому, что здесь проходит посконный русский разлом. Север всегда притягивал людей крепких духом, вольных мыслями, сильных верой. Здесь пересекались торговые пути карелов и разбойничьи тропы викингов, здесь прятали по скитам веру старообрядцы, а святые старцы обращали в православие шаманов. Эта земля полнится рунами Калевалы, помнит первопроходцев Арктики, ужасы ГУЛага. Здесь, на самом её краю, у берегов Ледовитого океана в непригодных для жизни условиях веками ковался характер поморов и саамов. Не каждому дано понять суровую красоту Севера, его первозданную силу. Но и Север не всякого примет...

Владимир Софиенко

Реальность чуда

«Времена романтического Севера кончились. Нынешние северяне никакие не бродяги, не охотники, не рыбаки. Живут в многоэтажных домах, смотрят телевизор, блуждают по Интернету. Некоторые, правда, гуляют по грибы и ягоды или жарят шашлык на ближайшей опушке», — так начинается рассказ победителя Международного литературного конкурса «Петроглиф» за 2016 год Леонида Нетребо «Полуостров Налим».

И с этим трудно не согласиться: в самом деле, цивилизация проникла в самые дальние труднодоступные уголки дикой природы, в том числе и Русского Севера. Образ жизни сильно поменялся, а все, кто считает нужным и может себе позволить, всю пользу получают удобствами технических новинок. Однако самая глубинная сущность человека по-настоящему выявляется в контакте с природой, даже в таком неуклюжем, непрактичном и болезненном контакте, как в том же рассказе Нетребо.

А новые технологии нередко становятся спасительными для человека, который неожиданно потерялся и выбился из сил в неравной борьбе со стихией. В частности, только благодаря мобильной связи, почти чудом пойманной на льду огромного озера, получает шанс выжить герой рассказа петрозаводчанина Олега Мошникова «Гармошка»: «Вдруг — на берегу очередного сонного взвихренного миража — сотовый проснулся, пискнул, забился под сердцем ожившим птенцом. Вытащив телефон негнующимися пальцами, услышал я голос сына:

— Папа, ты где?! Почему вне связи, почему не отвечаешь?

— Сынок, сынок, — шепчу я непослушными губами, — я на Онежском озере, попал в буран, свяжись с МЧС... Со спасателями свяжись!»

И каким точным олицетворением воскресшей надежды оказывается этот сотовый проснулся, пискнул, забился под сердцем ожившим птенцом!

А где-то неподалёку (по северным меркам) туристские группы никак не смогли бы пробиться через перевал без обязательного камлания потомственной саамки-шаманки, приподнимающей для них тучи, о чём рассказывает в «Песне Севера» Ольга Вершинина. Отмечу, что с её героями не хочется расставаться, наоборот, не оставляет чувство, что эта сравнительно короткая история может развиться в большую вещь — в повесть или даже роман.

Множество интереснейших образцов малой прозы собраны под одной обложкой благодаря литературному конкурсу «Петроглиф», основная тема которого — наследие Севера. Лучшие работы — победители и финалисты в номинациях «Реалистическая проза», «Фантастическая проза» и составили основу книги в двух разделах соответственно: «Мир реальный» и «Мир ирреальный». Концепцию сборника, как мне представляется, может удачно пояснить цитата из рассказа самого первого победителя конкурса Олега Кожина «Снежные волки»: «Я сидел на нарах, чувствуя, как отогреваются заледеневшие ноги, как тает иней на бровях и ресницах, а по избушке растекался сказочный аромат чего-то, чему нет названия ни в одной поваренной книге мира — какой-то фантастической похлебки, приготовленной из того, что каждый кинул в общий котел...»

Сам конкурс с 2013 года является неотъемлемой составляющей в проведении ежегодного международного литературного фестиваля «Петроглиф» в Республике Карелия и проводится в партнерстве с Союзом российских писателей (г. Москва), с Карельским региональным отделением «Союза писателей России», редакцией альманаха фантастики «Полдень» (г. Санкт-Петербург). А награждение победителей неизменно проходит в рамках первой части фестиваля.

По словам организатора проекта директора Автономной некоммерческой организации (АНО) «Петроглиф» писателя Владимира Софиенко: «Писать о Севере — всегда непросто. Писать о Русском Севере сложно вдвойне. Может, потому, что здесь проходит посконный русский разлом. Север всегда притягивал людей крепких духом, вольных мыслями, сильных верой. Здесь пересекались торговые пути карелов и разбойничьи тропы викингов, здесь прятали по скитам веру старообрядцы, а святые старцы обращали в православие шаманов... Эта земля полнится рунами Калевалы, помнит первопроходцев Арктики, ужасы ГУЛага. Здесь, на самом её краю, у берегов Ледовитого океана в непригодных для жизни условиях веками ковался характер поморов и саамов. Не каждому дано понять суровую красоту Севера, его первозданную силу. Но и Север не всякого примет...»

И в самом деле, не все изначально готовы к Северу и Север принимает не всех. Однако именно благодаря бурной и неустанной деятельности АНО «Петроглиф» множество творческих людей приблизились не только к его пониманию и приятию, но и к настоящей всеобъемлющей любви к нему. Сюда ежегодно приезжают гости не только со всей России, но и из Германии, США, Китая, Японии и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Все они получают возможность проникнуться духом Севера: его культурой, историей, литературой, архитектурными особенностями и природным разнообразием.

Так в рамках этнокультурной программы участники семи фестивалей (с 2013-го по 2019 год) смогли посетить остров Валаам, горный парк «Рускеала», онежские петроглифы, гору Паасонвуори, остров Кижи, святые источники и часовни Заонежья, беломорские петроглифы, Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, национальный парк «Паанаярви», острова Кузова в Белом море, старинные деревни и часовни Сямозерья, ладожские шхеры, национальный парк «Водлозерский», Свято-Ильинский Водлозерский погост (монастырь).

В уникальных местах проведения фестиваля сняты документальные фильмы: «Три дня из жизни „Петроглифа“», «К Белому морю», «Живой Север», «Серенада ладожских шхер», «Тайнозритель».

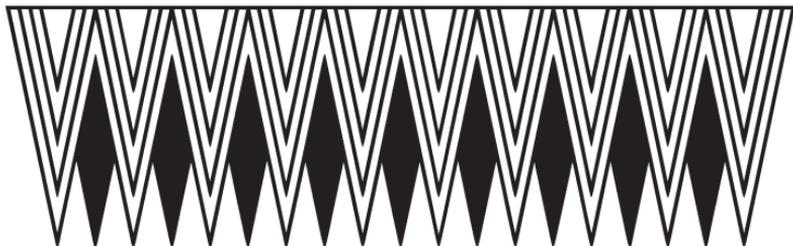
Специальные литературные и культурно-образовательные проекты обращены к детям и юношеству. Несколько лет непосредственного участия в работе фестиваля наглядно убеждают меня в важности и значимости этой деятельности для всей современной русской культуры.

Конечно, во дни сомнений, тягостных раздумий и всего такого прочего сами собой возникают вопросы, как в рассказе замечательного петербургского прозаика Владимира Шпакова «В облаке пара»:

«У нас все держится... Непонятно, кстати, на ком? И держится ли вообще?!»

Благодаря фестивалю «Петроглиф», одноимённому конкурсу, а теперь и сборникам лучшей северной прозы, мы видим — держится! Порой это кажется чудом, но раз за разом оно оказывается реальностью.

*Александр Евсюков,
прозаик, критик, лауреат российских и
международных литературных премий,
председатель секции прозы Московской организации
Союза российских писателей*



МИР
РЕАЛЬНЫЙ



Владимир СОФИЕНКО

(г. Петрозаводск, РФ)

Смотритель реки

Рассказ

1

Для разговора мы расположились в кухне за обеденным столиком перед пузатым электрическим самоваром, как раз напротив окна с уютными цветастыми занавесками. Моя жена Лена привычно занималась стряпнёй у плиты, мы со Славкой строили планы о предстоящем походе. Вернее, строил их Слава, а я кивал в ответ, соглашаясь с ним во всём. Славе почему-то нравилось бывать в нашей скромной кухне. Голубенькие обои в мелкий неброский рисунок, на стенах — старые шкафчики, обклеенные самоклеящейся, всюду — фотографии в рамках, на полочках — фарфоровые статуэтки... Нам с Леной казалось, ничего особенного. Но, засиживаясь у нас в гостях, Слава непременно говорил: «Уютно у вас здесь». Сегодня дело другое. Слава, будто наэлектризованный своей идеей похода, не замечал ничего вокруг.

— Медведь — он не дурак. Ему тоже лишний раз с человеком встречаться неохота. Если в лесу вести себя громко, он никогда не подойдёт, — блистал своими знаниями Слава. — Я вычитал на одном форуме, что туристы в лес берут хлопушки или петарды, чтобы отпугивать зверя. Но об этом позже! — Славик вожаделенно потер руки, бросив взгляд на плоску с дымящейся горкой цельных отварных картофелин. Облизывая бугристые края, к ее подножию медленно сползал оплавленный кусок желтого деревенского масла. — Это хорошо, что ты уже вернулся. Вовремя. Пойдём по графику, в самый комар. — Он нетерпеливо заерзал на стуле. — Значит, ты точно едешь на Север?

— Точнее не бывает, — ответил я. Но прозвучало это не совсем убедительно, и Славик, утратив интерес к тарелке, впился в меня цепким взглядом.

— Да еду, еду! — поспешил я заверить его, отрезая себе путь к отступлению. Конечно, у меня были опасения: сплав на байдарке — дело нешуточное, мне не знакомое. Оставалась одна загвоздка: — Вот только сессия...

— Перенесёшь сессию. Не дрейфь, прорвемся! — заверил Славка.

А я и не дрейфил. Наверное, потому мне не было страшно, что я гнал от себя мысли — как там, на Севере, как он примет меня...

— Ну да... Мы вернемся! Мы обязательно вернемся, — добавил Славик, решив, наверно, что именно это хочет сейчас услышать моя жена.

Лена рассеянно улыбалась своим мыслям, занимаясь закуской. В кухне запахло салом, малосольными огурцами с тархуном. Ее округлившийся животик забавно выпирал из-под цветастого фартука.

Славкины слова мне уж точно оптимизма не при-

бавили. Но на попятный идти было поздно: уговор есть уговор.

— Возьми побольше теплых вещей: носков шерстяных, тельник, дождевик какой-нибудь, — наставлял меня Слава. — Помню, как-то пару лет назад мы поехали с Гориным...

Он рассказывал о Белом море, удивительных встречах с поморами, их непростых рыбацких судьбах, диких лагерях, разбросанных по песчаному берегу реки Варзуги, и, конечно, о царь-рыбе сёмге, которая, преодолевая стремнины, ходит на нерест.

Славка любит Север. Это знает всякий, кто знаком с его историями. И, наверное, во многом благодаря их магии я без особых раздумий согласился на его авантюру.

Дорога для меня — обычное дело. Еще с юных лет, когда я всерьез занимался спортом, дорога стала неотъемлемой частью моей жизни. А с перестройкой и развалом СССР я, да и вместе со мной половина огромной страны, брошенной на произвол судьбы, запылила «челноками» по дорогам СНГ на колесах Меркурия.

В аэропортах, на вокзалах я всегда с интересом наблюдал за туристами с огромными рюкзаками, к которым были привязаны коврики, покрытые копотью котелки и металлические кружки. Я не против активного отдыха. Сам люблю горные лыжи. Но пластиковые каяки и байдарки вызывали у меня чувство непонимания или даже горькую усмешку. «Нет, — всякий раз при встрече с байдарочниками говорил во мне бывший пловец, — это уж точно не мое. Наплавался».

— ...Конечно, поеду, — выпалил я, когда Слава предложил мне сплав на байдарке по реке Поной на Кольском полуострове. Моё согласие стало полной

неожиданностью даже для меня самого. Было это месяц назад.

— Смотри, хорошо все взвесь, — предупредил он, испытующе глядя на меня. — Дело серьезное. Если сомневаешься, лучше сразу откажись. Когда соберется команда, обратной дороги не будет.

— Я уже решил, Слав, можешь на меня рассчитывать! — заверил я и... уехал на Украину навестить родителей.

Лена тем временем, недолго похлопотав, соорудила закуску. На столе появилась глиняная миска, доверху наполненная дольками мясистых, сочных помидоров с колечками крепкого репчатого лука и тугих пупырчатых, чуть колких огурчиков. Салат оставалось только заправить. Я открыл бутылку с деревенским маслом. По кухне поплыл аромат свежесжатого подсолнечника.

— Так что там, на Украине? — любопытствовал Слава, намазывая на хлеб душистый, пропитанный ядреным чесноком смалец.

— Тепло, — ответил я, — а еще — вот! — Я достал из холодильника бутылку первача.

Славка, приметив мою хозяйственность, тут же предложил мне бластное место «каптёрщика»:

— Ну что, будешь у нас в команде главным по продуктам?

— Легко, — согласился я. — А кто еще пойдет с нами?

— Разве я не говорил? — Слава удивленно поднял белёсые брови. — Горин, разумеется. Конечно, лучше бы пойти двумя командами, как я и планировал... Но ты же знаешь — у нас люди долго раскачиваются. А все, кто хотел идти раньше, вдруг нашли себе дела поважнее. Предатели, одним словом! — Слава всегда категоричен в выводах. — Ничего, справимся втро-

ем, — заверил он. — Горин приезжает через неделю. За это время мы должны подготовить снаряжение, закупить продукты и уладить финансовые вопросы.

— И институт... — напомнил я, разливая горячительное по стопкам.

— И институт, конечно, — согласно кивнул Слава. — Теперь нужно выбрать маршрут.

Он извлек из кармана брюк сложенный вчетверо лист бумаги. Слава — талантливый администратор. За месяц с небольшим он познакомился в Интернете с уймой народа: туристами, лесниками, рыбнадзором. В активе его знакомых появился экипаж «Ми-8» и даже капитан небольшого судна «Клавдия Еланская». Помощь этих людей, незримых, но вполне осязаемых, должна была поступать от каждого в свое время — по мере нашего продвижения по Кольскому полуострову.

— Даже не знаю, что и думать, — то ли в шутку, то ли всерьез сетовал Слава. — Все подозрительно удачно складывается. И не разобрать сразу: бесы ли тянут или силы светлые ведут.

— Ты серьезно?

— Приедем на Север — поймём, — не сразу ответил он глухим голосом. На мгновение его взгляд сделался жестким — он опять изучающе посмотрел на меня, затем опустил глаза в листочек.

— «...На этом маршруте самая большая нагрузка приходится на начальный этап (подъем по Афанасии) и на последние дни (преодоление сложного порожистого низовья Поноя), — прочел мне Слава выдержку из отчета туристов. — Но лучше всего сразу добраться до верховья Поноя на вертолете: и продуктов меньше нести, и по времени будет выгоднее. Правда, увеличиваются расходы...»

Славка сложил лист и отодвинул квадратик в сторону.

— Есть еще пеший маршрут, — толковал он, — но это для большой команды. В любом случае каждый маршрут берет начало в Ловозере. Меня познакомили с одним ловозерцем. Я договорился с ним о ночлеге, ну и в остальном он тоже обещал помочь. Может, лодка понадобится или вездеход...

Мы еще долго обсуждали список продуктов и допустимое количество личных вещей. И всё же что-то не давало покоя Славке. Он непрерывно ёрзал на стуле, будто ища удобное положение, изредка бросал взгляды на мою жену, пощипывал рыжеватую бородку. Он всегда так делает, когда нервничает.

Уже на пороге Слава как можно тише спросил:

— А Лена тебя точно отпустит? Она все-таки в положении...

— Отпустит, — послышался голос с кухни. — Вы только живыми и здоровыми возвращайтесь.

Моя жена Лена принадлежит к тому огромному женскому лагерю, что далеко отстоит от добровольных лишений походной жизни. И она туда же — уж подозрительно легко отпустила меня на Север. Как тут не вспомнить Славкиных бесов?..

В назначенный день Слава приехал ко мне рано утром. Горина с ним не было: накануне отъезда у него открылась язва.

— О легком маршруте придется забыть: денег маловато. Будем идти вверх по Афанасии, — сказал тогда Слава.

Подхватив рюкзаки с провизией, мы вышли на улицу. Утро встретило нас холодной моросью, неприятно и как-то сразу облепившей лицо и руки. Свинцо-

вое покрывало облаков укутало низкое небо до самого горизонта. По унылому двору, подчиняясь порывам резкого ветра, одиноко катилась пустая коробка. Наскакивая на черные, отполированные временем валуны, она подпрыгивала, с шумом ударялась о землю и беспомощно хлопала картонными «крыльями».

Мы вернулись за оставшимися вещами. Уже в лифте, после моего короткого прощания с женой, Слава признался:

— А я ведь до последнего не верил, что Лена отпустит тебя. Остаться одной, в положении, да еще с пацаном на руках... Отчаянная она у тебя. Сколько уже Саше?

— Четыре.

Разговор не клеился. Каждый хотел говорить о главном, но с чего начать, не знал. Наконец Слава как-то неуверенно или даже с опаской, будто боясь оказаться одиноким в своих чувствах, спросил:

— Мандраж-то есть?

— Еще какой! — признался я.

Он удовлетворенно кивнул:

— Это Север зовет.

Во дворе не было ни души, коробка, подхваченная ветром, унеслась, и из-за этого двор показался еще пустыннее. Неожиданно громко хлопнула дверь подъезда. За нами выбежала Лена.

— Вышла посмотреть, как тут у вас... — будто извиняясь, сказала она, взглянув на Славкину машину.

Застигнутые врасплох, мы по-гагарински молодежато улыбались. Лена крепко прижалась ко мне. Она чуть виновато улыбнулась, на прощание махнула нам рукой и скрылась за дверью.

Мотор пикапа завелся с полпинка. Обогнув двор, мы медленно покатали вдоль домов, мимо редких прохожих, сутулящих плечи под порывами ветра. Вы-

скочив из-под кустов, рядом с машиной забумкала та самая картонная коробка. Сердце защемила тоска. На меня вдруг накатило: «Куда я еду, а главное — зачем, почему мне не сидится дома, в тепле? Выйти, пока не поздно! Остаться!»

— Что-то, Слава, меня не по-детски прижало, — признался я. — Со мной такое впервые. Даже когда из Казахстана бежал... Ведь там все оставил... Всех...

— Обычное дело. На Север едем. Думаешь, мне просто?..

Мы притормозили у въезда на мурманскую трассу.

— Ну что, с Богом.

— С Богом, — сказал я.

2

Наш внедорожник уже довольно долго пылил по северным дорогам. Мы остановились заправиться на бензоколонке. Где-то в утробе железного короба перестал жужжать мотор. В узком окошке бензоколонки, щелкнув, замельтешили цифры. Наконец цифровая круговерть замерла. Слава стукнул пару раз о край горловины бензобака изогнутой трубой пистолета и вернул его в гнездо колонки.

Залив полный бак, отъехали в сторонку — передохнуть.

— Держи, Володя, — Славка протянул мне складной нож с изящно изогнутой деревянной колодкой. Широкое в основании, добротное лезвие с саблевидным острием и зазубринами на тыльной стороне приятно холодило мою ладонь.

— Щучий. Где он только со мной не побывал! — Слава любовно поглядел на потемневшее от времени дерево колодки.

— А как же ты?

Под пристальным взглядом сердобольного хозяина нож исчез в моем кармане.

— У меня — вот... — Слава задрал край энцефалитки. На ремне красовался финский нож. Друг еще раз выразительно посмотрел на край моего оттопыренного кармана. — Прошлый раз Горин чуть мое любимое ведро не утопил, гад. Мне тогда пришлось в ледяной воде искупаться...

Я предусмотрительно застегнул карман на молнию, хотя бы так выказав ножу своё почтение.

— Поехали! — скомандовал он, пристегивая ремень безопасности. — Остановок не будет до самого Ловозера.

— Интересно-о, — задумчиво протянул я, — оно от русского «ловить» или английского «любить»?

— Ты тоже обратил внимание? — Слава повернул ключ в замке зажигания, и машина, солидарная нашим тревогам, мелко задрожала. — Что еще это озеро Любви нам готовит?..

Я молча смотрел в окно. Мимо, набирая ход, проплывали развесистые ели. Самые высокие из них, склоняя верхушки под тугими порывами ветра, покачивали нам вслед пушистыми лапами.

Отчего-то мне пришла на ум однообразная пустошь казахской степи, злое солнце и пыльный бинт дороги. Движение там заметно лишь по стрелке спидометра да ухнувшему в яму колесу. Иногда вдоль дороги, словно стражи, вырастают и тут же исчезают столбики-суслики. Совсем скоро ты их не замечаешь вовсе — глаза заняты другим: всматриваясь в бесконечное грязно-желтое полотно, ты пытаешься хоть ненамного приблизить манящий расплывчатым маревом горизонт. Куда уж печальнее картина? Но ведь не было у меня тогда этого мандража, как не было его

и в моей щедрой на перелеты и переезды прошлой жизни! Конечно, было страшно, когда под Тюменью мы, закидывая шаланду нашего грузовика, уходили от бандитов. Если бы не скинули их вишневую девятку в кювет... Но те страхи вполне понятны и объяснимы, а откуда пришла эта невидимая сила, державшая меня в напряжении с начала нашего похода? Мне было одновременно интересно и жутковато прислушиваться к своему новому состоянию.

Вопреки планам Славки, остановиться по пути в Ловозеро нам все-таки пришлось целых два раза. Как оказалось, гаишники в тех краях не дремлют. Мы проскочили мимо скрытой в кустах десятки с проблесковыми маячками.

— Им бы еще маскхалаты выдали! — бурчал Слава, запихивая в карман очередную квитанцию на штраф за превышение скорости.

Погода ухудшалась. Дворники, отбиваясь от облака тумана, смахивали с лобового стекла оседающую небесную влагу.

— Сколько раз проезжал здесь — всегда у Мончегорска такая погода. — Было заметно, что Славка тоже нервничает.

Мы ехали по Мурманскому краю. Могучие сосны остались где-то за шестидесятой параллелью, на их место пришли кустарники да низкие реденькие елочки, злыми одинокими палками воткнутые в каменистую почву.

— Сейчас не видно, но отсюда уже начинаются тундры. То, что справа, — отработанная порода. — Мимо нас проплывала черная гора террикона с отрезанной туманом верхушкой. — Правда, похоже на Мордор из «Властелина колец»?

Я кивнул. Вообще, Слава не любит фантастику, но сравнение было точным. Картина действительно

удручала. Да к тому же градусник на панели приборов показывал, что за бортом для нас оставалось всего лишь пять градусов тепла.

— На вот, почитай отчет туристов про наш маршрут, — Славка вытащил из бардачка сложенный лист.

Я мотнул головой. Мои тайные чаяния не оправдались. Немного отступив, страх засел занозой где-то глубоко внутри меня, то и дело болезненно напоминая о себе.

— Спирту выпить, что ли? — Я вытер влажные ладони о штаны.

Слава понимающе молчал.

— А все потому, что здесь, на Севере, проходит последний рубеж борьбы добра со злом, — Слава рассказал, что где-то прочел, будто Север — это именно то место, где в последней битве сойдутся ангелы и бесы.

— Здесь человека хорошо видно. Проверено. Бесы так и прут из тебя. Помню, в первый раз мне уж очень туго было. Так что будь готов. Я многих возил на Север. И каждый раз человек менялся, — оторвавшись от дороги, Славка посмотрел на меня пронизывающим взглядом.

— Почему Север? — чуть стушевавшись, я был рад говорить о чем угодно, чтобы замаскировать свою неуверенность.

— Не знаю, — Слава пожал плечами. — Может, потому, что расселившиеся здесь русские саамы — последние язычники Европы? Много здесь всякого намешано. До прихода сюда православных это был край шаманов. Говорят, каждый из них владел искусством боевой магии. Кстати, в отчетах, — он кинул мне на колени распечатанные листки, — есть много того, что не знал даже я.

Видя мое упорное нежелание вчитываться в бумажки, Слава стал рассказывать о ловозерских тун-

драх. В самом их сердце находится озеро Сейдозеро, вдоль которого проходит пеший маршрут мимо культурных камней сейдов и гигантской фигуры великана Куйво. По протоку из Сейдозера можно попасть в Ловозеро и дальше, через Афанасию, — на Поной. Этот маршрут выглядел, конечно, привлекательней, и если бы нас не кинули вдвоем, как сказал Слава, «предатели»... Ну, ладно... Что сделано, то сделано. Байдарку будем тащить бечевой вверх по течению до устья реки Марьёк. Чуть выше начинается волок в бассейн Поноя. Этой дорогой, говорят, в одиночку прошел польский карел, писатель Мариуш Вильк. И мы, значит, пройдем...

3

Ближе к Оленегорску туман рассеялся, но мы все же немного поплутали по туманным кольцам объездной дороги, лишенной всяких указателей.

— Бесы шалят. — После напряженной дороги в тысячу верст Слава выглядел усталым.

У водителя из проезжавшей мимо машины с местными номерами мы наконец выяснили нужное направление и свернули на финишную прямую к Ловозеру — озеру Любви. Дорога была пустынной и даже в белую ночь казалась темной. На въезде, будто предупреждая о чем-то, одиноко стояло кем-то забытое фанерное чучело блюстителя порядка. Справа и слева то и дело проплывали покосившиеся поржавевшие плакаты с изображением солдат: «Стоять! Запретная зона!» В стороне, над верхушками деревьев, нацелившись в низкое серое небо, неподвижно висело чуткое ухо локатора.

— Где-то здесь. — Слава остановил машину около двухэтажной «хрущевки», казалось, вынырнувшей

к нам из дантевской «Божественной комедии». Справа на доме была вывеска «Бар», слева — «Продуктовый магазин», по центру — «Суд». Слава с кем-то коротко переговорил по телефону. Вскоре от близлежащего дома отделилась тень. После дорожных рассказов мне всюду мерещилась нечистая сила. Тень оказалась человеком. Спина его была согнута, будто он нес непомерную тяжесть, но шаг был легким и пружинистым, а голова иногда покачивалась в такт ходьбе на длинной худой шее.

— С приездом. Юра, — сказал он, протягивая руку.

Мы тоже представились.

— Я так и думал, что ты Слава, — сказал он, сразу определив начальника нашей экспедиции. — Поехали ко мне.

— Мы не сильно стесним? — Несмотря на договоренность о ночлеге, нам все же было неудобно.

— Нормально. Жена в отпуске, — сказал Юра, усаживаясь на штурманское место рядом с водителем. — Поехали. Дома ужин стынет.

Нам определено было не по себе. Уже у подъезда дома Слава поинтересовался:

— Как тут у вас, не озорничают? Машину оставить можно?

— У нашего дома не тронут. Но если переживаешь, можно отогнать ко мне в гараж.

Мы решили взять с собой вещмешки и часть провизии. Слава достал пятилитровую канистру со спиртом.

— СМЭ, — сказал он, поймав взгляд Юры. — Спирт медицинский этиловый.

Юрина квартира была на последнем, четвертом, этаже. Дверь не была заперта.

— Володя, располагайся. Суп на плите, семга в холодильнике — режь, не стесняйся. Там же и морошка.

Мы недолго. Гараж поблизости, — сказал Юра и повёл Славку перегнать машину.

— Если что, Димка, родственник мой, отмантулит вас куда понадобится! — разгоряченный спиртом и беседой, говорил Юра.

Мы со Славиком переглянулись, дивясь местному богатырю, который способен «отмантулить» нас обоих — тоже немаленьких.

— Пусть мантулит, но не очень. Нам еще на Поной шагать, — на всякий случай согласился Слава.

— Отвезет, значит, — улыбнулся Юра нашей стоворчивости. — Это так лопари, саамы то есть, говорят: «отмантулить».

От Юры мы узнали, что родом он с острова Варандей, а здесь осел после службы в армии.

— Где служил-то? — поинтересовался Славик.

— А теперь молчи и бледней. — Юрино лицо стало серьезным. Опершись руками о край стола, он, чуть приподнявшись, навис коромыслом над столом. Выдержав паузу, выдал: — Я расторопный десантник-связист!

Слава и Юра слились в объятиях. Слава тоже служил в Морфлоте. В доказательство разнополосого братства Юра показал нам фотографию, где он молодой и в тельняшке. И хотя на мне тоже был тельник, подаренный по случаю Славиком, пехоте в этот клуб по интересам дорога была заказана...

— Да спят тут у меня два бродяги-охламона...

Сквозь полудрему я слышал, как Юра разговаривает по телефону. Я открыл глаза. Удивительно, как вчера еще чужой дом становится своим. В голове шумело. Неуверенной походкой я пошёл побродить по уже знакомой трехкомнатной квартире — надо было

раскачиваться и сообразить завтрак. Юра уже успел куда-то уйти.

Не успели мы со Славкой сесть за стол, как он вернулся.

— Все готово, — объявил он. — Димки нет дома, ушел в тундры оленей своих смотреть. Серега, кореш мой, отмантулит вас к устью Афанасии. В устье избушка стоит. Там у деда Андрея заночуете.

— Много у Димки оленей-то? — спрашиваем.

— Да как сказать... — Юра не спешил раскрывать все тайны. — По-всякому случается... В том году троих недосчитался.

— Волки?

— У нас похуже волков зверь имеется... — помрачнел Юра. — Прилетают сюда москвичи позабавиться. Управы на них нет. Погиб тут один в эту зиму — не справился со снегоходом.

Добродушные складки возле его улыбчивого рта сгладились, глаза сузились, губы плотно сжались. Что-то в его взгляде напомнило мне Славкины разговоры про бесов.

— Да вы не спешите, — сказал он, глядя, как мы торопливо улетаем бутерброды. — Серега только к обеду освободится. У нас даже есть время на осмотр местных достопримечательностей. Музей у нас краеведческий хороший.

— Говорят, перед смертью Пушкин моченой морошки попросил, — невпопад вспомнил классика Слава, подцепляя ложкой сочную желтую ягоду из варенья.

4

— Юра, а как же дверь? — Я выходил из квартиры последним, а ключей у меня не было.

— Там палка стоит, притули ее к двери. Если кто и придет — будет знать, что дома никого нет, — беспечно махнул рукой хозяин.

Мы поспешили в краеведческий музей. Он оказался на другом берегу судоходной реки, разделяющей городок на две части. Музей встретил нас холодными темными стенами пустых залов. Из черного зева дверей, скрывающих за собой древности самобытной культуры, вышли две пожилые хранительницы наследия саамов.

— Вот, привел, — сказал Юра без лишних разговоров.

— Что ж, пройдемте. — Одна из смотрительниц указала нам на дверь.

Мы шагнули в полумрак и сразу же оказались в глубине веков — перед нами стоял огромный валун с петроглифами. Дальше шли экспозиции, знакомившие с суровыми условиями проживания на Крайнем Севере, предметами быта саамов, орудиями охоты... На каждом рубеже тысячелетий, представленном в другом зале, свет за нашими спинами потухал, освещая теперь грядущие, еще не исследованные нами века. В полном молчании, в окружении предметов глубокой старины, этот путеводный свет вполне мог сойти за мистическое, даже потустороннее явление, если бы за нашими спинами не слышался шелест платья безмолвной смотрительницы.

Спустя пару часов мы были уже на берегу. Как сговорились, нашли Юриного друга.

— Сергей, — коротко представился нам парень в костюме защитного цвета. — Когда выезжаем? — сразу перешел он к делу.

Его казанка уже чалилась у пирса возле гаража, вплотную подходившего к реке среди длинной чере-

ды таких же приземистых, крытых железом строений с рыбацкими лодками.

— О стоимости говорить буду я, — шепнул мне Славка, пока Сергей зачем-то отошел на пару минут в гараж.

Когда тот вернулся, Слава обрушил на лодочника рассудительно-прижимистую логику карела.

Сойдясь в цене, мы погрузили вещи и сели сами. Сергей с лёгкостью оттолкнул казанку от берега. Запрыгнул сам. Мы не спеша поплыли вниз по реке. Вдоль берега, между гаражами, слева и справа, сохли лодки разных мастей. Некоторые уже стояли на воде, но рыбаков не было, лишь на выходе в озеро инспектор рыбнадзора проводил нас долгим изучающим взглядом.

«Озеро Любви» встретило нас непогодой. Взревел мотор. Задирая нос, лодка забиралась на высокую волну и, падая, тяжело шлёпалась о тёмную воду. Встречный ветер швырял в лицо водяную пыль. Вскоре к ней присоединился мелкий колкий дождь. Он неприятно бил, жалил холодом. Укутавшись в плащ, я вглядывался в толщу воды, накатывающую чёрной волной на нос лодки. Сергей, стараясь перекричать шум двигателя и бурчание воды, что-то говорил, указывая на неприветливо выползающие из серой хмари каменистые берега небольших островов. Я вежливо кивал ему, а сам, не слушая, с тревогой ждал высадки. Мне было уютно в нашей посудине, уже не замечал дуящего ветра, дождя на лице, привык к глухим ударам волн в днище. Лодка оставалась единственной ниточкой, что ещё связывала меня с теплой Юриной квартирой, дорогой домой... Вот сейчас мы сойдем на берег и начнется... «Когда же мы наконец причалим? Потом на волоке некогда будет думать о чем-то другом», — злился я на себя. Иногда мы переглядывались

со Славой, улыбались, мол, всё в порядке. Но на его лице угадывались те же сомнения, что мучили и меня.

— ...Там дед Андрей живет. Вообще-то, он один, но иногда у него жена гостит — баба Лена, — донеслись до моих ушей слова Сергея.

— Где? — не понял я.

Сергей указал рукой. Только теперь я заметил прямо по курсу быстро надвигающийся каменистый берег. Справа, из-за мыса, уставленного елями, выползала тёмная лысина сопки со следами редкой растительности и талого, глянцевого снега на покатом склоне — обычное явление на Севере, несмотря на июнь. Она походила на огромный уродливый горб, кое-где отмеченный седой шерстью.

— Не вздумайте разбивать палатку — дед обидится, — предупредил нас лодочник.

— Прибыли. Тундра, — Слава пристально, как мне показалось, даже с вызовом осмотрел земляной горб сопки. На берегу нас встречал внушительных размеров косматый кавказец, собака то есть. Рядом с ним звонким, веселым лаем заливались две лайки.

5

— Свои! Цыть! — послышалось из-за деревьев. Собаки умолкли. К нам вышел маленький старичок с сухими, но сильными руками и без лишних разговоров стал помогать нам высаживаться на берег — начал тягать из лодки вещи.

— Дед Андрей, — протянул он руку сразу, как только помог отчалить Сергею от пирса. Я пожал его крепкую, с дублёной кожей ладонь.

— Хлеба привезли? — шамкая беззубым ртом, он смотрел на нас, чуть наклонив голову влево. Его черное от загара, изрытое морщинами лицо светилось лукавой улыбкой.

— Только сухари, — я наивно кивнул на бесформенную кучу, только что выросшую на берегу, предусмотрительно накрытую тентом.

Видя, что я его не понимаю, дед Андрей махнул рукой:

— Пошли в дом, а то промокнем. Это, — он указал на вещи, — можно оставить здесь. Дождь скоро кончится.

Выудив из-под тента вещи первой необходимости, мы зашагали по дощатой дорожке к бревенчатому домику, стоявшему тут же, недалеко от берега в глубине соснового бора. Кавказец уже сидел на цепи у будки. Во дворе, кроме прочих привычных для цивилизованного человека построек, стояла кувакса — переносное жилище саамов. Точно такое же мы видели в музее в Ловозере. Это конусообразный каркас из нескольких шестов и натянутым на них чехлом из оленьих шкур. Я вспомнил агитплакат на музейном стенде: на призыв «Выбирай в туземный совет трудящихся. Не пускай шамана и кулака» сознательные саамы спешат от своих кувакс к пунктам голосования.

На пороге нас встречала старуха.

— Проходите к столу. Проголодались, небось? Вещи — к печке поближе, пусть просохнут.

В сенях было не протолкнуться. Пригнув головы, мы наконец вошли в тепло. Комната была небольшой. Вдоль всей левой стены тянулись крытые оленьими шкурами нары, наполовину завешанные цветастой тряпкой, как занавеской. Справа немытым самоваром охала и потрескивала буржуйка. Рядом — газовая плита, в углу — шкафчик с нехитрым кухонным скарбом. У окна на столе уже дымились темным мясом тарелки. По комнате пополз сладковатый мясной аромат.

— Сёй, сёй, — приглашала к столу радушная хо-

зьяка. Во главе стола стояла плетённая лыком миска с ломтями свежего ржаного хлеба. — Кушайте оленину. Я сегодня из города. Вот свежего хлеба привезла.

«Склероз, наверное, у деда, — подумал я, — вон сколько хлеба». На вбитом в стену гвозде в пакете висело несколько буханок.

— У нас вот тут... Может, за знакомство? — Слава вытащил из кучки «вещей первой необходимости» канистру. — СМЭ?

По хитрому прищурю деда Андрея было понятно, что ему эта аббревиатура знакома.

— Доставай рюмки, бабка, — зашевелился он. — А говорили, что хлеба не везут!..

Разговор за столом оживился. Старики много спрашивали, что да как. Откуда мы, чем дышим, чем живем, чего нам здесь надо.

— Да был тут у нас один... Поляк... — припомнил он. — Только, Вовка, он другой дорогой шёл, не по Афанаське. Здесь с наскака не пройти, — в качестве собеседника дед Андрей почему-то выбрал меня. Может, потому, что я сидел во главе стола и на меня было удобнее бросать свои насмешливые взгляды. Или я лучше понимал его торопливую «беззубую» речь, кто знает?

— Мариуш Вильк? — У Славы разговор не клеился, на все его вопросы дед отвечал скоро, будто отмахивался. Кинет на него острый взгляд, отметит Славкин вопрос, и снова — мне, быстро так, впалым ртом:

— Не помню, как звали. Может, и Вилкой. Знаю, что другой дорогой он ходил.

Слава не намеревался оставаться в тени. Так всегда: чуть на него меньше внимания — он непременно напомнит о себе — не отмолчится. Как рысь на спине. Как какой-нибудь факир, ловко доставал он из своего цилиндра выгаданное к моменту слово, иногда резкое,

насмешливое, иногда топкое — с двойным дном. Вступишь в диалог — завязнешь.

— Дед Андрей, пойдём покурим, — сказал некурящий Слава, глядя на сморщенное, цвета варёной картошки, лицо старого саама.

— Сёй, сёй, — баба Лена подкладывала мне мясо. В свои семьдесят она была крепкой и расторопной хозяйкой.

С перекура вернулись быстро. Не знаю, что Слава сказал деду, но тот после их разговора слушал в основном его.

— Вовка, наливай по часовой, — только и шамкал он мне теперь, непременно улыбаясь, — по нашему древнему обычаю.

— ...А что после войны? — вернулся он к разговору. — Я здесь комсоргом работал. Взносы собирал.

— Угу, взносы, много ль насобирал? — зло буркнула баба Лена.

— Из мужиков-то я один считай остался. — Дед Андрей в упор не видел бабу Лену. — Вот и выполнял комсомольское поручение, — он довольно улыбнулся. По всему было видно, что воспоминания его были приятными, — помочь кому по хозяйству или ещё чего...

— А с рыбой как? Сёмгу поймаем? — признавал Слава. Обо всех охочих местах нам ещё вчера поведал «расторопный десантник-связист» Юра.

— Здесь — нет. Раньше много было. До коммунистов. Теперь только на Поное. Вот хариуса возьмёте. На Афанаське чуть выше по течению и возьмёте.

Будто охотничий трофей, Слава достал из кармана сувенирный брелок, приобретённый в ловозерском музее. На фрагменте распиленной оленьей кости среди редких водорослей мастер выжег три рыбки.

— Вот, — сказал он, показывая его сааму, — специ-

ально приобрёл. Правда, сначала думал взять с изображением шамана...

— Поздравляю с уловом, — усмехнулся дед. — А что с шаманом не взял — правильно. Не надо лезть туда, в чём не смыслишь.

Слава проглотил нравоучение. Сунул брелок в карман. Достал карту.

— Сначала мы думали пойти вот здесь, — он ткнул в ламинированную бумагу, — хотели посмотреть на сейды, на Куйво...

Дед со знанием дела взглянул на карту.

— Правильно, что не пошли. Карел-то вернётся, а хохол нет, — то ли в шутку, то ли всерьёз сказал он, посмотрев на меня. Я с тоской вспомнил нашу уютную казанку.

— В прошлом году там палатку пустую нашли. Все вещи на месте. В лагере порядок. Никто из зверей не озорничал. А люди сгинули. Здесь человеку не дано хозяйничать. Не зная слова нужного, сюда идти не надо. Места эти глухие, под Масельгой. Масельга — «земляная спина», значит. Так называют снежного человека, — дед Андрей приосанился, стал говорить неспешно, будто подбирая слова. Выцветшие глаза засветились, неотрывно следили за каждым Славкиным движением. Даже баба Лена перестала хлопотать да приговаривать: «Сёй, сёй!» По всему было видно, что старому сааму не до шуток. Слава не ожидал такого поворота дела — стушевался. Опустил глаза, молчит.

— Ну, и чего ты хочешь? — поглядывая на Славу, дед прищурил глаза.

— Так что за слово такое? — спросил Слава.

— Наливай, Вовка, по часовой, — вместо ответа скомандовал дед.

Выпили. Славик посмелел:

— Дед Андрей, так скажешь слово или нет?

— Оленину ешь, Вовка, пока горячая, — снова попытался переменить тему дед.

— Дед Андрей, скажи — ты что, смотрящий за рекой? — не унимался захмелевший Славик.

Старый саам медленно повернул к нему своё напряжённое лицо. Ещё с секунду пристально смотрел в глаза.

— Ты так больше не говори! — вспыхнул он.

Мне стало не по себе.

— Сёй, сёй! — пришла на помощь баба Лена.

— И то верно, — саам расплылся в улыбке, собирая лицо гармошкой. — Вовка, ты послушай, как во время войны я своего брата и сестру в Кандалакше от людоедов спас, — теперь он говорил только со мной. — Когда нас эвакуировали, состав через Кандалакшу шёл. Голодно было. Много людей померло в то время. Моя мать за кипятком пошла на станцию. Я с ребятами из вагона вышелдохнуть свежего воздуха. В теплушках душно, людей битком, и больных и здоровых... Подходят две женщины. Взгляд у них такой оценивающий, мимо одежды там или обуви. Смотрят тебе в глаза, как в душу заглядывают. Страшно стало. Я ребят — в вагон и сам от греха подальше. А на следующей станции узнали — выкрали они из соседнего вагона девочку пяти лет. Сняли чем-то. — Голос деда стал тише, совсем он захмелел.

Дед Андрей «клюнул» носом. Переглянувшись, мы негласно решили укладываться спать. Слава, поблагодарив хозяев за ужин от нас обоих, полез на нары.

6

— Володя, — приветливая баба Лена склонилась ко мне, — пойдём покажу, где у нас удобства. Заодно с собакой познакомлю. Пойдёшь ночью в туалет, она

не тронет. — Будто в подтверждение злобного норова пса, на стул, где только что сидел Слава, запрыгнул большущий чёрный кот с покрытым струпьями подданным боком.

Будка с кавказцем действительно стояла рядом с тропой. Косматое баскервильское чудовище, чуть ли не вровень со своей хозяйкой, при виде нас весело замотало хвостом.

— Не бойся, — снизу долетал до меня старушечий голосок, — погладь собачку.

Я был во хмелю, и мне, как говорится, было море по колено. Я наклонился. Протянул руку к косматой голове с глазами-блюдцами. Всё мог я предположить в эту минуту — половину своей руки в пасти дикой твари, истерзанные, окровавленные конечности... Но вместо кровавого кошмара, по-театральному раскинув руки, проявив небывалую прыть, его престарелая хозяйка чайкой кинулась ко мне на грудь. Не успел я и глазом моргнуть, как был заключён в её объятия, а секундой позже меня, оглушённого, наградили страстным поцелуем! Опрокинутый на землю, я, быстро работая руками и ногами под любопытным взглядом миролюбивого пса, позорно ретировался на четвереньках вперёд спиной.

Споткнувшись о поленницу у входа и громыхнув пустыми ведрами в сенях, я влетел в избу. Дед Андрей поднял с груди дремавшую голову. Строго посмотрел на меня.

— Это моя женщина! — сказал он.

А я не был против и с ходу завалился на нары рядом со спящим Славиком.

Ночь выдалась тревожная. Заслонив полнеба, на меня надвигалась земляная спина зрителя этих мест, проплывали лица старушек с хищными улыбками. «Карел-то дойдёт», — беззубо шамкала одна.

«Сёй, сёй», — говорила мне другая голосом бабы Лены и жадно тянула ко мне скрюченные артритом пальцы... Разбудил меня дед Андрей.

— Слезай, — он резко ткнул меня кулаком в спину.

Я слез с нар. В залитой холодным светом белой ночи комнате было душно. На женской, занавешенной тряпицами стороне, ворочалась баба Лена, беспокойно охал дед Андрей. В красном углу по-богатырски дышало остальное мужское население. «Привиделось», — подумал я и вздохнул с облегчением.

На улице было зябко. С озера дул холодный ветерок. В сиреновом небе о чем-то шелестели кроны деревьев. Где-то вверху кулдыкала птица. Вспомнив сон, я невольно посмотрел в ту сторону, где за соснами вздымалась земляная спина тундры. В тот момент мне показалось, что оттуда за мной пристально наблюдают. Холодный ветер залез мне под тельняшку. Пожившись, я пошёл в избу. Ещё на пороге услышал гомон: за занавеской говорили двое. У одного был неприятный низкий с хрипотцой голос, во втором я узнал деда Андрея.

— Зачем привечаешь чужих? Сколько раз тебе говорено было? — зло басили на нарах.

От этих слов у меня пошёл мороз по коже, будто обмотало меня с ног до головы колючей проволокой.

— Они только на одну ночь, — жалобно шамкали в ответ.

— Пусть идут туда, откуда пришли!

— Они хорошие, только посмотрят — и назад. Можно? — молил кого-то дед Андрей.

— Покажешь дорогу — пеняй на себя! — шипели за занавеской. — И чтобы в последний раз. Больше предупреждать не стану!

— Да, конечно, — облегченно вздохнули за занавеской.

— Что ты там бубнишь? — слышался голос бабы Лены. — Разбудишь всех.

Чтобы не выдать себя неосторожным звуком, я взобрался на оленье шкуры. Вскоре из-за занавески появился дед Андрей. Он сполз с нар, сел к столу, жадно осушил недопитую рюмку, а потом, как после ночного застолья, устало уронил на грудь голову.

Утром мы направились к маленькой дедовой пристани, где вчера оставили вещи. Как-то сами собой рассеялись ночные кошмары. Забылся странный разговор на нарах.

Солнца не было видно. По-прежнему низко над нами висел свинцовый купол неба. По его тёмному донцу ветер гонял серую хмарь облаков. Вдруг что-то случилось. Часть неба чуть просветлела, и в следующее мгновение серебряным лучом, словно скальпелем, раскесарило небесную хмарь — свод лопнул напополам. Окрашенные в киноварь края всё дальше расплзались в стороны, выпрастывая наружу ослепительный солнечный диск.

За каких-то полчаса мы собрали байдарку. Загрузили вещи, равномерно распределив груз по её дну. Узкой элегантной сигарой она покачивалась у берега.

— Ну как тебе «девочка»? — Слава ласкал взглядом обтянутый брезентом каркас.

— Похожа на индейскую пирогу, — легкомысленно отозвался я.

— Сам ты индеец! — Кажется, я задел Славу за живое.

— Садись вперёд на вещмешок, — злился он, — покачай байдарку. Найди равновесие.

Не успели мы порадоваться, как небо снова заволкло. Когда отчалили, на берегу остались дед Андрей и баба Лена. Рядом крутились звонкие лайки.

Здрав хвост трубой, важно выхаживал кот с ободран-
ным боком.

— Поветерь в спину! — хрипло пробасили с берега,
и этот голос заставил меня вздрогнуть.

До устья Афанасии было недалеко. Я молодец. Быстро освоился в неведомом для меня деле — гребле на байдарке. Конечно, до совершенства было далеко, но главное — я чувствовал нашу лодку, работу веслом по-прежнему зло сопящего за спиной Славика, задававшего ритм нашему движению. Мы скользили по спокойной глади «озера Любви». Впереди широкое устье реки разделял маленький остров с заросшими камышом берегами. Держась правой излучины, мы вошли в реку. За островом она сужалась, тогда мы почти сразу почувствовали её упругое полноводное тело. Налегая на вёсла, мы всё больше теряли силы, отвоёвывая у непокорной реки каждый метр пройденного пути. Делать было нечего. Не снижая темпа, повернули к берегу. Оказалось, мы не первые, с кем так бесцеремонно обращалась Афанасия. В том месте, куда мы причалили, было сложено кострище.

— Здесь заночуем, — решил Славка. — Кто его знает, сколько ещё до следующей удобной стоянки топтать...

В пятистах метрах выше по течению река уходила влево, и, кроме обрывистого берега, покрытого зарослью карликовых берёз, было трудно что-либо разоб-
раться.

— Завтра нагоним. — Слава огляделся вокруг в поисках возвышенного места для палатки — небо сулило дождливую погоду. Я разжёл костёр и принялся застряпню. Горячая еда и обжигающий чай — что ещё надо, когда на тебя непрестанно льётся с неба? Забыл — ещё СМЭ. Уже в палатке я рассказал Славе о

ночной «закулисной» перебранке. Он насупился. Задумался о чём-то.

— Володя, вот ты любишь фантастику... — начал он язвительно.

— Не ты ли мне всю дорогу рассказывал про бесов и боевую магию шаманов? — я повернулся на другой бок.

Той ночью мне приснились надгробия...

7

Сверху не переставая лил по-осеннему холодный дождь. В моих болотниках противно чавкали намокшие шерстяные носки. Впереди маячила коренастая спина Славика: с нажимом бульдозера он проминал тропку в карликовых берёзках. Мы шли вдоль русла порожистой реки. Слава тянул бечевой байдарку вверх по течению, я отталкивал её веслом от берега. «Интересно, — думал я, — кому сейчас тяжелее: Славике или мне?» Этот вопрос мучил меня с тех пор, как я в очередной раз соскользнул с крутого глинистого бережка в быструю реку. Спасая лёгкое дюралюминиевое весло, пришлось пожертвовать сухостью ног.

— Воду из сапог не выливай, — посоветовал тогда Славик, — ноги замёрзнут.

Можно подумать, моим ногам в промокших сапогах было тепло. Время тянулось нескончаемо долго. Будто отупевшие от усталости, мы молча передвигались вдоль прибрежных зарослей по течению реки. Иногда после очередного всплеска воды за спиной Славка безразлично кидал через плечо: «Жив?» Я мрачно отвечал: «Жив!» и вновь выходил на берег, поднимал ненавистное отяжелевшее весло. Мы шли дальше. Когда терпеть холод и сырость становилось невмоготу, мы, устроившись на камнях или прямо на

земле, пили разбавленный спирт. Говорили мало. В основном про маршрут. Каждый раз Слава доставал из кармана карту, подолгу всматривался в извилистую синюю змейку реки. Щипал ржавчину бороды. Затем сворачивал карту. И это означало, что нам пора идти дальше. «А чего ради, собственно, идти? — зло думал я. — Вот во время войны партизаны — это понятно. А мы что?..» Я пропыхтел в спину Славе про партизан. Он обернулся, лягнул меня взглядом. Это я нарочно. Он вообще не любит, когда про партизан...

Небольшой каменистый уступ с острыми, словно бритва, краями грозил распороть брезент байдарки ниже ватерлинии — я отчетливо увидел эти каменные лезвия в прозрачной воде. И опять я подошёл слишком близко к предательски заросшему берегу. На сей раз Славка даже не обернулся. «Черт меня дёрнул идти в этот поход! — про себя ругался я. — Хотя черт здесь ни при чем. Это всё Славка!» Мы шли и шли вперёд, минуя крутые повороты Афанасии, изматывающие пороги, доводящие до бешенства заросли корявых упругих стволов. На Славе был спасательный жилет. Лямки, обхватывающие ноги, впились в ягодицы так, что со спины Славка был похож на борца сумо. Да и спереди тоже — так мысленно отомстил я ему за свою усталость. А с другой стороны... С другой стороны, всё-таки это было здорово! Мы делали тяжёлую мужскую работу. Делали её вместе. Знали — каждый готов прийти другому на помощь. Ныли мышцы, невыносимо ломило поясницу... Но всё же я ловил себя на мысли, что нам обоим это нравится. Я точно знал, что Слава чувствует сейчас то же, что и я, и от этого становилось легче. От навалившейся усталости я даже не заметил, как оборвалась полоса зарослей. Вязкая заболота берега тянулась ещё метров сто, а дальше издёрвкой возвышалась чащоба выше нашего роста. Ря-

дом с берегом была небольшая полянка с поваленным сухим деревом. Мы вытянули байдарку на каменистый пляж.

— Чего ты там плещешься? Не наплавался, что ли, в своём бассейне? — ехидно ухмыльнулся Слава.

— Да ну тебя! — отмахнулся я. У меня не было ни сил, ни желания отвечать на его колкости.

— Ладно. Ты пока отдохни, а я разведую, что там выше по течению. Посмотрю место для ночлега. Здесь как-то неуютно. — Слава протянул мне пластиковую бутылку: — По глотку?

— Тебе не кажется, что за нами всё время кто-то наблюдает? — спросил я его, отхлебнув добрый глоток.

— Да нет здесь никого! — попытался беспечно отмахнуться он.

Однако по тому, как Славик огляделся по сторонам, я понял — он сам не верит в то, что сказал.

Обходя прибрежные кусты, Славка поднялся на гребень и ушел в лес. Из-за сосен до моих ушей долетела мелодия какого-то марша. «Медведей, значит, отпугивает», — вспомнил я наставления Славы.

Я завалился на спину. Спасательный жилет уберегал меня от холода, которым тянуло от земли. Глоток спирта обволок меня теплом, тело обмякло, мысли вяло текли вместе с шумом реки прочь отсюда — домой. Я закрыл глаза, чтобы не видеть серой тяжести неба, гневно нависшего надо мной...

8

Мне показалось, что кто-то толкнул меня в бок. Я открыл глаза. Сверху — всё то же свинцовое низкое небо. Сколько же я проспал? Сел, огляделся по сторонам. Славы нигде не было. Я размял ноги на

маленьком, усеянном валежником пяточке поляны. Снова позвал Славку — тишина. Только эхо, оттолкнувшись от левого берега, вернуло мне бумерангом мой тревожный голос. Солнце клонилось за макушки сосен, на пляж легли длинные тени. Славика всё не было. Может, что случилось? Может, где ногу подвернул? Воображение рисовало тело, неестественно лежащее среди поваленных, изъеденных трухой стволов. Я почти видел искаженное гримасой боли лицо моего друга — он молил о помощи.

«Медведь?» — подумал я и не на шутку испугался. Вообще, я никогда не боялся медведей и даже при случае кидал через клетку в зоопарке какое-нибудь лакомство. Мишка вставал на задние лапы, разевал пасть, демонстрируя клыки, кружил, выпрашивая гостинцы. Однако перспектива встретить его здесь, где-то у чёрта на куличках, в богом забытом краю, без оградительной стены из металлических прутьев представлялась мне крайне нежелательной. И это еще мягко сказано. На этот случай у меня в кармане лежала Ф-1. Я выудил небольшую ручную гранату — этакая ёлочная хлопушка. Ф-1 утопала в моей ладони — жалкая маленькая пугалка. Почему-то в супермаркете она выглядела солиднее. Слава взял их аж четыре штуки.

«Что ж, теперь я во всеоружии», — вслух вырвалось у меня с нервным хохотком.

Идти вдоль берега искать истерзанные останки Славика? Наверняка что-то случилось. Не мог он так надолго уйти. Сколько же я спал? Надо развести огонь — дым отгонит зверьё, пока меня не будет. Потом на волокушах притащить Славку сюда. Мы не так далеко отошли от избышки деда Андрея. Ночь переждём здесь, а утром сплавимся вниз по реке. Я посмотрел на байдарку, прикидывая, как ловчей расположить между вещей останки Славика. Почти

что элегантная, низкая, длинная лодка среди стеблей тростника действительно напоминала индейскую пирогу. Зря Слава тогда обиделся на меня за это сравнение. В голове звучал минор реквиема, а перед глазами печально проплывала байдарка, унося к низовьям Афанасии тело Славки, будто индейского вождя из книги Фенимора Купера. Вообще, Слава не любит, когда про индейцев. То есть не любил...

Я спустился к байдарке. Достал топор, заткнул за пояс.

«Ойса да ойса, ты меня не бойся,
Я тебя не трону, ты не беспокойся»,

— затынул я плясовую шуточную песню казаков. Под ногами трещал сушняк. «Медведь не дурак, — вспомнил я. — Если в лесу вести себя громко, он никогда не подойдёт», и ноги сами стали пританцовывать. «Что ж, шуму с лихвой, — успокаивал себя, — тем более что Славкин мишка уже, наверное, сыт».

Хорошо, никто не видел, как я выделывал в этой глуши казацкие коленца.

«Ойса-са-а!..» — эхом подбодрили меня с противоположного берега, когда я зашёл на гребень, где канул в неизвестность Славка.

«Дайте в руки мне кинжал,
дайте ножик-финку,
Я поеду на Кавказ танцевать лезгинку!»

— так ответил я левому берегу.

Неожиданно навстречу вышел Слава, живой и невредимый. Я даже немного разочаровался: уж слишком красиво в моем воображении уносили пирогу с ним волны вечности...

— Ты уже один нож профукал. Щучий. Мой лю-

бимый, — мрачно хмыкнул Слава. — Здесь недалеко хорошая стоянка. Сейчас чая хлебнём и тронем дальше...

9

«Что-то напутал Славик. Не мог здесь пройти в одиночку с лодкой Мариуш Вильк, — думал я, сливая из сапог воду. — Пешим ходом — поверю. Но чтобы вот так, одному, с лодкой, да по порогам и корягам! Дед Андрей прав: Мариуш другой дорогой шёл». Ещё час мы продирались сквозь кусты к месту будущей стоянки. Разбили палатку. Я приступил к готовке ужина, а Слава, наконец расчехлив мудрёные рыбацкие снасти, молча пошёл удить рыбу. Он злился на меня. Сегодня утром выяснилось, что я профукал тот драгоценный Славкин нож, который он мне вручил, и где-то забыл его новый садок. И это в самом начале пути! Насчёт ножа, допустим, я согласен. Но при чем тут садок — я, ей-богу, не пойму! Я чувствовал свою вину, и Славка, пользуясь этим, де-факто назначил меня ответственным за свои вещи.

Дождь совсем перестал, и я наконец смог развесить у костра свои носки. Вытянув ноги к огню, я наслаждался покоем и теплом. Рыжее пламя весело охаживало закоптелые бока котелка. Вода внутри сердито шумела, вот-вот готовая взорваться пузырями. «Чего я сюда попёрся?» — в очередной раз задал себе вопрос и вдруг опять поймал себя на мысли, что всё-таки мне эта затея чем-то нравится. Я вспомнил, что вот так же думал на тренировках. И не мысли это вовсе, а скорее хлёсткие щелчки плетью. Рассуждать было некогда. Ничего лишнего — только о том, как не выйти из жесткого режима задания, перетерпеть вязкую, ноющую боль в грудной клетке. Не отстать от

других. Дотянуть! И ещё не слышать, как орёт тренер, потрясая секундомером (чего проще — бегать вот так по бортику и орать!). И после всего этого вполне логично звучало: «Брось всё. Зачем тебе это надо?» Но за десять секунд положенного отдыха ты успеваешь сделать три долгих выдоха в воду, потом перепонки раздрает ненавистное «Ап!» — и снова борешься с усталостью, мыслями-изменниками, водой, секундами, что быстрее тебя... Для чего это было, почему нравилось — теперь не знаю. Раньше думал — для того, чтобы быть первым, слышать гимн в свою честь. Теперь, сидя у костра, понимал: не для этого. Наверное, есть вещи, о которых четко знать не надо — нужно лишь чувствовать, уловив одну идею, не пытаясь словесно ее для себя сформулировать, чтобы не возвести в невыблемое правило.

На берегу что-то случилось. Орал Славка. Ещё немного, и я, чуть не опрокинув котелок с уже готовыми макаронами по-флотски, выскочил к реке.

— Моя родная!!! — Оказывается, Славик может быть ласковым.

Он держал в руках рыбу с красивым широким спинным плавником и зеленовато-перламутровым отливом чешуи. Держал так, словно она посулила ему чёрт знает чего. Глаза его светились радостью и нежностью. Он ещё что-то шептал слабо трепещущей в его ладонях рыбе, пока она не затихла. Это был первый улов в нашей экспедиции и первый Славкин хариус.

— Засолить сможешь? — Слава торжественно, с гордостью передал мне свою добычу, будто это была шкура убитого медведя — не меньше.

— А то! — Хариус помирил нас. — Дай нож — я разделаю.

Славик ещё раз проучил меня взглядом, припоминая дорогую потерю, а потом всё же протянул нож и, подхватив удочку, помчался к реке.

-
- Ужинать когда будем? — крикнул я ему вслед.
— Не сейчас. Может, ещё на уху наловлю.

10

Всю ночь вокруг нашей палатки ходил медведь. Я знал: это именно он. Я слышал его тяжёлую поступь, как шуршал, проминался под его огромными лапами настил из хвои. Иногда он останавливался и шумно втягивал воздух. Петь песни было уже поздно. Если медведь не побоялся Славкиного храпа, то последнее, что могло его испугать, были масштабные военные учения. «Ф-1» не в счёт. Иногда его шаги были особенно отчетливо слышны, и тогда мне казалось, что ещё чуть-чуть, и он сомнёт нас вместе с палаткой. Ещё до меня доносились его возня и тихое металлическое побрякивание. Я понял: миша доедает макароны по-флотски. Мне стало жаль, что мы оставили так мало себе на завтрак. Было ясно, что этим зверь не насытится. Славку разбудить я не мог из-за сковавшего тело ужаса. Да и чем бы он помог? Бросил бы в медведя связку своих хлопушек? Я вспомнил, что за ужином почувствовал на себе чей-то недобрый взгляд, как в ту ночь у избушки деда Андрея. Будто присматривает кто-то за нами из-за деревьев. Трудно передать, что именно я ощутил, но чувство это вселяло страх. «Да нет здесь никого», — неуверенно тогда сказал Слава, озираясь по сторонам.

Уже под утро, наплюхавшись в реке, медведь снова вернулся к палатке. Обошёл её. Постоял со стороны Славы, задержался у изголовья и замер возле меня. Я не дышал. Вдруг огромной силы лапа протиснулась под палатку, вздыбила мне поясницу, изогнула спину коромыслом. Открыв рот, я беззвучно кричал. Моё горло парализовало. Слова застряли, не желая выходить наружу. Тишину утреннего кошмара

разрезал визг пилы. Так же неожиданно лапа исчезла, не причинив мне вреда. Я открыл глаза. В палатке, в спальнике было уютно и тепло. Снаружи накрапывал дождь. Там же, в шуме дождя, двое пилили дерево поперечной пилой. При слаженной работе звук был чистый: так зубья пилы рвут древесину. Когда кто-то из вальщиков выбивался из ритма, пила звенела изогнутым полотном, её мелодия ещё летела некоторое время сквозь неторопливый дождь, пока вновь не приступали за работу труженики-зубья. Заворочался и вылез из спальника Слава.

— Ну, ты дал! Всю ночь мне спать мешал — храпел.

— Ты слышишь? Кто-то рядом лес валит! — Мне казалось странным, что Слава говорит о такой ерунде, когда в этой глуши кто-то пилит деревья.

— Ага. Твоя бригада, где ты всю ночь работал трелёвочником, — хохотнул Славик. — Это щур — птица такая. Северные жители называют ее сторожем ночи. Пойдём завтракать.

— Ночью, кажется, приходил медведь, — остановил я Славу.

Он замер спиной ко мне. Через секунду обернулся.

— Ты видел? — Слава нахмурился.

Я рассказал ему о своих ночных переживаниях.

— Если бы он приходил, то... И вообще, Володя, есть такое поверье: не хочешь с ним встретиться — не называй по имени. Приснилось тебе всё. Вчера — надгробия наши с открытыми датами, сегодня — вот это... — Махнув рукой, он вылез из палатки.

Теперь я уже и сам понял, что это был сон, но, выйдя под мелкий дождь, всё же прошёлся вдоль палатки, ища следы непрошеного гостя.

Третий день пути был днём открытий. Во-первых, до нас наконец дошло, что идти легче, не надевая спасательных жилетов. Во-вторых, если привязать к середине борта вторую бечеву, то байдаркой может управлять и один Слава — течение само выталкивало лодку к центру реки, оставалось лишь чуть притянуть к себе борт и отпустить нос. Мы уже привыкли к морозящему дождю и холоду. На коротких привалах, пережидая под тентом краткосрочные ливневые полосы, мы разбавляли спирт бурлящей водой порожистой Афанасии, и тогда становилось ясно, что занесло нас в места небывалой красоты. Я доставал фотоаппарат. Мы принимали решительные, полные мужества позы первопроходцев. В эти минуты забывалось о натоптанной тропе, идущей выше зарослей кустов, о кустрищах, оставленных кем-то до нас, о тех, кто, оставаясь невидимым, отмечал каждый наш шаг. Дождь утихал. Мы сворачивали тент и снова шли вперёд, погруженные каждый в свои мысли.

— Сегодня ужинать будем ухой! — решительно заявил Славик. Он размотал удочки и спустился к реке. — Я знаю имя одного беса, он-то и поможет с рыбкой. Пойдёшь удить?

— Не-а, я ещё не обзавёлся бесом-рыбаком, — отшутился я.

В котелке на углях аппетитно булькал плов. Тут же нагревались небольшие плоские камни. Я помещивал плов, переворачивал с боку на бок камни, будто пирожки. На тент падали редкие дождевые капли.

Сегодня днём во время переправы через приток Афанасии мы чуть не лишились байдарки и всего нашего скарба. Порвалась бечева, и лодку понесло на пороги. Я прыгнул в воду и успел схватить байдарку за корму. Это была последняя пара сухих носков.

Сунув в плов, как в грядку, головку чеснока, я плотно закрыл крышкой котелок. Плов должен был ещё немного потомиться. Тонкий аромат мешал сосредоточиться на главном — сушке носков. Из углей я выуживал горячие камни и, изловчившись, засовывал их в носок, затем помещал его между двумя такими же, нагретыми в костре. Как выяснилось, занятие это не из простых, требующее определённой сноровки. Мне казалось, что при высокой влажности и низкой температуре это был единственный способ просушить вещи.

Рыбалка не шла. У реки Слава выкрикивал имя «беса» и закидывал удочку. Наверное, он решил, что это единственный выход отведать ухи. Так и вышло. Спустя время Слава принёс двух хариусов, сам стал готовить добычу.

Славка в ухе знает толк. Это сразу видно. Уха — это его! Обжигаясь, в нетерпении мы глотали плоды его рыбацких и кулинарных трудов.

Солнце катилось по дуге белой ночи. Привычно шумела порогами река. Где-то «пилил» своё дерево «ночной сторож». Разомлев от вкусного ужина, тепла костра и СМЭ, мы говорили обо всём, строили планы на следующий день. Вспоминали деда Андрея, бабу Лену, его странное то ли предупреждение, то ли предсказание: «Карел-то вернётся, а хохол нет». Вдруг стало совсем тихо у костра. Вокруг — ни звука. Не слышно даже шума воды.

— Такого странного похода у меня ещё не было, — признался Слава, нарушив зловещую, почти что потустороннюю тишину. — Не хотел тебе говорить, — он отвёл глаза в сторону, — мне тоже кажется, что за нами кто-то пристально наблюдает.

Я согласно кивнул.

Тишина стала невыносимой. Мы огляделись по сторонам...

12

...Его приближение было похоже на треск трансформаторной будки, на шум в проводах ЛЭП во время сильного снегопада, на частые щелчки электроскопа. Сканируя пространство, он всё ближе катил к моему изголовью. Разминуться мы с ним уже не могли. Сердце бешено колотилось, но даже его стука я не слышал из-за нарастающего треска. С ужасом обречённого я ждал, когда он подойдёт слишком близко. А он без лишних сомнений как-то сразу, нагло вошёл в мою голову, наполнил её шумом своих «электронов», передал их волнение моему телу. Собрав свои щупальца, шар ещё мгновение пребывал во мне, затем как ни в чем не бывало, словно преодолев очередную помеху, продолжил свой путь дальше. Ещё некоторое время по затухающему следу я мог определить его направление...

Славик опять злился. Наверное, он ждал, когда из меня попрут бесы, а из меня по утрам выходили только рассказы о моих фантазмагоричных снах. Может, эти сны и есть бесы? Кто знает?..

— Выбрось все свои шары из головы, — говорил он, укладывая палатку, — а то в самом деле «карел-то вернётся, а хохол нет».

— С шарами или без? Куда я денусь? — улыбнулся я. — Меня баба Лена благословила в дорогу.

13

Это решение давалось непросто. Двое суток мы отлёживались в палатке — восстанавливали силы. Трудно сказать, от чего мы устали сильнее за эти четыре

дня пути: от дождя, холода, нескончаемых зарослей вдоль реки или преследующих глаз. В этом сговоре молчания, окружающем нас, даже деревья казались злыми стражами. Мы боялись показаться слабыми, но каждый из нас уже задал себе главный вопрос: идти ли дальше? Я читал его в глазах Славы, он — в моих. За готовкой и разговорами ни о чём мы ждали, кто об этом заговорит первым. Было трудно принять, что ты не справился, ещё труднее — сказать об этом. Сложнее всего было Славке. Он задумал этот поход. Жил им несколько месяцев. Не сговариваясь, всю ответственность взял на себя. Я был готов поддерживать любое его решение, и он об этом тоже знал.

Слава всё больше молчал, уходил в себя. Он поминутно разворачивал карту, что-то в ней высматривал, щипал бороду, снова засовывал карту в карман. Потом уходил вверх по течению, а вернувшись, подолгу молчал у костра. Спускался к реке с неразмотанной удочкой и возвращался ни с чем. За деревьями тоже, кажется, прислушивались — ждали. Наконец за ужином, протянув мне пластиковую бутылку, он сказал:

— Как думаешь, мы готовы идти дальше? — Слова давались ему с трудом.

— Идти — готовы, но из графика уже выбились. На «Клавдию Евланскую» можем не успеть, — осторожно ответил я. Сдаваться — так вместе!

Выпили, помолчали.

— Как-то не очень возвращаться... — Слава ждал моей поддержки, я слышал это по его голосу.

— Хоть покажешь мне, что такое сплав...

Славик улыбнулся:

— К бабе Лене не терпится?

Мы рассмеялись. Наверное, от наступившей определённости нам стало легче. Наверное...

Ночью перестал лить дождь. Словно подтверж-

дая правильность нашего выбора, выглянуло солнце. Небо впервые улыбнулось нам синевой, ветер лениво играл белоснежным руном облаков. Мы стали собираться в обратный путь. Только теперь мы заметили, как обмелела река Афанасия. Предательскими камнями, словно минами, ощетинилась она там, где ещё вчера их будто и не было. Я занял своё место на носу байдарки.

— Володя, не дай нам напороться на камни.

— Поветерь нам в спину, — сам себе сказал я и оттолкнулся веслом.

Ольга ВЕРШИНИНА

(Ленинградская область, пос. Сосново, РФ)

Песня Севера

Рассказ

«Они спустились в долину, и было их четверо...»

Инга улыбнулась, поймав себя на мысли, что опять не может отделаться от ощущения нереальности происходящего. Иногда казалось, будто она покинула собственное тело и смотрит на всё сверху, паря над группкой замёрзших уставших путников, бредущих через мелколесье. Уже неделю они шли по горам. Путь был нелёгким — в прежние времена людей по нему вела лишь необходимость. Когда-то саамы перегоняли через местные перевалы стада оленей, а порой племена покидали родные долины под натиском чужаков. Но сейчас у каждого из этой четвёрки имелись совсем иные причины идти по веками проторённой тропе.

Прямо перед Ингой качался в такт шагам красный рюкзак Вероники. Худенькая девушка, самая младшая в компании, впервые попала в поход и явно не рассчитала силы. Успешный не по годам пиар-мене-

джер, не прошибаемый и напористый на работе, в горах оказался неожиданно слабым. Но даже рыдая на привалах, Вероника стискивала зубы и продолжала путь, преодолевая себя и будто побеждая нечто, известное ей одной.

Вероника глядела в спину Тимофея — предводителя похода, — вбивавшего в землю шипастые подошвы не раз чиненных туристских ботинок. Он легко тащил старый, советского образца, рюкзак, вмещающий и палатку, и большую часть провианта. На равнине парень работал, раздавая листовки у метро, и не помышлял о карьере. Однако стоило ему только шагнуть к подножию гор, как он становился истинным лидером маленького кочевого народа.

Иногда Инга оглядывалась на замыкавшего процессию Евгения. Самый спокойный и сдержанный в отряде, он лишь изредка отвечал на вопросы или что-то советовал, но обычно просто молчал. В походе Евгений считался незаменимым: тащил много, ел мало и никогда не жаловался. Словно надёжный камень на склоне хребта — неизменный в любых обстоятельствах.

Несмотря на обычные для августа дожди и другие трудности, ребята так свыклись с походной жизнью, что на пятый день пути рискнули брать по два перевала подряд — и вскоре поплатились ободранными ладонями и сбитыми коленями. Курумники — каменные осыпи — перевала Рамзая оказались детской площадкой по сравнению со спуском, который их ждал после Западного перевала Петрелиуса. Огромные глыбы лежали так, что приходилось перепрыгивать черные бездонные разломы. Пот заливал глаза, пронизывающий ветер то забирался под одежду, то норовил опрокинуть путников, словно подталкивая к обрыву.

Так они спускались несколько часов, выбившись из сил, пока не выбрались на едва заметную тропу, с каждым шагом становившуюся всё отчётливее и поэтому вселявшую надежду. Теперь их вполне устраивала бы просто ровная каменная полка, где не пришлось бы лежать, крепко вцепившись друг в друга, как недавней ночью.

Тропа понемногу превратилась в дорогу, и к вечеру среди узких ёлочек полярного редколесья показались обветшалые домишки контрольно-спасательной службы. Впервые ребята подошли к ней так близко — обычно они старались обходить базу стороной, хотя по правилам следовало регистрироваться в самом начале похода. Тем не менее каждый маршрут группа начинала, не сообщив спасателям, куда направляется, и всякий раз рисковала остаться в глубине гор безо всякой надежды на быструю помощь. Но теперь усталость недельного карабканья по скалам и близость ночи заставили путников, не сговариваясь, повернуть в сторону базы.

Территория базы была обнесена разновеликим частоколом, вызывавшим в памяти образы языческих капищ, а на ветвистых корнях, наподобие рогов, прибитых к брёвнам, трепетали от ветра разноцветные куски ткани. Войдя в открытые ворота, ребята сбросили рюкзаки и огляделись.

— Вот бы ещё увидеть настоящих саамов! — размечтался Тимофей. — Не местные фольклорные ансамбли с мобильниками в меховых чехлах, а таких, чтоб на самом деле оленей через ущелье гнали...

— А чем тебе Инга не подходит? Она ж у нас потомок саамов! — возразил Евгений.

— Не пойму, как саамская восьмушка может сделать человека саамом? — усмехнулся Тимофей.

— Думаю, мы здесь их не встретим, разве что се-

вернее, — сказала Инга, вглядываясь в приближавшуюся к ним фигуру. — Тут вполне прозаичные дядьки бродят.

Подошедший мужчина в тёмно-синей форме спасателя, с сигаретой в зубах, неторопливо приветствовал их кивком и протянул руку:

— Пётр.

— Здравствуйте, — Тимофей пожал руку и представил своих спутников. — Мы просто мимо шли...

— Вам бы зарегистрироваться, маршрут наметить, — всё так же неторопливо заметил Пётр. — Чтоб знать, где вас искать, если что...

— Вы всех так оптимистично настраиваете? — съязвила Инга.

Пропустив замечание, суровый северянин продолжал спокойно курить и разглядывать путников. Вероника зарделась под его взглядом и поправила растрёпанные ветром волосы.

— Хоть приблизительно скажите, куда собираетесь?

— На Северный Чорргор... — робко протянул Тимофей.

— Прямо сейчас? — уточнил спасатель без тени иронии, оглянувшись на плотную шапку облаков, лежащую на перевале. — Учтите, там почти везде курумники, ночью тяжело идти.

— Мы, конечно, выглядим, как чокнутые... но нет, не сейчас, — засмеялся Тимофей.

— Тут разный народ ходит, — серьёзно сказал спасатель. — Вы лучше сегодня тут ночуйте, а если хотите забесплатно — ставьте свою палатку. Просто нашей нойде тяжело столько групп в день пропускать.

— Это как? — ребята переглянулись.

— Ну, у нас нойда есть, она камлает с бубном, чтоб облака поднялись. Сегодня с утра одну группу про-

пустила через перевал, скоро ещё будет пропускать, ребята уже вышли на ту сторону. Так что давайте завтра, ладно?

— Хорошо... — ошалело согласился Тимофей. — А как это происходит?

— А вы пока становитесь лагерем там, у леска, и приходите через час, сами всё увидите!

Кроме них, других туристов на базе не оказалось. Выглянувшие из ветхого сарая за домами мужики (один с лопатой, другой — с киркой) молча кивнули ребятам и поспешили скрыться в молодом ельнике, подходившем вплотную к забору.

Поляна на краю базы вполне подходила для лагеря, а главное — у выложенного камнями теплящегося кострища лежала куча дров. Пока парни ставили палатку, девушки приготовили ужин и подогрели воду для чая. И сразу вместе с сытостью пришло чувство усталости. Тимофей вытянул ноги к огню, Вероника сонно прислонилась к его плечу, а Евгений ушёл в себя, устремив взгляд в костёр.

Каждый раз, глядя на своих спутников, Инга понимала, что они больше знают о жизни и даже о будущем, чем она, несмотря на образование и опыт. В городе работа командным инструктором давалась ей легко, но всё это пахло дешёвой копией жизни, в которую разрешают поиграть закоренелым неудачникам, да и то лишь на время. Офисные клерки представлялись неуклюже пролезающими под её руководством в каком-нибудь лесопарке через верёвочные препятствия, и Инга почти физически ощущала бессмысленность собственной работы. Право возглавлять толпу подобных неудачников казалось сомнительным достижением, но другого способа тратить жизнь она пока что просто не знала.

И только в горах Инга получала ответы на все во-

просы, а потому каждый год, сложив в рюкзак лишь самое необходимое, мчалась из города на север. Холодные синие озёра и каменные осыпи, изукрашенные пёстрыми мхами, уже стали для неё родными. Инга шла по горам, день за днём меняя стоянки и чувствуя, как сама меняется с каждым шагом. Солнце высветляло волосы и покрывало лёгким загаром лицо. Широкие лямки рюкзака раскрывали плечи навстречу горам. На привалах по ногам пробегала горячая волна усталости, заставлявшая все мышцы сладко ныть. А горные ручьи вновь наполняли тело силами с каждым глотком. Инга радостно следила за своим преобразованием, и не только внешним.

В горах ей становилось по-настоящему спокойно, словно среди старых друзей. Порывы ветра дружелюбно подталкивали вверх по склону, редколесье само расступалось, открывая тропки, невидимые для других путников, а камни выдвигали уступы именно там, куда она собиралась поставить ногу. Не мешал даже мелкий моросящий дождь, влажной пылью оседавший на лице. Инга не просто любила горы — это чувство казалось взаимным. Особенно остро она ощущала единение с горами, сидя вечером у костра, как сейчас.

Было так приятно отдыхать после броска по ущелью, но час уже прошёл. Допив чай, Инга встала, чувствуя непривычную лёгкость, появлявшуюся каждый раз, когда она двигалась без огромного рюкзака, с которым почтирослась за эти дни. Её слегка колотило от усталости, но пропускать камлание не хотелось:

— Идём приобщаться к культуре?

— Что, саамские корни проснулись? Я-то пойду посмотреть, но чисто в этнографическом аспекте, — уточнил Тимофей. — Ты же знаешь, я скептик. Ника, идёшь?

— Сейчас, не торопись... — Вероника вытряхнула из ботинок песок и теперь медленно зашнуровывала их обратно негнуцимся от усталости пальцами со сбитыми костяшками. — Инга, ты заметила, какой красавчик этот спасатель? Такие синие глаза...

— Это островной синдром, — хмыкнул Тимофей. — Ты уже неделю никого, кроме нас, не видела. Для тебя сейчас все красивыми будут... По-моему, у этого Петра взгляд маньяка. Он всё время будто что-то высматривает. Не стоило сюда заходить. Они тут вообще все какие-то странные, вы этих мужиков в сарае видели?... Может, секта или ещё что похуже...

— По-моему, как раз и нужно быть слегка безумным, чтобы сидеть среди гор круглый год, — сказала Инга. — Но это безумие совсем другого рода, чем ты думаешь.

— Всё равно ты, Ника, не очаровывайся, — подытожил Тимофей, любивший оставлять последнее слово за собой.

Поднявшись, он зашагал к домикам спасательной службы, а остальные последовали за ним, привычно подчиняясь руководителю похода.

Пётр неподвижно сидел на крыльце, устремив взгляд в глубину гор, будто хотел увериться, всё ли в порядке, все ли целы. Казалось, он действительно что-то видит там, в дальнем ущелье, и на расстоянии одним усилием воли пытается помочь блуждающим в горах людям. Обернувшись на оклик, он махнул рукой в сторону щебнистой поляны возле небольшого ручейка, где разгорался костёр:

— Пойдём, вон там, сбоку, можно встать и посмотреть... Только не шуметь!

Ребята вышли на поляну, с любопытством разглядывая обещанную нойду. Стоявшая у костра женщина в длинной полотняной рубахе, подпоясанной

обычной верёвкой, и в драных туристских ботинках на босу ногу, с бутылкой в руке, внешне мало напоминала саамку. Разве что пронзительный взгляд тёмных глаз из-под тяжёлых век да вплетённые в косы полоски рваной ткани, исписанные какими-то знаками, подтверждали её принадлежность к нойдам. Рядом на земле лежал бубен.

— Какая-то она... — Вероника запнулась. — Непохожая...

— А чего ей похожей-то быть, — Пётр улыбнулся. — Она только на четвертушку саамка, по бабке. А так — в городе живёт всю зиму, только на пик туристического сезона приезжает нам помогать.

Нойда стояла над самыми языками пламени, медленно покачиваясь, и подол её рубахи каждый раз, пролетая над огнём, раздувал жар всё сильнее. Скользнув глазами по ребятам, она снова устремила взгляд в пламя костра и продолжила качание. В очередной раз качнувшись, точным движением сбросила один за другим ботинки и встала у самого края пламени босиком. Казалось, пальцы её ног не просто вцепились в землю — они всего лишь за миг словно вросли в неё, погружаясь в латки мхов среди острых камней.

Отпив из бутылки, что держала в руке, нойда выплеснула остатки в костёр, и пламя благодарно взметнулось вверх, выбросив сноп искр, осветивший её бледное лицо. Отбросив бутылку, она подняла бубен и начала стучать по нему. Ладонь словно проскальзывала, падая по натянутой коже, но затем пальцы вздрагивали, и раздавался стук: сначала едва слышный, затем всё более отчётливый. Ритм бубна, казалось, был порождён самой природой — он совпадал и с порывами ветра, и с плеском ручья, и с взволнованным стуком сердец случайных наблюдателей. Звук

бубна крепчал, нарастая с каждой минутой, сливаясь с огнём и устремляясь вверх.

Вдруг запрокинув голову, нойда начала издавать отрывистые звуки, показавшиеся сперва несвязанными, вырывались вразнобой, но вскоре стали складываться в мелодию. В песне звучала дикая мощь, пришедшая из древних времён, когда человек и природа ещё были неразделимы, когда между ними не стояло умозрительных преград из науки, логики и цивилизации. Песня словно просила природу поделиться мудростью и силой, открыть путь среди горных хребтов и защитить хрупкие жизни людей.

— Ллааааа... йлаа... йла-ла-ла... — звуки вылетали из глубины горла нойды, раскрываясь и дрожа в холодном воздухе долины.

Когда-то Инга читала о саамских песнях, об этой особенной манере исполнения, когда звук словно раскачивается в теле певца, а каждая нота цепляет соседние полутона. Но теперь стало ясно: ни одно из описаний не отражало и десятой доли красоты того магического действия, что творилось на поляне. Песня, как дым от костра, чуть поднявшись вверх, никла к земле, стелилась среди камней, подрагивавших в такт звукам, петляя по мхам, змеёй подбиралась к ногам, окутывала и проникала в тело, вовлекая в дикий первобытный танец единения с природой.

Резко вытянувшись и будто став выше ростом, нойда вскинула руки и испустила вопль такой силы, что все вокруг вздрогнули, хотя и ожидали чего-то подобного. И песня пошла по кругу на новой высоте, раскидываясь по поляне, растекаясь между сосен в лес, сметая все препятствия на пути, как лавина.

— Мне как-то не по себе, — шепнула Вероника, вцепившись в рукав Инги.

— Тс-с... Смотрите, смотрите... — Пётр указал в сторону Чорргора.

Шапка облаков вдруг поднялась и неподвижно зависла над перевалом, будто какая-то невероятная сила удерживала её. Тимофей вскинул бинокль, охнул и затем передал его Инге. Она вгляделась: в щель между плотной, как войлок, тучей и россыпью камней проходили яркие пятна — это была та самая группа, что заказывала камлание. Они подошли к перевалу ровно в нужный момент. Туча продолжала висеть, как приклеенная, и из-под неё вдруг хлынули лучи закатного солнца, сложившиеся на крутом склоне хребта напротив в огромное пламенеющее сердце.

— Не может быть! Как она это делает? — воскликнул до того молчавший Евгений и тотчас смущённо затих.

Песня уже звучала по-другому — она не звала, не спрашивала, а приказывала. И повинуюсь этой неведомой силе, все, кто до того просто стояли вокруг, начали раскачиваться, подпевая нойде. Инга услышала сильный голос, звучащий из глубины груди, и вдруг поняла, что поёт сама. Показалось, что она вот-вот взлетит в темнеющее небо и будет парить, сверху глядя на долину, освещённую магическим костром.

Внезапно что-то мягко окутало её тело, приподняло над землёй так, что перехватило дыхание, и Инга поняла, что находится в центре огромного круга, опоясывающего горы, а от неё расходятся тонкими нитями пути все тех, кто проходил через это место. Почувствовала их, услышала их голоса, точно зная, где сейчас эти люди. Кроме ушедшей на Чорргор группы, пятеро мужчин спускались с перевала Рамзая в долину Малой Белой реки, где их ждали друзья — трое совсем молодых ребят, сидевших у костра в долине реки Тульйок, а по сыпучим каменным обрывам пла-

то Кукисвумчорра карабкались двое отчаянно храбрых скалолазов.

Инга выдохнула и чётко увидела сквозь каменные хребты ещё несколько разбросанных по ущельям групп. На берегу Умбозера её будто задержало тёплым потоком воздуха: там стояло лагерем несколько семей, почти ансамбль, если судить по количеству музыкальных инструментов, что они принесли с собой. Уставшие после дневного перехода по горам дети спали кто где: лёжа в палатках поверх спальников, у костра, приткнувшись к рюкзакам, самые маленькие — на руках матерей. А взрослые тихо переговаривались и улыбались, слушая, как звуки гитары, губной гармошки и флейты вливаются в музыку озера. На их лицах танцевали отблески костра. Инга вгляделась ещё и вдруг поняла, что смотрит в огонь, горящий перед нойдой.

Пламя в костре уже поднялось высотой в человеческий рост, и на его фоне фигура нойды в наступающих сумерках казалась огромной и прозрачной. Она словно связывала землю и небо, как поток водопада — неподвижный в очертаниях, но вместе с тем стремительно несущийся в пропасть. Песня резко оборвалась, и всё пространство вокруг поляны будто сжалось. Нойда опустилась, тяжело уронив бубен, крутанулась, зацепив подолом пламя, оно в тот же миг сбилось, упало на угли и больше не поднялось, испустив струи белого дыма.

Камлание закончилось. В наступившей тишине было слышно только журчание ручья и дальний гул ветра в ущельях. Шапка облаков опустилась на Северный Чорргор так стремительно, словно оборвалась небесная нить, державшая её столько времени. Не решаясь что-то сказать или спросить, ребята молча стояли, понемногу приходя в себя.

Будничным движением воткнув ноги в ботинки, нойда подняла бубен и усталой походкой направилась к выходу с базы. Когда прошла мимо — обдало таким жаром, будто даже её рубаха раскалилась в огне. Нойда обернулась, пристально посмотрела на Ингу:

— Видела?

— Точно видела, вон, как глаза разгорелись, — ответил за неё Пётр и вполголоса, чтобы слышала одна Инга, добавил: — Хочешь научиться?

Инга растерянно кивнула, глядя, как нойда уходит за частокол, растворяясь в темноте.

— О чём она? — шепнул Евгений. — О туче или о сердце?

— А ты больше ничего особенного не увидел?

— Нет, а что?

— Тогда не знаю, как объяснить... — Инга взглянула на Петра.

Тот улыбнулся, затем отстегнул с пояса рацию и щёлкнул кнопкой:

— Говорит база! Будьте наготове у Кукисвумчора, там сейчас двое взрослых рискуют. Как поняли? Приём!

По рации что-то пробурчали в ответ, и Пётр удовлетворённо кивнул, прикрепляя её обратно. Заметив взгляды ребят, объяснил:

— Вот так и работаем потихоньку. Главное — тен-ты получше натяните, после камлания всегда дождь идёт...

Из-за ельника показались мужики с лопатой и киркой:

— Начальник, принимай работу, все камни разгребли!

— Сейчас... — Пётр вздохнул. — У нас тут обвал небольшой случился, валуны на дорогу выскочили, кругом выстроились... Опять горы шутят!

Вероника шепнула:

— А мне они сразу понравились! Тимка — паникёр!

Пётр снова закурил и направился в сторону домика спасательной службы, бросив через плечо:

— Это ещё что, вот бабка у неё камлала, так камлала — горы тряслись!

Спотыкаясь о камни, ребята вернулись в лагерь. В палатке при свете тусклого фонарика они ещё раз достали карту, чтобы уточнить маршрут, но то и дело сбивались на обсуждение увиденного.

— Может, заказать у неё хорошую погоду до ущелья Аку-Аку? — предложил Евгений.

— Что, даже ты повёлся? — ухмыльнулся Тимофей. — Не знаю, стоит ли нам туда лезть...

— Мы сегодня видели сердце гор, — горячо возразил Евгений. — Да ради этого стоило что угодно сделать! Мне даже на секунду показалось, будто поляна поднялась над горами. Наверное, какой-то оптический эффект. Кстати, а ты что видела, Инга?

— Не знаю, нужно обдумать и понять, что именно...

— Ладно, не хочешь — не говори, — Тимофей погасил фонарик.

Забравшись в спальники, они сонно продолжали перебрасываться фразами, один за другим отключаясь от разговора.

Инга лежала в темноте, продолжая думать о словах Евгения. Да, стоило так идти, шаг за шагом преодолевая препятствия, чтобы каждый день приближаться к сердцу гор и к своему истинному предназначению. Внезапно захлестнуло такое острое ощущение счастья, что Инга даже испугалась: вдруг стук сердца кого-нибудь разбудит? Древняя сила, частичка которой всегда жила в её душе, теперь наполняла всё вокруг

без остатка, опьяняя радостью. Словно плотная завеса растаяла, показав нечто истинное, а затем так же резко отделила от всего прежнего.

Вещи уже собраны. Утром нужно лишь свернуть спальник и попрощаться с ребятами. Да, она останется здесь! Надолго ли — как знать?

Сейчас Инга твёрдо знала лишь одно: это самое правильное решение. Она останется легко и без малейших сомнений. А ребята... Всех троих на равнине ждёт та жизнь, которую они почему-то называют реальной. Но Инга уже добралась до своей цели, увидев кусочек жизни, гораздо более осязаемой и настоящей, чем всё, что прежде держало её в городе.

Дождь бережно и негромко постукивал по тенту палатки, а Инга, закрыв глаза, слушала шорохи ветра, в которых по-прежнему звучала песня Севера.

Наталья СЕРГЕЕВА
(г. Гаврилов-Ям, РФ)

Шаманские штучки

Рассказ

1

Чем дальше мы заходили в деревню, тем снег становился гуще и сыпал уже напропалую. Мы не сразу заметили между двухэтажными деревянными домами человека. Он опирался о лопату с пластиковым ковшом и, казалось, давно нас поджидал. Мужчина был в куртке-спецовке синего цвета, на ногах — серые валенки; невысокий, плечистый. В тёмных, волнистых, выбившихся из-под вязаной шапочки волосах проступала седина, и от этого они казались пепельно-голубыми.

— Вы Евсей? — поинтересовались мы.

Мужчина почтительно склонился, мельком взглянув на меня, взял наши с Ниной сумки и предложил следовать за ним. И мы с Ниной потопали по снежной тропке к ближайшему дому.

— Терветойлле! — глухо произнёс Евсей, приоткрыв входную дверь и, не оборачиваясь, добавил: —

Поздоровайтесь! Духи любят, когда к ним относятся с почтением.

Мы с Ниной переглянулись: она поздоровалась первая; а потом и я, запинаясь, с трудом произнесла необычное приветствие.

В сениях было сумрачно, свежо пахло снегом и мёрзлым деревом; на широкой лавке лежали красные замороженные ягоды.

* * *

В нашей светёлке — три небольших оконца, три кровати, расположенные вдоль стен, и белоснежная печь посередине.

— Располагайтесь, отдыхайте. Здесь тепло, я сегодня нарочно два раза топил.

Евсей поставил у порога сумки, вытер ладонью бороду.

— Вы — обе писательницы? — вдруг спросил он и настороженно посмотрел на меня. — Просто говорили, из Зареченска один человек будет.

— Я сестра Нины, Гала, — представилась я.

Глаза мужчины сощурились. Присмотревшись, я заметила, что они, в отличие от пепельно-голубого оттенка волос, прямо-таки угольно-чёрные, цыганские.

— Ага, ясно. Тогда объясняю обстановку: остальные участники группы приезжают завтра утренним поездом, к девяти. Пока вещи кинут, пока позавтракают и, думаю, часам к одиннадцати созреют. На двух машинах поедете в посёлок. Остальную программу спросите у руководителя семинара — я не вдавался в подробности. Моё дело — вам жильё предоставить.

— А где ваша жена? Мы с ней созванивались, и она...

— Она тоже будет с утра, у неё мать приболела, так что завтра и познакомитесь.

И добавил уже с порога:

— Я баню затопил, попаритесь с дороги, отдохнёте. Да, уборная — в сенях. От вашей комнаты — направо. Пойду пока дровишек подкину.

И Евсей вышел.

* * *

— Даже не верится, что мы в Карелии, правда, Галочка?

Нина накинула на плечи пуховую шаль и кокетливо взглянула на себя в зеркало. В свои годы она выглядела очень привлекательно — кареглазая миниатюрная шатенка, при фигуре.

— Как бы я хотела пройтись по тропам героев моих книг! Верлиока ведь из этих самых мест! — Нина подошла к окну, рассматривая засохшую бабочку на подоконнике. — А потом мы с тобой ещё и в Монголии побываем, правда, Галочка?

Её слова меня раздосадовали:

— Не верится ей... Сейчас вот буду тебя снова ругать, и не остановишь. Стоило в эту глушь тащиться? Вот скажи, чего ты тут не видела? Деревни?

— Карельской деревни, — поправила Нина.

— Неважно. Бани не видела? Сугробов? Лучше бы устроила презентацию своей книги в Питере!

— Галочка, не горячись, — строго ответила Нина. — Мне, кстати пятьдесят шесть, и я в том возрасте, когда решения могу принимать самостоятельно — без участия младшей сестры, извини. Могла бы со мной и не ехать.

— Так бы я тебя и отпустила одну, — пробормотала я.

Спорить было бессмысленно, тем более — сейчас. Я молча вынимала из сумки тёплые вещи и складывала на свою кровать.

— Галочка, знала бы ты, как я счастлива, что участвую в этом литературном семинаре! Век живи, век учись, говорится...

* * *

Евсей не появлялся, и я решила сходить за ним сама. Надела самый тёплый свитер, застегнула бурки и стала подниматься по холодной лестнице, ступени которой покрылись инеем.

Дверь в жилое помещение не открывалась. Я всё дёргала и дёргала на себя, пока дверь сама не открылась внутрь...

В комнате было темно, и только когда свет с лестницы скользнул по полу, я рассмотрела широкое основание деревянной скамьи, стол, печь в углу и... Я вытаращила глаза: у печки стоял кто-то тёмный, невысокого роста, белки глаз фосфорно светились. Не успела я даже осознать, кто это, как по телу прокатилась ледяной озноб. Попятилась, толкнула дверь — та не открывалась. Сердце затрепетало словно бабочка. Пошарив по дереву, нащупала круглую ручку и дёрнула на себя. На свету над лестницей замерла в ещё большем испуге: на дне пластмассового тазика лежали небольшие порционные куски тёмно-красного мяса...

«Боже, где мы?» — пронеслось в голове, и я почти скатилась с лестницы, прямо под ноги Евсею, который, наклонившись, обметал у порога валенки:

— Что такое?

Я часто дышала и показывала пальцем на второй этаж.

— Чего так напугались? — Евсей не понимал. — Ладно, пойдёмте. Я всё равно хотел провести для вас экскурсию.

Он еле уговорил меня подняться наверх во второй раз: я шла последней, позади Нины. У двери брезгливо заглянула в тазик, и Евсей объяснил:

— Это бобровое мясо, деликатес. Вечером хотел вас угостить, женщины, — и заботливо укрыл тазик полотенцем.

Евсей включил свет — Нина схватила меня за руку:

— Господи помилуй!

Возле печки, расставив ноги, стояла женщина невысокого роста, цвета тёмного шоколада. Её оголённые груди с острыми сосками торчали, обрамлённые волокнами засушенного растения; из таких же растений были повязки на голове и бёдрах. Рот приоткрыт в воинственном кличе, белые ракушки глаз, гротескно выпуклые, ярко светились. В одной руке она держала лук, а в другой — колчан со стрелами. Казалось, ещё секунда — и идол выстрелит в нас.

— Кто это? — спросила Нина.

— Никитишна, хранительница дома, — любовно оглядев скульптуру, пояснил Евсей.

— Хранительница?! — удивлённо воскликнула я. — Если честно, я думала, что хранительница вашего дома — ваша жена!

Евсей улыбнулся, а Нина добавила:

— У меня мурашки бегают от такой хранительницы. Галочка, пойдём скорее в баню, а то мне дурно!

2

Я вновь и вновь дёргала на себя дверь, но та не сдвинулась ни на миллиметр. Бесплезно. Щель была небольшой, но именно это расстояние и не позволяло

закрыть дом на крючок. Крючок! Если будет ломиться медведь — что ему этот крючок! Здесь засов нужен толщиной в локоть, чтобы как следует запереться! После дороги, проведённой в поезде, и рассказов местных жителей о медведях, волках и других страшилищах, казалось совсем не в кайф спать в глухой карельской деревне с незапертой дверью! Я содрогнулась, легко представив, как тяжёлая лапа с бурой шерстью просовывается в щель.

А Евсей... Странный он какой-то! То травил байки про нечисть, а теперь преспокойно спит в своей комнате, и ему точно по барабану до нашей безопасности!

Мороз тем временем уже успел прихватить мои голые колени. Надо было надеть колготки! Что же это я, в халате — да на тридцатиградусный мороз? А что, лучше лежать в кровати и трястись от страха? В старинном доме музейной ценности. Зная, что за окнами, совсем рядом — дикий карельский лес!

Поняв наконец, что без помощи хозяина эта кондовая дверь не закроется, я ретировалась в свою тёплую комнату.

Прямо в халате залезла под одеяло и, когда перестали стучать зубы, тихонько позвала:

— Нин!

Та зашевелилась, вздохнула и сонно спросила:

— Галочка, ты не спишь?

Какое — спать! Я обрушила в темноту комнаты все свои чувства и мысли, весь бред последних бессонных часов, когда в голову лезли мысли о медведях, шатающихся возле человеческого жилья.

— Да брось ты, Галь, — спокойный тон Нины почти отрезвил меня, — медведи все спят сейчас!

Но ведь были же случаи, когда просыпались! И зимой к жилью приходили, и в дом залезали! Почему в этом доме дверь не закрывается!?

— Значит, случая ещё не было, — Нина равнодушно зевнула. — Появился бы повод — закрывались бы. Спи, давай.

Признаюсь, я иногда впадаю в панику, и тогда рядом просто необходим холодный рассудительный человек, который остудил бы моё горячее воображение. И хорошо, что рядом моя Ниночка и её железная логика.

* * *

Утром я выговорила Евсею с укоризной:

— Не спала всю ночь. Входные двери закрывала.

— Зачем? — удивился он.

— Затем, что вы хорошо устроились. Сами — на втором этаже, а гости — на первом. Если медведь в дом залезет, кем он в первую очередь полакомится?

Евсей улыбнулся, но потом лицо его стало серьёзным. Через десять минут хозяин уже откалывал у крылечка лёд. Ледышки разлетались в стороны, и вскоре входная дверь стала с натугой закрываться. Наши сени с замороженной брусникой и мы сами оказались под защитой маленького железного крючка.

3

— Доброе утро! — Евсей откинул цветастый полог нашей комнаты. Он стоял без шапки, с рассыпавшимися кудрями, а лицо было свежим, чуть румяным с мороза. — Ваша группа пока не приедет.

— Как не приедет? — Нина, просматривающая старую газету, приподняла очки на лоб.

— Несколько рейсов отменили; в Питере сильный снегопад, дороги встали. Дмитрий перезвонит чуть позже.

— Ёлки-палки, а нам что же делать? — Нина растерянно и беспомощно посмотрела на меня.

Евсей мял рукавицы.

— Жду звонка из Тойволы. По части презентации вашей книги, Нина Васильевна. Перенесут или нет, ещё не знаю... В любом случае — не расстраивайтесь. У нас и дома имеется библиотека, так что не заскучаете. — Евсей указал вверх, на потолок: — Как раз над вашей комнатой. Вы приходите позавтракать, там всё готово. А я пока снег откину, намело за ночь.

И скрылся за дверью.

— Ничего себе, съездили на семинар, — разочарованно протянула Нина, глядя на меня.

— Ну, моя дорогая, тебе говорили, — я развела руками.

* * *

Весь день мело. На улицу мы не выходили. Нина читала в библиотеке, а я сидела в гостиной, где Евсей готовил обед и где его охраняла любимая Никитишна. По дому он ходил в синей кофте-олимпийке, спортивных брюках, а волосы подвязывал красной тесьмой. Тушёная картошка с бобровым мясом оказалась на удивление вкусной. Само мясо — ну, как сказать, немного напоминало гусятину, только не такое жирное. После обеда мы с Ниной смотрели фильм «А зори здесь тихие», который снимался здесь же, в Карелии, когда вошёл Евсей и сказал, что из-за непогоды пропала связь и теперь он не может дозвониться Дмитрию.

— Это плохо. Значит, и сегодня их не ждать? — вздохнула Нина.

— По телику сказали, что погода сменится зав-

тра, — сообщил хозяин. — Так что отдыхайте пока. Кофе хотите?

От кофе мы не отказались.

— Вечером хотели заглянуть соседи. Они местные. Наслышаны о Нине Васильевне, хотели, так сказать, воочию...

Нина смущённо заулыбалась:

— Что вы, что вы, мы не против. А во сколько они придут?

— Часиков в шесть.

— Хорошо, мы будем готовы.

* * *

Когда мы вошли в гостиную — они уже сидели там втроем: Евсей, молодой мужчина и женщина. Печка была истоплена, стол накрыт; на столе — бутылка водки и обильная закуска.

— Присаживайтесь, — скомандовал Евсей и показал место рядом с собой на лавке; сам улыбается, глаза хитрющие!

Стала соображать, как бы ему ответить?

А незнакомый мужчина тоже улыбнулся и, словно угадав мои мысли, сказал:

— Позвольте представиться. Бурлин Фёдор Андреевич, директор местного Дома Культуры. Жаль, что вы, Нина Васильевна, не у нас с презентацией выступаете. Много наслышаны. А это...

— Верлиока... — зачарованно прошептала Нина.

— Вообще-то я Татьяна, — рассмеялась женщина. — Мы через дом живём.

— Не берите в голову, — вставила я. — Это она героиню своего романа вспомнила.

— Вылитая, — добавила Нина, облокотившись о стол и подперев подбородок кулаком.

Она любовалась голубоглазой светловолосой Татьяной, которая выглядела очень женственно в белой кофточке с рукавами и воротом, украшенными карельским орнаментом.

— Милые дамы, — торжественно обратился к нам Евсей. — Не желаете ли отведать моей настойки на местных травах?

Мы все желали, и хозяин разлил жидкость желтоватого цвета по миниатюрным глиняным стопочкам.

Настойка была хороша! И аромат приятный. Татьяна угостила нас калитками из ржаной муки с рыбой. И тут Нина вдруг спрашивает Фёдора:

— Это правда, что у вас колдуны до сих пор встречаются?

Фёдор заулыбался.

— В смысле — шаманы? А то как же, встречаются! Вот один тут сидит, — и кивает на Евсея. Тот хрустнул солёным огурцом, насмешливо сощурил глаза. — Только я бы назвал их — знающие, — уточнил Фёдор, приняв вдруг серьёзный вид.

— А зачем вам шаман? — поинтересовался Евсей.

Глаза Нины ярко заблестели:

— Знаете, чего бы мне хотелось? Про местное племя, чужь белоглазую, выспросить. У меня в романе героиня есть — Верлиокой зовут. Она как раз отсюда должна быть, из этих мест. Мне недавно вот что приснилось. Приезжаем, значит, в старинный карельский дом. Выходит нас встречать женщина. Поклонилась ниже пояса, выпрямилась, и вдруг я вижу лицо у неё необычное, чистейшее, словно лик, писанный красками! И говорит она: — «За труды кропотливые устрою тебе встречу с Верлиокой, будь готова». Не знаю, кто это — может, святая или сама Богородица? Теперь только и думаю...

— Лик светлый? — уточнила Татьяна.

— Светлый-светлый, — закивала Нина. — У меня в книжке иллюстрация одна есть, очень похожая. Сейчас принесу.

Нина ушла. Я посидела минуту и тоже пошла вниз, таблетку забыла выпить. Захожу в комнату — Нины нет. Подождала немного, вышла в сени. Где мы с ней могли разминуться — ума не приложу. В туалете тоже нет. Может, на улице? Но зачем? Решила на всякий случай проведать.

Гляжу, метель кончилась, небо прояснилось, звёзды светят — огромные! И как блестят! Я остановилась, изумлённая. Полная тишина — ни машина не проедет, ни собака не тявкнет! Вот он какой, думаю, Север! Только хотела перед домом пройтись, как сверху, прямо надо мной, послышалось:

— Выть!

Я остановилась, прислушиваясь. И снова, как на болоте:

— Выть!

Кто тут подвывает? Нины не видать. Улица тёмная, один фонарь на всю деревню... Жутко. Я вернулась в дом.

Ещё раз, на всякий случай, заглянула в комнату, включила свет. И остолбенела: у нашей печки, широко улыбаясь, стояла «шоколадная» Никитишна. Ничего себе! Вот так подарок на ночь! Кто её сюда определил?

С юной прытью вспорхнула я на второй этаж. Подёргала дверь и...

4

...в нерешительности застыла у порога.

Люстра светилась. Чёрные проёмы окон закрывали льняные занавески с голубыми лошадками. Стол

стоял с закусками и бутылкой наливки, но за ним никого не было. Словно всего десять минут назад никто не сидел здесь и ни о чём не разговаривал. Евсей, Фёдор, Татьяна, Нина — все словно провалились. Сколько же прошло времени? В оцепенении я глянула в старое волнистое зеркало на стене, которое отражало этот угол комнаты — и себя в нём не увидела.

«Чертовщина какая-то», — промелькнуло в голове.

И тут раздались голоса. Доносились они из хозяйской спальни, перед которой прежде стояла Никитишна. На цыпочках я подкралась к приоткрытой двери и заглянула в щель. И очень удивилась, увидев там сидящего по-турецки на полу Евсея. Он говорил негромко, обращаясь к женщине. Я подумала, что неожиданно приехала его жена, и уже подняла руку, чтобы постучать, как вдруг эта самая женщина в длинных одеждах повернулась, и я отчётливо увидела её утончённое, с мягким овалом лицо. Даже не лицо, а лик с узкими бровями и нежным румянцем. Это была женщина из сна Нины!

Я осознавала, что стою у дверей и подсматриваю, и это положение мне совсем не нравилось; но куда деться, тоже не знала. Кто эта женщина? Неужели все-таки жена? И где Нина?

Вдруг мысль, уже крутившаяся в голове, будто пронзила. Настойка! Настойка на травах — да, да, это действие настойки! Я знала, что некоторые вещества, содержащиеся, например, в галлюциногенных грибах, способны менять сознание. Может быть, всё, что сейчас происходит — это галлюцинации? И стоит только проспать, как весь этот кошмар пройдёт?

Не помню, каким образом я оказалась в своей комнате. Включила свет. Никитишны там не было, а моя Ниночка сладко посапывала в кровати.

— Нина! — я начала трясти сестру.

Нина проснулась, привстала на локте:

— Гала, что с тобой?

Я повалилась на стул.

Поразмыслив несколько секунд, начала допрос. Первым делом осведомилась, куда она пропала после того, как пошла за книгой. Нина рассказала, что пришла в комнату, и ей вдруг непреодолимо захотелось спать. Я в свою очередь сбивчиво рассказала, как её потеряла. И про странные звуки на улице, и про Евсея в спальне. Нина, беспрестанно зевая, старалась слушать, но то и дело засыпала! Я её будила, снова говорила о «Никитишне» и о той странной женщине. Но моя Нина спала, как спят люди, принявшие изрядную порцию снотворного, или как совсем пьяные. Каким же снадобьем напоил нас Евсей? И вдруг мне самой захотелось спать. Я поняла, что если не окажусь сейчас в кровати, то упаду и усну прямо на месте. Закрыла комнату на щеколду, выключила свет и забралась под ватное одеяло, благо кровать у двери. И тут же уснула.

* * *

Ночью очнулась от того, что в комнате кто-то шептал. Шептал, словно читал стихи или заклинание:

— Мысли мои давно с Тобою. Я мечтала побывать в Твоей загадочной стране Биармии, стране вечного мрака и легенд, и вот я здесь. Это Ты вела меня по сугробам белоснежным, по следам звериным? Но почему же народ ваш ушёл под землю, скрылся от людского глаза? Мне так хочется увидеть Тень твою, ведунья, и испросить у Тебя совета! — Голос смолк, но через несколько секунд продолжил: — Как прикоснуться к судьбе светлой, Верлиока?

Верлиока?!

Я едва дышала, пытаюсь запомнить, о чём говорит Нина; и даже была готова услышать ответ этой странной Верлиоки, но... расслабленное состояние, мягко обволакивающее и ум и тело, неожиданно завладело мною, и я против своей воли опять уснула.

5

— Тётя, а вы будете вставать?

У моей постели стоял мальчик лет шести в светлой рубашке. С очень тёмными, почти чёрными глазами. Казалось, он уже давно изучал моё лицо.

— А ты кто? — с трудом спросила я и вдруг поняла, что не могу встать. Жутко болела голова.

Мальчик не ответил и выбежал из комнаты.

Нины не было. Собрав остатки сил, я достала с подоконника таблетки и бутылку минералки. Запив таблетку глотком воды, снова повалилась на кровать.

В комнату вошла умытая, причёсанная и напомаженная Нина.

— Галочка, как ты? — участливо склонилась она надо мной. — Тебе плохо?

— Голова кружится, встать не могу. Принеси тазик.

Нина принесла тазик и присела ко мне на кровать. Поправила одеяло и начала рассказывать:

— Гала, слушай, вчера, когда я спустилась в свою комнату за книгой, то вдруг поняла, что вернуться обратно не смогу. Подхожу к двери — и нет сил дальше шагу ступить. Как заговорённая. Постояла, потом прилегла и посмотрела в угол комнаты, в который обычно вешают иконы. А тут нет ничего... Я всё лежала и думала: неужели хозяева — неверующие? Но почему? Ведь здесь, в Карелии, христианство с четыр-

надцатого века, очень давно! И вот пока я так лежала в дрёме, в комнату вошёл Евсей. Такой нарядный — в рубахе с красной вышивкой, и тесьма красная на его челе... Не успела я даже удивиться, как он склонился надо мной и тихо произнёс: «Не забудьте сказать Терветойлле»... Я попыталась ответить, но чувствую — рта не могу раскрыть. А Евсей показывает на дверь — и вот он уже там: стоит, ждёт меня. Гляжу — и я у порога, и бурки мои сами на ноги наделись.

Потом вижу я, Галочка, что на улице — рассвет или белая ночь; и не идём мы по снегу, а плавно движемся, будто скользим над ним в сторону леса. И только я хотела спросить, куда это мы направляемся, как Евсей мешочек подаёт — льняной, и знаком дает понять, мол, открывай. Развязываю этот мешочек, а там — овсяные необработанные зёрна. Евсей достаёт из мешочка горсть и кидает их на снег, а мне показывает — делай так же. Ну и я стала кидать зёрна. Потом взял Евсей мою ладонь и что-то вложил. Разжимаю — монеты. Чуть помятые, с неровными краями, видимо, совсем древние. И показывает — кидай! Мне и жаль бросать монеты, но послушаться тоже не могу, делаю всё, как он велит. Потом вижу, спереди, за деревьями, появляется в рассветном мареве фигура. Призрачная, медленно плывущая среди елей и сосен. И чем она ближе, тем отчётливее вижу я женскую одежду и уже различаю лицо. Мурашки побежали по телу, жуть меня всю охватила.

И вот она совсем рядом, в трёх шагах от меня. Смотрю на женщину и понимаю, что она не из нашего времени. Чудная какая-то: под накидкой длинное платье из грубого материала, на поясе — мешочки и туески. Головной убор — старинный, украшенный вышивкой и мелкими камешками. Амулет на шее из зуба. И сердоликовые бусы. Оранжево-красные,

с прожилками, а глаза... не поверишь, акварельные, цвета разбавленной лазури, немного навывкате. Точно — чужь белоглазая!

— Верлиока? — охнула я.

Нина кивнула.

— Вспомнила я слова Евсея.

— Терветойлле! — поклонилась, а собственного голоса не слышу. Только её голос, Верлиоки, она отвечает, но губы не шевелятся:

— Роамм ли Тон уййнэ!

И я понимаю, что она ответила: «Рада вас видеть».

— Я тоже рада, — говорю.

— Мин самьеммьенеальн!

— Мне так хотелось увидеть тень твою, ведунья, и испросить у тебя совета! — собралась я с духом и заговорила.

Было страшно и интересно наблюдать за Верлиокой, всё происходящее казалось необычным сном. Она говорила, как я поняла, на языке саамов, только более древнем. Но я её понимала, вот что удивительно! Совсем не зная этого наречия. Она говорила о том, что герои моей книги, однажды созданные, продолжают жить, только не в этой реальности. И что племя чужь, действительно, в определённое время скрылось, ушло под землю.

Немного о судьбе моей будущей начала говорить, но тут я услышала голос Евсея, будто он говорил мне прямо в ухо: «Скажи — кудтъегкетиррвен!»

И я, повинувшись, отступила. А изображение Верлиоки растворилось, словно его и не было... Я снова оказалась в своей комнате. Было утро, я сидела на стуле. И теперь самый главный вопрос меня мучает: было это вправду или во сне?

Я рассказала, что слышала ночью.

— У настоящих колдунов обереги должны быть, —

сказала вполголоса Нина, когда мы вышли в сени. — И даже если Евсей — шаман, он всё равно должен объясниться!

И тут Нина побледнела. Я подняла глаза и тоже увидела: в темноте над входной дверью висела, широко распахнув пасть, большая щучья голова.

6

— Проходите, проходите, — заботливо расставляя на столе посуду, говорила высокая статная женщина в красном платье.

Голову её украшала аккуратная цветная повязка. Рядом, на скамейке сидел мальчик с тёмными глазами и вертел в руках вырезанную из дерева уточку. Увидев нас, он слез со скамьи и отошёл к окну. Мне показалось, что мальчик прячет от посторонних глаз своё сокровище.

— Обед готов, присаживайтесь, — скромно улыбаясь, пригласила хозяйка.

Мы с Ниной присели на лавку.

— Вы ведь Софья, жена Евсея? — спросила Нина. — А он будет с нами обедать?

— Да, это я. А Евсей уехал в Тойволу, к матери. Её сейчас нельзя оставлять одну, — сказала Софья; она казалась расстроенной.

Мы переглянулись.

— Семинар пришлось отменить из-за непогоды. Связи с Дмитрием не было до сегодняшнего утра. Полчаса назад он дозвонился и попросил принести вам свои извинения и передать, что готов возместить расходы, связанные с поездкой. Не переживайте, прошу вас, — попросила Софья. — Если хотите — попарьтесь в бане, Евсей успел её протопить. А завтра с утра на вокзал поедете.

* * *

В бане мы молча смотрели на оранжевое пламя в раскалённой печи, которое весело прыгало за узорными отверстиями подтопка. Причудливым узором оно отражалось на квадратном оцинкованном листе, прибитом к полу.

— Знаешь, мне бы совсем не хотелось, чтобы наша встреча с Верлиокой оказалась сном, — сказала Нина.

Она промокнула полотенцем вспотевший лоб и надолго задумалась.

— Но это всё слишком уж нереально... — начала я и тут же осеклась, вспомнив грозную Никитишну в гостевой комнате.

Какой прок в наших разговорах и домыслах? Не было главного человека — того, кто мог бы развеять наши сомнения.

В бане было тихо; единственная лампочка слабо светила, окружённая седым паром.

Олег МОШНИКОВ
(г. Петрозаводск, РФ)

Гармошка

Рассказ

Смешно. Сколько лет таскаю за спиной шарабан, а все кажется — несу гармошку. Гармошка привычной. Сызмальства отец приучил. «Золотые планки» и в армии пригодились, и в институте. Мне уже за пятьдесят, на дворе двадцать первый век, а на посиделках — тесным кругом — в Карельской академии наук, где я старшим научным сотрудником работаю, нет-нет да и попросят на гармонике сыграть. Молодежи в диковинку, старикам — на радость. Вон один из стариков, «матерый человечище» впереди по льду чешет — Андрей Андреевич Волков. Завсектором. Доктор наук. А на пять лет меня моложе! Заядлый рыбак... Мы с ним, как Робинзон и Пятница, в летний отпуск в Заонежье на Кижских островках счастье рыбачье ищем. На моей малой родине. А то и по работе там бываем: в Толвуе, Великой Губе, Сенной, Кондобережской, Жарниково. Андрей секцией языкознания заведует, топонимику изучает. А я заонежским фольклором ин-

тересуюсь, кандидатскую вот защитил. Хотя какой из меня ученый? Был я парнишка деревенский, таким и остался. И как найду где, гостюя, в прибрежной деревеньке гармошку, так сразу руки к ней тянутся, а душа ликует. Меня знакомые в Заонежье так и величают — Мошка-гармошка. Звать-то меня Алексей Мошин — отсюда и прозвище...

Зимой мы с Андреем на его «Ниве» за Гимреку ездим. Далековато, конечно, да и улов не тот уж. А ближе и вовсе баловство. Рыба отнереститься не успевает — все протоки сетками браконьерскими перегорожены, да в несколько рядов. Теперь — всякий рыбак. Ни рыбы не зная, ни повадок ее. Зимой потрудиться надо, пошагать, во льду дырок насверлить. Летом — лафа. Накупил китайской дешевой снасти, и на природу — «рыбачить». Сначала «поддать» для храбрости и сугреву, потом с песнями и гиканьем устроить гонки на катерах, в сутемь сетки побросать, как попало, и к шалашу, как говорится, отметить удачное начало. Утром не каждый и встанет. Облюют зеленый свой пятачок, загадят. Голова гудит. Сердце с перебоями бьётся... Какая там рыба! Опохмелиться — и домой. Отдохнули классно, легкие размяли, по бабе соскучились — чем не праздник. А в сетях брошенных рыба гниет, другая на места нерестовые, родительские, заветные пробиться не может. Хуже фашистов! А-а, что говорить...

От дум невеселых — подледная рыбалка перво-степенное средство. Ранним, нехотя светлеющим утром — Шелтозеро, Рыбреку проехали. Не доезжая Щелеек, свернули на берег Онего. Озеро светлое, почти бесснежное, ветром выметенное. Легкая поземка вдоль берега стелется. Волков поздоровей меня будет, в плечах пошире, кроме шарабана коловорот тащит. Идет шибко. Не оглядывается. И я себя подгоняю: по-

спевай, Мошка-гармошка, а то товарищ первым заветную луду на уловистость попробует. А в это время, откуда ни возьмись, ветер поднялся сильный, настоящий буран. Я Андрея по плечу похлопал: мол, поворачиваем назад. Тот тоже смекнул — непогодь переждать надо — и повернул к машине. Идет, как и шел, быстро, целеустремленно, поправки на ветер не делает. И тут как на грех шубенка у меня с руки соскочила.

Пока искал, шарабан поправлял, шапку поглубже натягивал — моего Пятницу Митька прят. Не видно, не слышно — хоть ором кричи. Разозлившаяся метель все звуки крадет. Спеленатый ветром и снегом, пошел я куда глаза глядят. А вокруг ни следочка, ни вешки — лед, как зеркало, чистый, ровный. Я одно направление выбрал, потом другое. Счет времени потерял. Поди, не один час блуждал по озеру. Падал. Вставал. И снова упорно шел вперед, пока не понял, что ухожу от берега. Открытое Онего — это тебе не шутки. Это восемьдесят, а то и все двести километров застывшей, равнодушной, белой пустыни. Присев на шарабан, подставил я спину порывам ветра и вытянул гудящие от напряжения ноги. Главное, не паниковать. Главное... Телефон! У меня же сотовый в кармане! Куколка моя! Достал телефон, нажимаю сигнал. Связи нет... Ну, ничего — здесь нет, в другом месте обязательно найдется. Вот только посижу немного, отдохну...

Отец вспомнился. Был и у него такой случай. В середине пятидесятых возвращался он в Великую Губу со свадьбы, как всегда, с гармошкой, как всегда, по ледяному озеру. А в пути его метель застала. Батя — к берегу. Попытался в бочке смолокуров укрыться — чувствует — замерзает, в сон клонит. Гармошку на плечо и дальше — через силу, через ветер — пошел. Уницкий залив одолел. Дошел до Черкас, а там — лесопункт.

Согрелся отец у печурки, подсел к столу, развернул гармонику! Да тут, пока лесорубы сидоры свои для общего ужина доставали, прямо за столом и уснул...

А мне сейчас спать нельзя! Я что, слабее отца?! Я еще не раз тальянку во все меха душевные растяну! Только идти надо, идти! Поднял шарабан, распрямил окоченевшие колени, встряхнул оледеневший тулуп и — пошел, как и давеча, сначала в одну, потом в другую сторону. Иду, пурга глаза залепляет, за воротник лезет, от ледяного ветра никакого спасения, иные порывы с ног валят. Вдруг впереди берег лесистый завиднелся — кинулся я к нему со всей мочи. Ан нет — не берег это. Мираж. Так вихревой снежный поток на зеркальном льду отражается.

После еще не раз я этот обманный берег вдалеке видел. Тело совсем заковано. Сердце холодом сковало, страхом: а вдруг не дойду? От отчаяния руки опускаются, ноги не идут. И такое блаженное равнодушие меня посетило — нирвана, ей-богу! Присел я на шарабан, прикрыл глаза — и в этой замечательной пустоте, будто тени причудливые, картинки из детства медленно движутся. В Песках под Петрозаводском — мы с двоюродным братом. В предрассветной тишине собираем в дядькину весельную лодку удочки, самоловки, в теплой воде под камнями ищем ручейников в песчаных коконах. В легком надводном молозиве отплываем от берега, тихо плещется вода, чуть поскрипывают уключины. Вплываем в туман. Густой. Молочный. Нам весело и сказочно, с кормы почти не видно полуразмытого носа, нет границ и очертаний, нет света и тени, только плавные переходы на атомы разобранного пространства незнакомых, потусторонних, полуразложившихся вещей: удочек, весел, сапог, банки с наживкой. Пространства много, а берега нет — куда плыть, не знаем. До кровавых мо-

золей, сменяясь, утирая слезы, бьем веслами по воде. Кричим, но звук опадает у бортов лодки, не в силах преодолеть этот неземной, похожий на ватный, кокон.

Мало ли, много ли времени прошло — впереди две скалы показались. Не скалы — валуны. Это они в тумане в размерах выросли. Вышли на берег — осмотрелись. А позади валунов огромная отвесная скала — Чертов стул. Древнее шаманское капище. Так вот что лодку нашу к себе притянуло, как магнитом. То ли поиграло с нами, то ли спасло, поди разберись. От Чертового стула, держась берега, мы быстро до Песков добрались. Туман обманули. Но то — туман. А тут... Со всех сторон завируха. Высокие регистры метельной гармоник застыли на одном заунывном звуке. Чистый бесснежный лед не оставляет дорожки обратных следов, не оставляет надежды укрыться от стылого ветра. Найти человека в буранном Онего — пропащее дело.

Вдруг — на берегу очередного сонного взвихренного миража — сотовый проснулся, пискнул, забился под сердцем ожившим птенцом. Вытащив телефон негнушными пальцами, услышал я голос сына:

— Папа, ты где?! Почему вне связи, почему не отвечаешь?

— Сынок, сынок, — шепчу я непослушными губами, — я на Онежском озере, попал в буран, свяжись с МЧС... Со спасателями свяжись! Скажи, что помощи батяка просит. Берега не найду!

— Да, пап! Сообщу! Ты, батя, держись, держись!

И точно, через некоторое время спасатели до меня дозвонились. Мол, с места не сходи, будь на связи. Они сейчас с коллегами из МЧС Ленинградской области свяжутся...

— Алексей Павлович! Это сотрудник МЧС Быков. Где вы находитесь? Сколько времени назад из Щеле-

ек вышли? Так... Я вижу, что ветер восточный, как раз от Щелеек дует. Идите на ветер, который сильнее и продолжительнее всех будет! Переждайте на месте, если он поменяет направление, а потом снова на него идите! На берегу вас встретят! Не тратьте зарядку телефона, я сам с вами свяжусь! Все, до связи!

Идти на ветер, идти на ветер... Уже и ног не чувствую. Гармошка, то есть шарабан, будто песком набит, а не двумя гремящими в морозной пустоте удильниками-«балалайками». Разве что на время повернуться спиной к ветру, подышать на побелевшие пальцы, отереть онемевшее лицо. А ветер под руки подхватывает, толкает вперед. Кажется, еще чуть-чуть — и с заснеженной автобусной остановки заждавшаяся толпа сама увлечет тебя вовнутрь теплого автобуса, стянутого посередине резиновой «гармошкой»... Но надо выходить, надо поворачиваться сквозь плечи и спины тесно стоящих людей, надо идти на ветер... на покачивающийся впереди, пробивающийся сквозь снежную кутерьму круглый береговой огонек...

Я вышел на мыс Подщелье, где стоял без водителя и светил фарами не заглушенный спасательский «уазик» с прицепом. В тепло протопленном салоне, спящего, и нашел меня инспектор МЧС, который на «Буране» объезжал берег бухты до Чейнаволоцкого мыса и обратно. Проснулся я в Щелейках, когда радостный доктор наук, растормошив меня, станцевал перед крылечком деревенской избы шаманский танец победителя, воздевая руки к небу и громко восклицая. Ветер, напротив, затих, и метель, перестав кружить, словно длинная меховая накидка первобытной танцовщицы, мягко опустилась на долгий озерный берег.

Сергей ПУПЫШЕВ
(г. Петрозаводск, РФ)

Пинь-зи-пинь
(вечная песня синицы)

Рассказ

— Семён Петрович, как с деньгами? Устали все. Когда получка будет? В поселковых магазинах товар под запись уже не дают. В долгах все. С лета денег не видели... Уже и Новый год на носу, — роптали работники Гагаринского леспромхоза — заготовители, вальщики, водители лесовозов, учётчицы и весь прочий рабочий люд, собравшись пятничным вечером в красном уголке на собрание.

— Даём же помаленьку, раз в месяц точно даём, — отдувался Семён Петрович, тучный, не старый ещё директор леспромхоза, редко выходявший из своего кабинета и ездивший на обед в столовую за сто пятьдесят метров на служебной машине.

— Чтоб тебе раз в месяц жинка помаленьку давала! Сам-то, небось, без денег не сидишь, — ввернула, под общий хохот едкая, как соляная кислота, Валька Краснуха, не работавшая в леспромхозе, потому и смелая супружница водителя предприятия, заживо ею затюканного.

— Вагоны грузим, лес идёт, денег всё нет и нет, — ворчал обычно молчаливый бригадир грузчиков-стропальщиков Гнатюк.

— Телевизор смотрите? Кризис везде. Весь экспорт на колених. Мы ещё держимся кое-как. Лес везде пытаемся пристроить. А у нас всё завязано на Европе, все вагоны туда идут. Лёса — полная биржа, нижний склад забит по завязку, — пыталась урезонить и как-то оправдаться главный бухгалтер Ангелина Сергеевна. — Потерпите, прорвёмся.

— Прорвались уже! У моих пацанов все штаны прорвались! — не унималась, брызжа ядовитой слюной, Валька.

Её острый фамильный нос готов был насквозь пронзить неприятеля. Обладала Краснуха даром неоценимым — быть везде и всегда. Где что ни случись — она тут как тут, знала все сплетни и новости, какие ещё даже и не произошли.

— Валька! А ну, угомонись! Помело ты дурное! За всю жизнь от тебя ничего путного слышно не было, — осадила Краснуху дородная буфетчица Тайми Тикки.

— Новый год с деньгами будем встречать али как? Меньше месяца осталось, — любопытствовал кривоногий предпенсионный Гриньков, работник ручной сортировки пиловочника, уже посетивший лавку и с нетерпением ждущий окончания мероприятия. Початая бутылка, отягивая правый рукав спецовки, призывно булькала.

— Постараемся к празднику, обещаю, — без твёрдости в голосе заверил Семён Петрович.

Его неуверенность передалась труженикам, и опять зашумел, загудел рабочий рой, требуя своё кровное, заработанное.

Водитель лесовоза — жилистый, тёмноволосый Григорий Крюков стоял в глубине зала, молча слушая

галдёж. Воспоминания упрямо лезли в голову. Его отец всю жизнь отдал Гагаринскому леспромхозу, названному, кстати, не в честь космического первоходца, а по имени речки Гагары, делящей одноименный посёлок на две части. Гремел когда-то славными делами леспромхоз. Многие тысячи кубометров заготовленной древесины экспортировались, грузились и отправлялись на крупнейшие деревоперерабатывающие предприятия Карелии. Своя узкоколейная железная дорога доставляла на нижний склад сотни кубометров ежесуточно. Собственная свиноферма снабжала мясом весь посёлок. Более пятисот человек трудилось в леспромхозе. Строилось жильё. После армии и в мыслях у Григория не было, куда ещё пойти работать — конечно, в леспромхоз. Но птица-время, взмахнув сохнувшим крылом, смела в вечность свиноферму, расклевала металл узкоколейки. Работников осталась сотня. Молодёжь, не видя перспектив, уезжала в город. Скудел с каждым месяцем рабочим людом посёлок...

Крюков не стал дожидаться окончания собрания, махнув досадливо рукой, двинулся к выходу. По пути к дому заглянул в магазин. В магазине посетителей не было.

— Макарон пару пачек, две банки тушёнки, сигареты, водку какую-нибудь недорогую, соль, чай, сахар. Да и ещё чуть не забыл — спички. Запиши на меня, — Крюкову было неловко, он ещё никогда не брал продукты в долг.

— В лес, что ли, собрался? — любопытствовала гладкая рослая, полногрудая Нинка-продавщица, кокетливо покрутив роскошным задом, нарочито медленно собирая заказ.

— Тебе какое дело? — почему-то злясь на неё, бросил Крюков.

Она всё ещё сохла по Григорию, суровому тридцатипятилетнему, высокому, резкому в движениях и строгому в лице мужчине — своей первой школьной любви. Нинка уже побывала замужем и успела развестись с мужем-дебоширом.

Скрипучая дверь в сенях напомнила Крюкову, что она давно просит смазки. Избавляясь от снега, основательно обстучал тёплые ботинки. Зайдя в избу, неторопливо разулся. Продукты положил на стол. Жена Тая, заглянув в пакет и увидев стандартный набор, вздохнув, спросила:

— В Лес?

— Да, уйду поутру, — кивнул головой Крюков. — Денег не дали... К Новому году грозятся. Дома есть что пожрать?

— Сейчас соберу.

— Да я не про то, вообще.

— До праздников дотянем, — завибрировала грусть в голосе супруги.

— Как без собаки? Год уж не ходил. Может, обойдёмся, — с надеждой в голосе, сокрушалась жена.

Собака пропала в прошлом году. Вспорол ей брюхо секач¹ ударом бритвенным. Зазевалась ли, нет, может, просто возраст уже. Лайке девятый год пошёл. Реакция не та.

— Да не обойдёмся. Чёрт его знает... Дадут, не дадут... Утром лес вёз, видел: переходов лосиных много. Повезёт — с мясом будем... Сын как?

— В школу сегодня не ходил. Температура. Сопли, вон, на кулаки наматывает, — кивнула на смотрящего телевизор сынишку.

— Ни чё не наматываю, нормальный я. Возьми батя, а? — услышав про Лес, запросился, сорвавшись

¹ Секач — крупный кабан, с острыми, длиной до 15 см нижними клыками.

с места, Серёжка, голенастый тринадцатилетний парнишка.

— Дома сиди. Буквари учи. Трояков опять нахватал. Контрольные скоро, — окинув его взглядом, отрезал батя.

Серёжка в мать — добрый, белоголовый. Цыкнул на пробежавшую мимо младшую десятилетнюю сестрёнку и понуро побрёл в свою комнату. Средняя дочка возилась, гремя посудой, на кухне.

— Один-то как пойдёшь? — по-бабьи всплеснула руками Таисия.

— Как, как... По-тихому, как. Как отец ходил, когда нужда была, — раздражённо ответил Григорий. — Лес поможет.

* * *

— Осторожней сынок. Дай Бог удачи! — осенила троеперстием мать, Людмила Ивановна, провожая утром сына.

Последнее время, как вышла на пенсию, любила посидеть у окна в своей комнате. За окном росли две берёзки-подружки, ещё мужем посаженные. Внук подвешивал на веточке кусочек сала, и пара синичек с удовольствием расклёвывала угощение. Бабушка жалела пичуг, следила, чтоб корм не переводился. Знала, что морозную и голодную зиму восемь из десяти синиц не переживают.

Таисия поднялась рано. Собрала мужа. Сала кусок в тряпицу завернула, десяток яиц вареных, пяток калиток² с пшеном, термос с чаем, да магазинное, уложила в рюкзак.

Она знала — Лес кормит. Зимой — дичью, летом —

² Калитка — карельская выпечка из ржаной муки, открытый пирожок с картофелем, пшёнкой.

грибами, ягодами. Здесь, в далёких северных посёлках, с июля по самые заморозки каждое утро топчут тропинки ходоки за дарами лесными. Местные жители стараются взять отпуск на это время — нет, не уехать к тёплому морю, а в Лес-кормилец, семьями, за ягодой. Сперва за янтарно-медовой морошкой. Затем чёрным жемчугом наполнит короба не жалеющая фиолета на раскраску рук и языка черника. Следом душистая малина сладкой краснотой руки размалует. Мелким северным виноградом краснобокая брусника пройдёт позже. И наконец, за тёмно-вишнёвой клюквой до самых морозов, до снежного покрова не иссякнет ручеек селян. Первую ягоду себе не берут — всё на продажу. Ждут, когда нальётся соком жизненным, напитается духом целебным, лесным, солнышком ясным засахарит — вот тогда она, ягода, чудо природное, к столу годная и к заготовкам ладная. Летом Крюковы всей семьёй были на заготовке. Благодаря Лесу детей в школу собрали да по хозяйству кое-что прикупили.

Супруга тревожно ждала и любила то время, когда муж возвращался из Леса. Он входил, и вместе с ним врывался запах костра, свежего елового лапника и яркий щемящий дух опасности. Вешал в сенях ягдташ³, набитый тугими рябчиками и краснобровыми красавцами тетеревами. Шумно хлопал дверями: «Хозяин вернулся!», дочки висли на шее, жена радостно и суетливо собирала на стол. Сын не ждал, пока мелкота угомонится, разбирал трофеи, чистил остро пахнущую порохом, ещё дедову, одностволку.

Отец Григория ушёл рано. Вернулся как-то с охоты пустой, лица нет, чёрный весь. Слова не добиться. Захворал. Врачи в городе рак определили. Лечи-

³ Ягдташ (нем. Jagdtasche — «охотничья сумка») — сумка для ношения убитой дичи и необходимых на охоте припасов и приспособлений.

ли. Ничего не помогло. Из больницы домой доживать выставили. За год высох, обескровел. Григорий в то время только с армии вернулся. Умирая, отец позвал сына. За руку взял. Захрипел чуть слышно.

— За старшего теперь... Семья на тебе. Ружьё твоё... Зашёл в Лес — будь им. Вышел из Леса — помни о нём. Возьмёшь больше нужного — потеряешь больше, мало возьмёшь — Он ещё даст... — вздохнул прощально, глаза закрыл, ослабели пальцы...

Похоронил отца и стал в семье за старшего. Водителем в леспромхоз устроился. Мать после смерти мужа слегла, болела тяжело. Через полгода поднялась, но до конца выправится всё же не смогла. На работу в леспромхоз больше не пошла, устроилась в детсад нянкой. Сестры-погодки одна за другой повыскакивали замуж, разъехались в города. Хозяйство легло Григорию на плечи. С Нинкой-одноклассницей порвал, узнав, что зазноба школьная вовсю женихалась, пока «ждала» Гришку с армии. Погоревал, попил горькую, да и отверг подругу липкую. Столкнулся как-то в поселковом магазине с девушкой, сразу и не признал. В школе на два класса младше училась. Вспомнил — белобрысая, угловатая, нескладная, в общем — мышка серая. Сейчас подросла, округлилась. Красотой особой не блистала, но веяло от неё теплотой и спокойствием, именем звалась добрым — Тая, Таяшка.

Холостяковал недолго. Первенца нарекли в честь Сергия Радонежского. Только мальчонка ножками пошёл, Тая снова понесла, девочкой Танюшкой обрадовалась. Третьего ребёнка не ждали, но Бог дал ещё одну помощницу, Олесю. Доброй хозяйкой оказалась Таисия. Дети в чистоте, дом в порядке, да и с матушкой супруга ладила.

Зима в этом году странно заглянула в Карелию. В конце октября быстро схватилась, вмиг сковала речку. Снега навалила по колено, метелью хлесткою повила, побуйствовала две недели. Затем опомнилась, испугалась собственной прыти и отпустила. Оттепель была скорой и смелой, очень похожей на весеннюю. Снег как упавшее тесто сдулся, а проливные дожди добились его напрочь, без сожаления. Гагара восторженно вскрылась, разбросав ненужные льдины по пустым берегам. Зайцы недоумённо белели ватными пятнами в мрачно-голом лесу. Лишь в конце ноября осторожно, стесняясь, закружился запоздалый снежок. Мягко, по-кошачьи подкрались смелые холода и аккуратно в прозрачно-звёздную ночь застеклили студёную речку.

Старенькая «Нива» прокряхтела полтора десятка километров по изрезанной лесовозами дороге. Попрыгав по бревенчатому мосту через речушку, остановилась на небольшой полянке. Дальше пешком. Ходьбы до охотничьей избушки — час. Но надо обойти уголья.

Короток зимний день на Севере, мимолётен. Еле успеет родиться к обеду, быстро начинает тускнеть, затихать. Постаивают от зябкого ветерка бледнотелые берёзы. Стыдятся, прикрываются песцовыми рукавами разлапистые ели.

Идёт Григорий привычно тихо. Лёгким поскрипом отзывается неглубокий снег.

Охотник иногда останавливается и прислушивается. Поглядывая, распутывает мысленно следы многочисленные, разным зверем по листу белому узелками вязанные. Поглядывает — и на завтра планы строит. На сегодня хватит: смеркается, пора в избуш-

ку. День сегодняшний удался. Пяток рябков да парочка косачей приятно оттягивают ягдташ. Густо сидело тетеревов на грустных заиндевелых берёзах. Глаз радовался. Наткнулся на переход⁴ лося. Потропил⁵. След крупный, орешки⁶ округлые, по всему видно — бык⁷. Найденный рог с семью отростками и не засохшим ещё окровавленным пятаком⁸ дал возможность точнее определить возраст: семилеток. Ночная лёжка, постриженный на уровне груди осиновый подлесок убедил — не ушёл, здесь бык, кормится. Но... поздновато. Завтра. Завтра главный день.

Идти недалече. Перед Крюковым открывается большая, посреди дремлющего в задумчивости березняка пропleshина, поросшая небольшими клочками мелколесья. Осталось пересечь берёзовую рощу, одолеть глубокий шрам поросшего чапыжником⁹ оврага, поднянуться к строгому, по-военному собранному сосновому бору, и вот она, охотничья избушка, сиротливо стоящая неподалёку от заснеженной сонной ламбушки¹⁰. Капризно озерцо, непредсказуемо. Не каждому оно открывается, не каждого рыбкой балует. Труден подход к воде. Заболочены берега. Мало кому тропа через топь известна. Забыли её поселковые. Озёр в округе в достатке, ближе и покладистей.

Но подходя к поляне, видит: у самой кромки березняка большое коричневое пятно. Лось. Похоже, его он и тропил. Далековато. Осторожно переломил ружьё, вложил пулю. Еле слышный щелчок заставил лося вздрогнуть. Григорий замер. Лось, постояв не-

⁴ Переход — пересечение следов зверя через тропу или дорогу.

⁵ Тропить — идти по следу.

⁶ Орешки — в данном случае — помёт лося.

⁷ Бык — взрослый лось-самец.

⁸ Пятак — место основания рога.

⁹ Чапыжник — частая молодая поросль леса, кустарник.

¹⁰ Ламбушка — лесное озерцо.

сколько минут, насторожился, прислушался. Зашевелились уши-локаторы. Ничего не заподозрив, побрёл на поляну — жевать мелкоколесный осинник. Темно. Лишь молодой белёсый месяц бодает больное чернотой небо. Охотник пригляделся — рогов не видно. Скинул уже и второй, может, и раньше сбросил. Подкрался на выстрел. Стрелять неудобно — лось стоит задом. Надо брать. Завтра что — неизвестно. Время трудное. Прицелился в шею...

Гулко треснул выстрел, закольцевав эхом округу полусонную. Завалился сохатый, застонал, захрипел. Кинулся к нему Григорий, на ходу гильзу пустую меняя на патрон следующий. Подбежал, фонарём осветил и оторопел — корова¹¹. Смотрит на него, глаза печальные, как у больной собаки — угасает. Сколько бил зверя разного Григорий, но таких глаз, полных боли и страдания, не видывал. Отвёл взгляд, не выдержал. Вынул нож, встал на колено, хрустнула гортань — добрал¹², прекратил мучения. Поднялся, а тут другое: стоит в тридцати шагах лосёнок. Большой уже, но без мамки ещё неразумный. Застыл, на него смотрит. Вскинул Григорий ружьё — добыча лёгкая. Не он возьмёт, так волки подберут. Мелькнул кадром взгляд лосихи перед глазами — опустил ружьё. Одного греха на сегодня много, два не потянуть. Нужда, время тёмное злую шутку сыграли с охотником. Не разглядел. Поторопился... Закричал, руками замахал — рванулся лосёнок длинноногий, скрылся в темноте...

Запалил Григорий костерок. Перевернул корову на спину. Снега под бока подбил для верности. Всперол ножом острым от гортани до хвоста... Шкуру снял

¹¹ Корова — лосиха.

¹² Добрал — добил, умертвил.

довольно быстро. Больше всего боялся, что стельная окажется. Когда брюхо вскрывал, из вымени потекло по лезвию вострому молочко, тонкой, живой белой струйкой, с кровью мешаясь, уже безжизненной. Вздрогнула душа... Вывалил внутренности... Слава богу — не огулянная... Лосёнок, видно, поздний, летний. До сих пор ещё мамка прикармливала... Печёнки кусок пластанул ножом, с собой в рюкзак — вечерину в избушке коротает со свежатиной, остальные потроха в костёр кинул. Шкуру конвертом сложил. Тушу валежником прикрыл.

Приземиста охотничья избушка. Стоит боровичком среди леса соснового, метрах в тридцати от ламбушки. Добротно отцом рубленная. До избушки как добрался, сам не заметил. Керосинку зажёл, буржуйку растопил. Взял пешню, ведёрко, за водой направился. Лёд на озере пока нетолстый.

Прорубь взглянула на него тёмным недобрым глазом. Сел на перевёрнутое ведро. Закурил. Мысли всякие в голову чёрными змеями поползли — попытался отогнать. В следующий раз капканы¹³ на щуку надо ставить. Да и живцов некогда завтра ловить. Поутру санки с избушки взять, добраться до туши, разделать, рюкзак набить да санки загрузить. Санки самодельные, вместо железных полозьев — лыжи деревянные. Снега ещё мало. Хорошо можно нагрузить. До машины километров пять. Раза три сходить придётся. Был бы сын здесь, так за два раза бы управились... Всё, надо идти ужинать и спать. Завтра день трудный. Зачерпнул воды.

В избушке стало почти тепло. Буржуйка, обложенная камнями, отдавала жар быстро, скоро камни нагреются и до утра тепло продержится. Печёнку, пожаренную на сале, съел без аппетита. Водка оказалась безвкусной...

¹³ Щучий капкан — механическое орудие лова рыбы, используется в Карелии и Финляндии.

Григорий заснул, во сне пригрезился отец. Первая охота на медведя. Утро. Август. Глухая лесная поляна, засеянная овсом. Грише тринадцать. Пока шли к поляне, видели многочисленные медвежьи следы: развороченные трухлявые пни, разорённые муравейники. Огромными когтями высоко подрана кора на деревьях, выше роста человеческого. Овёс на поляне примят, метёлки стеблей съедены... Отец с дядей Мишей — будут на лабазе¹⁴ — там места только для двоих. Для Гриши нашли три берёзы, растущие вместе на краю поляны. Соорудили засидку. Одна палка между двух берёз — седалище, другая под ноги. Третье дерево — под спину. Отошли, глянули: хорошо ветки охотника скрывают. Гриша, пока мужики колотились, переживал, вспоминая высоко оставленные когтями глубокие медвежьи следы.

— Делайте выше. Укусит ведь.

— Не бойсь. Ружьё дадим, — смеялся батя.

— Если выйдет мамка с медвежонком, не бей. Вообще запомни — мамку не бей никогда. Мамка это жизнь. Корову не бей. Копылуху¹⁵ не бей. За медведем идём. Слезешь, только когда мы подойдём, свистну, услышишь, — поучал отец.

Он сидел тихо, не шелохнувшись уже часа три. День догорал. Зад устал, ноги начинали затекать. Было тихо-тихо. Наступало то самое время перед закатом, когда замирало всё. Немели птицы. Засыпал ветер. Мышь, бегущая по жухлой листве, слышна за десять метров... Лёгкий хруст за спиной заставил его сердце подпрыгнуть и заколотиться. Еле различил

¹⁴ Лабаз — тщательно замаскированное укрытие на деревьях для скрытой охоты.

¹⁵ Копылуха — глухарка.

мые шаги затихли, и слышно было, казалось Грише, как через могучие ноздри зверя со свистом проходит вдыхаемый воздух. Никакие силы не могли заставить повернуться подростка. Страх, стра-а-а-а-ах липким леденящим шёпотом проникал в голову. С каждым звериным вдохом он множился и укреплялся. Больше всего мальчишка боялся повернуться и взглянуть в глаза огромному, хищному, стоявшему у него за спиной дикому зверю. Пот предательскими каплями катился по лицу. Нет, юноша не забыл про заряженное ружьё, он просто не готов был его поднять. Пальцы вцепились в оружие судорожно — и омертвели. Гриша всей спиной чувствовал зверя, но ужас парализовал и обездвижил. Через минуту, показавшуюся вечностью, шаги оживают и удаляются, слышится шлепок и тихое поскуливание... Медведица с малышом.

Солнце уже закатилось. Гриша всё еще не мог успокоиться. Тут на поляну беззвучно выплыла одна фигура, затем другая... Целое стадо кабанов: секач — здоровенный, как диван, ещё один кабан поменьше, три матки и куча подсвинков. Кормятся. Подсвинки суетливо толкаются. Поросят из-за высоких стеблей почти не видно. Почему мужики не стреляют? Заснули, что ли? Близо. Как в тире ведь стоят... Темнота накрывает стремительно. Ещё минут пять — и вообще не видать ничего. Гриша, пересиливая себя, поднимает ружьё, выцеливает секача, опускает в нерешительности, затем собирается и стреляет. Кабан вздрагивает, передние ноги подрубаются, валится. Гурт — врассыпную. Гриша сидит, как ему кажется, очень долго. Наконец, слышит знакомый свист и крик отца:

— Слезай, стрелок.

Слетает с засидки и мчится, радостный, на крик. Кабан мёртв. Вблизи он кажется ещё огромней. Клыки — устрашающие, бритвенно острые. Вместо похва-

лы Гриша тут же получает от отца увесистый подзатыльник:

— На кого сидим? На медведя! В следующий раз хоть лось, хоть кабан — не брать! Пусть хоть лезгинку перед тобой танцуют! Не брать! Уговор! Видели мы косолапого. Подсвинка он пас. Чуть не взяли. Ты напутал... Запомни, сынок! Поймёшь Лес — ключ жизни получишь. Не поймёт тебя Лес — ключа не видать...

* * *

— Пинь-пинь... Пинь-зи-пинь, — среди полного безветрия серебряным колокольчиком звенел голос синички.

Григорий улыбнулся, черпанул из кармана семечек, вытянул руку, и через несколько секунд звонкогласая уже сидела у него на ладошке, бодро вертя любопытной головкой из стороны в сторону, поклёвывала угощение. Иногда она неожиданно вспархивала, делала небольшой кружок, облетая охотника, но непременно возвращаясь, садилась на руку.

Частенько звонкогласая сопровождала Крюкова на рыбалку. Присаживалась на пешню и ждала, пока рыбак положит на носок сапога или на коленку немножко мотыля. Подкреплялась не стесняясь. В конце рыбалки Григорий пластал ножом мелкую рыбёшку и оставлял на снегу. Пичуга ждала этого и с удовольствием благодарно расклёвывала подношение.

Синичка, щечечка, взлетела и скрылась среди веток.

— Ну, всё, пора. До туши идти минут десять, разрубить на части добычу, загрузиться и к машине, — сам себе скомандовал Крюков.

На зимовку подыскал место среди елочек молоденьких. Густо, дружно росли. Натаскал сухого валежника, настелил под себя, примял. Пригнул, положил несколько елочек над собой. Заплёл вершинки. Гнездо¹⁶ получилось с крышей хвойной, шатровой. Забрался в жилище, огляделся и удовлетворённо рыкнул. Почистился основательно, вылизался. Мостился долго, ворочался, устраиваясь поудобней. Наконец, предчувствуя скорый снег, успокоился и заснул. Снег повалил густо, плотно. Припорошил еловую крышу, присыпал, утепляя гнездо вокруг. Свет почти перестал проникать в медвежье логово. Лишь небольшой парок, выходящий из крохотной отдушины, выдавал жилище. Скрыла до весны природа зверя.

Но не случилось всё как всегда. Потекла медвежья крыша через две недели. Съели дожди весь снег, покой нарушили. Мокро стало, тепло по-весеннему. Тяжело, неохотно ворочался, не хотел вставать косолапый. Подняла его ошибкой своей природа, родила зверя злого, лютого — шатуна¹⁷.

Встав на задние лапы, потянул ноздрями воздух. Пахнуло кострищем, острым запахом крови. Послышался тяжёлый дух лося. Ясно кольнул чуждый, сорный запах человека. Не к добру это. Опустился на четыре своих, попытался уйти. Но манил, звал голод, нестерпимо болели растрескавшиеся от холода голые подушки лап. Невыносимо кричал запах крови, притуплял, растлевал чувство опасности. Медленно, пока ещё нерешительно, сомневаясь в правильности дей-

¹⁶ Медведи часто зимуют не только в берлоге, но и на земле, строя что-то наподобие гнезда.

¹⁷ Шатун – медведь, не набравший на зиму жира и не залёгший в спячку или же разбуженный по каким-то другим причинам. Чрезвычайно агрессивен и опасен для человека.

ствий своих, приносиваясь, пошёл. Голод гнал его на запах.

Лосёнок не ушёл далеко от убитой мамыши. Выследил его шатун. Ударом мощным, когтистым, сбил с ног. Насел сверху и растерзал беззащитную шею, грудь. Заревел, упиваясь силой могучей, звериной. Разорвал брюхо и жадно набросился на внутренности, слизывая горячо бодрящую кровь...

Они столкнулись неожиданно. Медведь, увлечшись своей добычей, не заметил внезапно появившегося из-за невысокого чапыжника охотника. Григорий на секунду растерялся. Взгляды встретились. Страх не было, как давно уже не было тринадцатилетнего несмелого подростка, и шатун не думал уступить, хорониться. Глядя прямо в глаза, охотник снял ружьё из-за спины, переломил, вложил патрон с пулей, вскинул, выстрелил. Увидел, что попал: голова у медведя дёрнулась, пуля сорвала со лба кусок шкуры, кровь красным веером взвилась над мордой. Медведь вздрогнул, мотнул головой, но не упал. Кровь яркой вспышкой взорвала мозг, разбудив страшную ярость хищника. Он зарычал утробно, устрашающе низко и бросился. Нет, он не пробовал напугать. Разорвать и убить, только так. Он один здесь хозяин, и никто не отберёт его добычу.

Пару секундхватило медведю, чтоб наброситься на Григория, но этих же секунд было ничтожно мало, чтобы выстрелить ещё. Перезарядил, но мгновения не хватило для выстрела. Охотник успел лишь поднять ружьё перед собой, и в это время жуткая окровавленная морда с хрустом перекусила основание приклада. Следующим ужасающим движением когтистой лапы зверь сбил с ног Крюкова. Страшной силы удар пришёлся по плечу, скользнув по голове, разорвал щеку, распластал ухо и сорвал часть скальпа. Сломанное ружьё

улетело в сторону. Шатун накиннулся на лежавшего на спине человека и стал рвать. Тот успел прикрыть голову левой рукой, другой же выхватил нож и наносил, наносил отчаянные удары в тело косматое. Медведь, вцепившись чудовищными клыками в руку, сломал её как сухую ветку, заревел предсмертным устрашающим рыком, рванул за бок раздирающими одежду и плоть дьявольскими когтями. Звериная и людская, праведная и грешная, смешалась кровь в один сгусток багровый. Два тела сцепились намертво, две жизни слились в одно целое... Задрожало всё, дёрнулось и затихло...

* * *

Он очнулся под огромной лохматой тушей. Пронзительная боль заставила поверить, что жив. Крича от боли, выбрался охотник из-под зверя зловонного, бездыханного. Отлежался. Попытался встать. Страшен он был. Весь в крови, своей и звериной. Прокушенная, сломанная рука висела плетью. Из рваной, зияющей на боку раны сочились, пульсируя, тёмная кровь. Жуткой белизной отливали обнажённые рёбра. Правая часть лица — месиво жуткое, глаза вроде бы целые. Ноги... ноги истерзанные, но идут.

Шатаясь, подобрал обломки ружья и, опираясь на ствол, шаг за шагом кровавая след, побрёл к избушке. Сколько времени шёл, падал, поднимался и опять падал, оставляя багровые лёжки, он не помнил. Не помнил и как ввалился в двери, упал и потерял сознание.

Очнулся уже ночью. Собрал все силы, дополз и забрался на нары. Дожить до завтра — стучало в голове. Завтра понедельник, хватятся, начнут искать.

«Дожить... дожить... дожи...» — и опять сознание провалилось в бездну.

Грезилась Григорию Нинка вертлявая, грешно зо-

вущая сочным телом холёным. Грезилась Таюшка, вся в чистом, белом, на стол собирающая. Серёжка радостный, бегущий с селезнем в руках — первой своей добычей стреляной. Дочки, весело скачущие со скакалками во дворе. Мать с отцом, пьющие чай с блюдеч. Самовар, важный своей пузатостью... Глаза лосихи гаснущие... Грезился Лес, молчаливый, тревожный...

Понял Григорий — он уходит...

* * *

В воскресенье Людмила Ивановна поднялась позже обычного. За окном брезжил несмелый декабрьский рассвет. Дети отсыпались, в школу спешить не надобно. Таисия, стараясь не греметь посудой, что-то творила на кухне. Вечером муж вернётся. Печь уже топилась, радостно потрескивая сухими дровами. Бабушка села на кровать, потом поднялась тяжело. Подошла к зеркалу простоволосая, долго расчесывала послушные седые волосы деревянным гребнем. Мысленно подсчитала новые морщины на стремительно увядающем лице. Как быстро пришла старость. Как стремительно промелькнули годы...

Позавтракав, Людмила Ивановна вернулась в свою комнату, села на кровать. Надела очки, взяла вязание.

«Тюк-тюк... тюк-тюк», — маленькая пичуга долбила своим тоненьким клювом в оконную раму.

От неожиданности бабушка вздрогнула. «Наверное, внучок забыл сало повесить, вот синичка и требует», — подумала она.

Но сало висело на тоненькой берёзовой веточке, тихо покачиваясь от робкого ветерка.

«Тюк-тюк... тюк-тюк», — настойчиво постукала птичка уже по стеклу, затем, вспорхнув, улетела.

Тревожно кольнуло материнское сердце. Людмила Ивановна побледнела, приняла таблетку, прилегла...

Вечером Григорий не появился. Таисия пробовала себя успокоить: иногда его старенькая машина капризничала. Но к началу рабочего дня муж возвращался всегда. Ночь ожидания прошла в тревоге. Утром Таисия позвонила в леспромхоз. Директор, выслушав, выделил «уазик» с механиком и с водителем. Мать отправила сына с мужиками.

«Нива» стоит на месте. Отец должен быть в избушке. Резво бежит Серёжка по петляющей, мало кому знакомой тропе. Не поспевают за ним мужики. Подросток останавливается, дожидается нервно, но едва мужики показываются, припускает снова. Не доходя метров триста, натывается на чуть припорошенный, кровавый след. Тут мальчишку не удержать.

В избушке холодно. Возле нар у окровавленного отца стоит на коленях подросток, и его плечи беззвучно вздрагивают...

* * *

Людмила Ивановна и Таисия сидят на кухне, минутно вглядываясь в окно. Уже вечерет. Девочки затихли в своей комнате. Хлопает калитка, и через секунду в избу влетает Валька Краснуха. Весь её вид кричит дурной новостью...

* * *

Вьюжит. На поселковом кладбище народ почти разошёлся. У свежей могилы остались только родственники. Строганой деревянной занозой торчит крест из прощального жёлтого холмика. Серёжка держится молча, пальто расстегнуто, шапка в руке. Ветер нервно треплет русые волосы, вбивая в них колкую снежную крупу. Слеза, оставляя за собой мо-

крую дорожку, докатилась до подбородка и силится упасть на скорбную землю. Дочки уже наревелись и испуганно жмутся к матери. Таисия, обнимая их за плечи, стоит отрешённая. Приехавшие из города сестры Григория поправляют венки.

Около кладбищенской ограды останавливается служебная машина. Из неё тяжело выбирается директор и медленно идёт к могиле. Ломая норковую шапку, отдышавшись, подходит к Таисии.

— Соболезную. Хороший человек был. Много народу пришло... — помедлив немного, суёт ей в руки пачку денег.

— Тут зарплата Григория за последние месяцы, все деньги... Крепитесь... Да, будет время, зайди как-нибудь в контору, за деньги надо бы расписаться...

* * *

— Пинь-пинь... пинь-зи-пинь... — по-весеннему бодро поёт синичка.

Голенастый тринадцатилетний мальчик стоит на берегу таёжной ламбушки в больших отцовских сапогах, с ружьём за спиной, а на вытянутой руке — маленькая юркая пичуга клюёт привычное угощение. Отец сидит поодаль на грубо сколоченной ещё дедом скамье рядом с избушкой. Смотрит на сына, и тяжёлая мужская слеза нехотя ползёт по изрытому свежими шрамами лицу. Довезли мужики вовремя. Успели. Крови много потерял. Долго отвалился Григорий в больнице. Еле выскребся...

Мать... Бедная мама... Страшная чёрная весть о смерти сына, принесённая бабой-дурой Валькой Краснухой, разнесла в клочья материнское сердце. Только через три месяца смог Григорий поклониться могиле матери.

Диана НЕВЕРОВА
(Ленинградская область, пос. Остров, РФ)

Габбро

Рассказ

- Как пишется слово любовь?
— Оно не пишется, оно чувствуется.
Винни-Пух

Саша злилась. Габбро опять вышел на тропу войны: покусал конюха Матвеича, вышиб две доски между своим и чужим денником, а сейчас и вовсе точно взбесился — каждый новый круг, который она заставляла его проходить по манежу, бил задом, яростно втягивая при этом холодный осенний воздух, и если бы не твердая рука, которая держала поводья, давно цапнул бы и ее!

— Ах ты, гад, ну сейчас ты у меня получишь! Р-рысью! — она сдвинула бока коня шенкелями, чувствуя, как горячая дрожь волнами прокатывается по всему телу животного, как сопротивляясь ее воле, он выгибает длинную шею и напрягает поясницу и круп, чтобы отбиться от противной ноши, но жесткая рука

сильнее натянула поводья, и конь задышал чаще, поддаваясь мучительному давлению трензеля на мягкий язык, согнул шею и полетел по влажным опилкам манежа размашистой рысью, все ускоряя и ускоряя темп.

Она вжалась в седло, чувствуя бедрами размеренную работу лошадиных лопаток, закрыла глаза, пытаясь представить, какой ногой конь ступает — левая, правая, левая, правая... С закрытыми глазами было не то что страшно, но неудобно: как если вдруг погаснет свет в лифте, кабинка, дрогнув в последний раз, замирает в пространстве, и на ты миг забываешь, куда ехал — вниз или вверх. Однако реклама соревнований по выездке, которой была заклеена вся конюшня, требовала жертв и достижений — Саша слышала ее кроважидный писк, даже не видя ярких плакатов. Тренер тоже требовал жертв, как требовал их и владелец коня господин Н.: он выложил за Габбро приличную сумму, когда тот выиграл Большой приз, хотя герр Клаус сказал, что отдает его так, чуть ли не даром, ведь это зер гуд, если конь вернется на родину, корни-то у него русские!

Один Габбро ничего не требовал — просто был против всех и всего, что его окружало. Русские корни совсем не помогли, или наоборот, наконец смогли проявиться. По документам он считался метисом: сыном немецкого тракена и аборигенной карельской лошади. От отца ему досталась элегантная внешность, а от матери — выносливость, которой так славятся лесные лошади Карелии, и редкий окрас: он был вороным, но с небольшими краплениями белого цвета, отчего иногда казался серебристым, как тот самый черный карельский гранит — габбродиабаз, в честь которого его и назвали.

Габбро позволял кормить себя и выводить в ле-

ваду, где часами мог подстергать деревенских собак, чтобы срывать на них злость, втапывая скрюченные и визжащие комки в раскисший грунт — если удавалось настигнуть. Все прочие действия по отношению к себе считал вражескими: начиная от расчистки копыт и заканчивая любыми попытками поработать с ним в манеже. Он мстил всем, кто посягал на его свободу: хватал зазевавшихся гостей конюшни именно за такие места, где гематомы чернели неделями, наваливался крутым широким крупом, вминая жертву в стену денника, с остервенением драл рептух, в котором ему приносили сено, задирали кобыл, до которых мог дотянуться. Терпел только двух людей: старого карела, которого все считали сумасшедшим, потому что он разговаривал с деревьями и животными, но при этом отказывался говорить с людьми, и девицу, приносившую ему соль. Почему он мирился с их присутствием — не понимал до конца ни сам Габбро, ни девица, ни более опытные конники. Возможно, понимал старый карел, но своими мыслями ни с кем не делился. Он был в конюшне всегда, как были солнце, луна и небо; незаметный, похожий на одну из маленьких прозрачных соломинок, которые так любил выискивать Габбро — на дне ведра, из которого его поили, в щелях дощатого пола или на блюдах огромных луж, уже подернутых осенним ледком.

«Не вонючка», — так бы сказал о нем Габбро и любой другой конь, если бы их спросили, потому что запах старика растворялся в привычных запахах конюшни, не угрожал табачным дымом, а как-то уютно обволакивал и успокаивал.

Девицу Габбро терпел из-за больших шершавых кусков соли, которые она приносила. Так приятно было вылизывать их до гладкости, а потом долго и с наслаждением пить из большого корыта, отгоняя

от воды кобыл и нахальных стригунков. А может быть, он терпел ее за то, что она была такая же злая, как он сам.

От быстрой езды оба разгорячились, и, кроме тени, их преследовали бледные жгутики пара, рожденные общим дыханием, но Саша не замечала этого — она выпустила повод и все еще ехала с закрытыми глазами, полностью отдаваясь темноте и скорости. Конь почувствовал перемену в ее настроении и, откликаясь на мягкую руку, пошел легче, хотя скорость не сбавил. Быстрее, круг, еще круг. И вот уже оба расслабились, точно смирились с жизнью и присутствием друг друга и казались чем-то единым, целостным, каким-то существом, которое все никак не может насытиться энергией движения.

Вдруг что-то напугало коня — ослепленный страхом, он вскинулся на дыбы и почти сбросил всадницу, но она удержалась в седле и до крови разодрала мягкие лошадиные губы.

— Тише! Ша-агом! Габи хороший...

Конь недоверчиво зафыркал на ласковые нотки, прижал уши, застрочил тонкими ногами по вязкой жиже манежа, но все же пошел шагом, принюхиваясь и всматриваясь в стеклянные сумерки вечеряющей деревни, будто искал кого-то. Саше тоже захотелось отряхнуться, сбросить то гадкое, что зудело под кожей и сдавливало в руках повод, но она лишь смахнула красную пену с шеи коня и вытерла руку о голенище новеньких краг. Конь снова шархнул в сторону от деревянной изгороди в глубину манежа, но сам остановился и опять стал принюхиваться. Саша с досадой похлопала его по шее и спрыгнула.

— Не наш сегодня день, да, бука ты немецкая? Давай пошагаем... — и еще раз похлопала его по шее и потянула за оголовье.

Конь отстранился насколько смог, но пошел рядом, продолжая напряженно всматриваться в затянутый туманом лес, который начинался сразу за оградой. Вечер набирал силу, бледные сумерки исчезали в густом тумане, который местами темнел, точно бумага, напитавшаяся чернил.

— Включаю свет, Са-а-ша! Включаю свет!

Голос конюха разрушил тишину вечера, сразу как-то стали слышны и другие звуки: звяканье ведер — скоро лошадей будут поить, — далекий стук колуна, которому вторил звонкий топорик, ленивая переключка деревенских собак и чужеродный металлический шум электрички. Темнота над манежем стала оживать, защелкала, загудела, один за другим вспыхивали фонари. Последним зажегся самый большой прожектор прямо над женщиной, ведущей коня необычной масти — на черном фоне наступающей ночи конь казался серебристым. Прожектор разгорался постепенно, что-то в нем потрескивало, сражалось с плотным сумраком, и треугольник света, который он посылал к земле, ширился медленно, точно сомневаясь в своей надобности.

Саша подняла голову, силясь различить, что творится в небесах, и в этот момент все фонари неожиданно погасли, а потом так же неожиданно вспыхнули снова, и в ярком потоке света возник силуэт человека — Саша не успела ничего толком увидеть; Габбро в очередной раз взметнулся на дыбы, оборвал повод и умчался в противоположный конец манежа. Лампы замигали и опять погасли.

— Вот черт! Габи! Иди сюда! Эй! Кто тут? Матвейч, ты?

Темнота не откликнулась. Габбро отошел еще дальше — его глухое фыркание почти слилось с шипением слепых фонарей. Саша с раздражением рас-

стегнула жилет, достала телефон, включила фонарик и осветила в сторону леса... На расстоянии вытянутой руки стоял человек и пристально смотрел на нее. От неожиданности Саша ойкнула и отскочила в глупину манежа, так же, как это недавно сделал конь.

— Фу ты, черт! Чего не отозвались? Напугали! — от волнения голос звенел, а рука, держащая телефон, так тряслась, что казалось, будто бы она рисует в воздухе картину.

Жидкий свет фонарика выхватил из темноты невысокого пожилого мужчину, отразился во множестве мелких капелек, которые дрожали на его длинных кудрявых волосах, почти сливающихся с туманом, и остановился на огромных для такого маленького лица глазах. Старик продолжал смотреть, не мигая, только чуть развернулся на голос и наклонил голову.

— Мужчина! Вы к кому? Тренера нет, а у меня индивидуальные занятия...

— Я с Макаром приехал. Извините, не понял, что вы ко мне обращаетесь, — голос у мужчины был сочным, молодым, очень приятным и как-то не вязался с его внешностью.

— Каким Макаром?

— Макаром Видным, он тут раньше берейтором был...

— Не понимаю. У нас тут вообще-то нельзя посторонним, коня мне напугали, — Саша сердито махнула телефоном в темноту манежа. В этот момент фонари опять зажглись, и оказалось, что Габбро стоит рядом с говорящими.

— Уздечку вот порвали из-за вас, видите, — Саша еще раз махнула в сторону Габбро и попыталась схватить его за огрызок ремня.

Старик ничего не ответил и продолжал смотреть.

— Ну ладно, — неожиданно сказала Саша и замол-

чала, как бы удивившись своему согласию. — Ждите своего Макара, только сходите тогда в главное здание, там старший конюх сидит, попросите у него разрешения и принесите мне заодно новую уздечку, красную, она там одна такая, висит в амуничнике. Хорошо?

— Хорошо, — спокойно ответил незнакомец, развернулся всем корпусом, положив одну руку на деревянную ограду манежа, и, выставив вперед трость, медленно пошел.

— Мужчина! Куда же вы? В другую сторону...

— Хорошо! — он еще раз развернулся, и когда проходил мимо, Саша обратила внимание на его руку — маленькая, почти детская ладошка, с очень длинными тонкими пальцами; казалось, что старик не опирается на ограду, а гладит ее.

Однако думать об этом было некогда, и, не дожидаясь, когда чужак скроется в тумане, Саша предприняла еще одну попытку поймать коня. Но Габбро как-то вдруг развеселился, сдаваться не собирался и на каждое движение в свою сторону отвечал то бурным галопом, выколачивая копытами бесов из вялых опилок, то взлетал в туманную высь всем корпусом, выстреливая задними ногами в невидимых врагов.

— Ну и черт с тобой! — зло крикнула Саша и прислонилась к мокрой ограде. А потом рассмеялась — конь, выписав четкий пируэт, именно такой, какого она добивалась всю тренировку, резко остановился и уселся прямо перед ней, поджав под себя задние ноги и как бы приглашая продолжить игру в догонялки. — Какой же ты гад, Габи! И... — тут она хлопнула себя по обтянутой бриджами ляжке, — с карелом он ехал! Это ж его Макаром зовут, забыла совсем, тетеря!

Это открытие почему-то очень обрадовало. Саша легко шагнула к Габбро и взялась за уздечку. И то ли этот радостный голос так переменял отношение коня,

то ли он устал безобразничать, но продолжал сидеть и позволил снять с себя поврежденную сбрую. Саша пошарила рукой в кармане, достала горсть сухарей, один съела сама — остальные на открытой ладони протянула Габбро. Конь великодушно захрустел, выдыхая облачка вкусного хлебного пара. Сухари Габбро понравились, он встал и забил передней ногой по манежу, требуя продолжения, но праздник неожиданно прервался — уже знакомый старик возник у ограды и на кончике трости протягивал уздечку.

— Так эта же не та! Я же красную просила! Не видите, что ли? — Саша подошла к мужчине, грубо дернула путаный узел из черных кожаных ремешков. — Все надо делать самой, Бог мой, что за день! — опять сердито сказала она, перелезла через нижнюю перекладину ограды и зашагала в сторону главного здания конюшни. — Не вздумайте заходить в манеж! — крикнула она напоследок бестолковому гостю, но тот никак не отреагировал на ее слова и стоял все в той же позе, держась обеими руками за ограду.

Здание конюшни было старым, но добротным — когда-то здесь была знаменитая конеферма, воспоминания о которой заставляли вздыхать старожилков; вздохнула и Саша, остановившись у ворот главного здания. Она попала сюда еще ребенком: лошади притягивали вопреки запретам родителей, вопреки безумным километрам, которые нужно было преодолеть, чтобы оказаться здесь, в тишине карельских сосен на берегу Ладоги, перед этими огромными воротами, по деревянному полотну которых летели волшебные существа, — фигурки прекрасных аргамаков, оживающие под детской ладошкой. Но больше всего ей нравилась огромная лошадиная голова, служившая ручкой и охранявшая вход — латунная морда ярко блестела от частых прикосновений, крупные минда-

левидные глаза смотрели строго, как бы спрашивая входящих: «Достоин ли?» В детстве Саша всегда здоровалась с этой головой, гладила широкие холодные ноздри и только потом входила. Сейчас она тоже по привычке скользнула пальцами по горбатуму переносью, но вместо приветствия прокричала:

— Матвеич, куда дели мою красную уздечку? — и, не дожидаясь ответа, стала рыться в кучах конюшенного скарба, разбросанного вдоль стены у самого входа.

На ее голос из глубины конюшни выскочила коза с длинными ушами, но увидев Сашу, не подошла, а разочарованно брякнув, зацокала мимо.

— Почему я знаю, — заговорила вдруг огромная серая попона на другой стороне прохода. — Нянька я вам, что ли? — Попона сморщилась и затопала кирзовыми сапогами, от которых сразу стали отваливаться слоистые пласты земли. — На сеновале посмотри, сушили там что-то ведь.

— Ну а деда зачем впустил? Всю работу мне сорвал.

— Так он же местная звезда, как не впустить, ты что? — складки попоны раздвинулись, и показалась черепашья голова конюха; он с укоризной уставился на Сашу: — Это ж он почти на всех фотографиях, вон, за спиной у тебя вырезка из журнала...

Саша раздраженно дернула плечом, но не повернулась и не посмотрела на черно-белое изображение всадника; она много раз видела его, точнее знала, что кто-то там висит, но некая сила всегда заставляла смотреть на соседнюю цветную фотографию, где в камеру улыбалось ее собственное лицо.

— Он с Макаром приехал, соскучился по старым местам, как не пустить...

Саша бросила в угол с фотографиями старый

вальтрап. Замечание конюха взбесило, и если бы она была Габбро, то наверняка лягнула бы его. Матвейч это понял и, вспомнив, как сегодня ему досталось от ее злодея, не унимался:

— Давно его тут не было, стареем все, да... а гремел когда-то, мастер был, не то что... в Сомяр ездил опытом делиться! И-и-и, давно это было, при советах еще. Такой мастер был — ни один чемпионат без него не обходился!

Но Саша уже его не слушала, она взлетела на чердак, где хранилось сено. Свет с первого этажа золотистыми клинками пробивался сквозь щели в полу, воздух здесь был медовый, еще густо напитанный запахом лета, но из углов уже тянуло осенней плесенью, пахло мышами, сырой кожей и старым деревом. Матвейч бубнил где-то внизу, пока Саша пыталась нащупать выключатель.

— Такая беда с ним случилась, врагу не пожелаешь, ужас...

Какой там ужас, Саша не узнала, потому что голос конюха растворился в ее вопле: вместо знакомой пуговки выключателя в ее чуткую после работы ладонь ткнулось что-то жужжащее, страшное, осиное. Оно вилоьсь и вилоьсь вокруг, и гудело все злее и злее, пока ее протяжное «гадость, гадость» не заглушило все звуки, и не загорелся свет. Тишина. Никого. С лестничного пролета выглядывает растерянный Матвейч и прижавшаяся к нему коза. И вдруг опять — взззз! Саша рухнула на подстилку из соломы и старых журналов, барабанив ногами, размахивая руками и голося:

— Ненавижу! Всех ненавижу!

Что-то страшное схватило ее за ногу и стало тащить.

— А-а-аа!

— Да уймись же! Слепень это обычный, дура! —

старый конюх почти стащил с нее сапоги, пытаюсь прижать к полу. — Дура! — еще раз повторил он и скатился вниз.

Саша лежала, смотрела в темный потолок и думала, что да, она дура. И больше не понимает, что заставляют ее приезжать на этот пяточок с опилками, залитыми мочой. И она никого не любит. Даже этих чертовых лошадей. И этих чертовых лошадей особенно! Еще один слепень прилепился в лунку между большим и указательным пальцем — туда, где краснел след, натертый поводьями. Она шваркнула по нему каким-то журналом и поднялась, вся утыканная длинными соломинами и усыпанная трухой, точно сатана из детской книжки.

Одинокая лампочка боролась с темнотой — в луже света, прямо под ногами лежали чомбур, старая корда, возле слепого окна, затянутого пленкой, чахли вальтрапы — точно мотыльки, пришпиленные булавками, где-то в самом углу под скатом крыши испуганно цвиркнул воробей. Красная уздечка, подарок тренера за первую победу, лежала на самом видном месте, но Саше было неприятно смотреть на нее сейчас — яркая, нарядная, из тонкой итальянской кожи, раньше о такой можно было только мечтать! Саша подняла ее и хотела закрыть журнал, на котором та сушилась, но страницы упрямо распахивались — черно-белый всадник со знакомой копной кудрявых волос глядел на нее с пониманием. Овод, которого не удалось прихлопнуть, опять прилетел и уселся жирной точкой прямо на бумажное лицо, крыльями ослепив маэстро.

— Ты смотри, что творит! Что творит! Елы-палы, — голос конюха неожиданно спас жужжащую тварь от смерти.

Саша кинулась к окну, помедлив, содрала с него

пленку, представляя растерзанного Габбро старика, и замерла — манеж сиял в свете прожекторов, и с чердака было отлично видно, как огромный конь идет рядом с маленьким человеком испанским шагом. Высоко поднимая тонкие сухие ноги, смело захватывая пространство, Габбро плыл по манежу. Человек остановился — замер конь. Взмах руки — новая реприза, движение тростью — безупречное пиаффе, курбет, каприоль — фигуры с рыцарских гравюр возникали, точно вылепливались из темноты.

Краем глаза она заметила, как Матвейч в облаке попоны катится к манежу, и тоже кинулась вниз, но осталась стоять в проходе: в распахнутые ворота летел табун — лошадей загоняли на ночь. Вот, обдавая ее холодом, промчалась Соколка — дерзкая рыжая кобыла, Саша помнила ее жеребенком; вот грохочет старый мерин Батый — на его широкой спине она училась правильной посадке. Лошади проносились одна за другой — пахнущие осенними листьями, полем, мечтой. Вот они все — такие любимые и такие чужие — пробегают мимо. Сквозь губчатую пелену пыли со стены на Сашу смотрит строгое лицо всадницы, белоснежные бриджи струятся по бедрам, затекают под черный панцирь редингота и ледяными кольями манишки застывают вокруг тонкой шеи, рука в белой перчатке опасно замерла в приветствии. Саша не любит этот плакат, она кажется себе здесь какой-то слабой, возможно, в этом виноват Габбро — его собранная в тугие узелки грива похожа на шипы дракона, жилы на шее вздулись и чувствуется, что он готов кусаться даже бумажными зубами. Соседний плакат еще хуже — черный фрак с разомкнутыми фалдами, черный хобот цилиндра, черные сапоги и блестящие лапки шпор — она похожа здесь на злую голодную мушку, и Габбро смотрит на нее как бы в раздумье: убить или не убить?

Задыхаясь, Саша выбежала на улицу, стряхивая с себя ломкие травинки. Вздохнула глубоко, животом. Навстречу шел Матвейч, намотав на кулак правой руки давно нестриженную гриву Габбро. Крылатую попону он набросил на коня и шагал весело. Габбро шел рядом — спокойный, тихий, печальный. На перекрестке встретились, не глядя друг на друга, три головы повернулись в сторону деревни — туда уже убежала маленькая крепкая тележка. Чудак Макар сидел к ним спиной, а старик, наоборот, лицом. Саша впервые увидела, какая ладная у Макара тележка — зря говорят, что он сумасшедший! Тележка была как с картинки: деревянные бортики, цвета спелой тыквы, новые оглобли, широкий хомут, надежно лежащий на холке маленького Карагеца, который числился в конюшне ветераном, ленивом и больном арабчике. Даже дети отказывались на нем ездить, уж очень вялым был конь, однако сейчас он резво тащил на себе возок, груженный мешками с навозом и двумя людьми. Старик прижимался к Макару спиной, упираясь ногами в бортики, широко распахнув руки, детскими ладонями наружу, будто обнимая утекающую дорогу и стоящих на ней людей и коня. Саша помахала ему, но старик никак не отреагировал, а только улыбался и смотрел застывшими глазами и поворачивал голову в такт шагов Карагеца — левая нога, правая, левая...

— Он хоть что-нибудь сказал? — спросила Саша.

— Да. Спасибо сказал. Еще спросил, какой масти был конь.

Настойчивый слепень чиркнул Сашу невесомыми крыльями, уселся на шею Габбро и замер, потирая лапки. Саша накрыла его ковшиком ладони, почувствовала, как на миг затихла в нем жизнь, и выпустила в темноту наступающей ночи.

Александр ВАЛЬТ
(г. Санкт-Петербург, РФ)

Коса

Рассказ

— Нонна Михайловна? Ну што вам сказать... Нонна Михайловна теперь москвичка. Во-он ее дом, прямо через дорогу. И никакой он не новый, просто недавно покрашенный. А сам дом, наоборот, очень старый, больше ста лет ему. А если выглядит как новый, так это уж точно Ноннмихалны заслуга. И еще наш знаменитый лужский климат помогает. Здесь у нас, среди сосен корабельных, воздух сухой-сухой, под ногами — песок, ништо не гниет, не портится. Здесь и дома держатся долго, и люди.

Посмотрите, сколько у нас стариков кругом, тут все долго живут и ничем не болеют. Ну, разве что пьют много, так кто щас не пьет...

А Нонну у нас никто не понимает. Ну скажите, что за радость такая тащиться из Москвы в Лугу на перекладных, через Питер, с вещами... Да еще несколько

раз в год! Живешь в Москве, так купи там себе дачу и не мучайся. Что говорите? Ну да, значит, что-то такое есть, за ради чего она туда-сюда скачет. А уж как приедет, сразу все в порядок приводит, огород копает, чинит-строит... Молодец! Как ни глянешь, она с утра до вечера на участке, все хлопочет. Раньше отец ее покойный так же, совсем уже старый был, а все работал, работал... Бывало, посмотришь, а он на грабли обопрется, значит, устал уже, сам дли-инный такой, стоит и слушает, как листья по осени шуршат...

...Так у нас на даче судачат о людях. Каждый под прицелом людской молвы. Про каждого все знают, все помнят. И судят строго. И эту историю тоже все знают, правда не могу понять откуда.

* * *

В тот год рослая июньская трава вымахала — аж до груди, — заполонив все кругом. Утренняя роса еще не высохла, и Нонна Михайловна, только с поезда, еле пробралась по заросшей тропинке к своему домику, ругаясь на холодные и колючие стебли. Все стало мокрым: и платье, и обувь, и чемодан, а новая клетчатая сумка и вовсе застряла изящными колесами в густой и жесткой траве.

Время триммеров тогда еще не пришло. Это сейчас утреннюю благодать выходного дня сводит на нет треск соседской газонокосилки. А раньше по утрам было тихо, лишь приятное вжиканье косы мирно вплеталось в сон. Услышав его, можно было повернуться на другой бок и подумать, сладко засыпая: вот дает сосед, шесть утра, а он уже траву для кроликов косит, пока роса; понимает, что мокрую траву легче косить...

Вот и Нонне Михайловне пришлось лезть за ста-

рой отцовской косой. Заржавевший за зиму замок наконец поддался, петли заскрипели, уютный полутемный сарайчик открылся глазу. Настоявшийся древесный запах всколыхнул память. Нонна Михайловна зажмурилась, вспомнила. Осень, они детьми играют здесь, в сарае. На улице дождь, а в сарайчике сухо и уютно. Отец, высокий, ладный, в мокром дождевике копошится на улице под дождем, что-то чинит.

— Здоров, Михаил! — кричит ему сосед через забор. — Слышь, ты в этой шляпе ну прямо как тот артист, вчера по телевизору показывали... Николай Гринько, вспомнил, — и весело смеется.

Отец тоже улыбается в ответ. Дождь становится сильнее, отец прячется от него на пороге сарайчика... Потемневшая соломенная шляпа, серый брезентовый дождевик, вот они и сейчас висят на гвозде...

Нонна Михайловна вздохнула, не глядя протянула руку в нужное место, нащупала в темноте сарая косу. У отца во всем был армейский порядок, все инструменты на своих местах. За зиму коса сильно заржавела, затупилась. Нонна Михайловна провела пальцем по бурому лезвию, покачала головой, опять вздохнула и отправилась к соседу.

Есть у Нонны Михайловны сосед, Петрович. Старый уже человек, из местных. Круглый год живет он безвылазно в своей избушке рядом. Огород у него — загляденье, на участке полный порядок. Сразу видно, умеет человек все делать своими руками. С Нонной Михайловной они друзья, он и за домом присмотрит, и по хозяйству, если надо, поможет.

— Петрович, как жив-здоров? — Нонна Михайловна в старой отцовской шляпе стояла над ним.

Старик, наклонившись над грядками, смотрел на нее снизу вверх.

— Привет, Нона, с приездом, — прокричал он

и с трудом выпрямился. — Вишь, радикулит совсем замучил. А на даче у тебя все в порядке, все тихо, только заросло вон... А я пока тебе не помощник, покосить никак не могу, поясница не дает.

— Да я сама все скошу, я же умею, Петрович. Ты мне только косу наточи.

— Не разучилась еще? Ну ладно. А косу я тебе, конечно, отобью. Только не сейчас, вечером. Грядки надо успеть прополоть до дождя.

Отполированный годами темный черенок косы ласково грел руку. Нонна Михайловна передала Петровичу отцовский инструмент, еще раз почему-то вздохнула.

А потом на нее навалилось столько дел, что она и думать про эту траву забыла. Вернуть дачу к жизни после долгой зимы — это вам не шутка. Протопить, вымыть окна, разобрать вещи, починить потекший за зиму кран, подключить газ, забежать к соседям, со всеми поговорить, поздороваться... А к вечеру пошел дождь, не обманул Петрович, значит, нужно достать бочку из сарая, поставить ее под желоб, чтобы дождевая вода не стекала зря...

К вечеру Нонна Михайловна устала так, что чуть не заснула перед стареньким телевизором. А когда наконец улеглась, сон на нее напал особенный, лужский. Это такой здоровый сон, в полной лесной тишине, когда воздух после дождя напоен сосной, и ты им дышишь, и спишь, и спишь, и тебе не проснуться никак, а когда просыпаешься, то чувствуешь себя богатырем.

Только Нонне Михайловне не дали выспаться всласть. Петрович, вредный старик, притащился с самого утра и сейчас барабанил в дверь своим здоровым кулачищем.

— Вставай, Нона, поздно уже, восемь часов, — распевал он своим окающим говором. — Утро какое на дворе, давай просыпайся!

Щурясь от яркого утреннего солнца, заливавшего комнату, Нонна Михайловна спросонья накинула какой-то старый халатик и, запахнув его, выбежала к Петровичу на крыльцо.

— Ты что кричишь, старый? — накинулась она на Петровича. — Отдохнуть не даешь с дороги. Ну что случилось?

— Ничего не случилось, — Петрович оглядел с одобрением ее фигуру в халатике. — Вон, косу тебе принес. Хорошая коса, можно косить.

Он провел по острому лезвию пальцем, улыбнулся щербатым ртом.

— Так что забирай, Нона, инструмент, работы у тебя невпроворот, — сказал он с сочувствием и передал ей косу. — Правда, есть одно дело, — добавил он и замялся, глядя в сторону.

— Какое дело, Петрович? Деньги, что ли, нужны?

— Да не, Нона, какие там деньги, — отмахнулся Петрович. — А дело такое, что косу я тебе насовсем не отдам.

Теперь Петрович говорил серьезно, даже сердито и смотрел на Нонну Михайловну цепким тяжелым взглядом исподлобья.

— Что такое? — испугалась она.

— А вот такое дело, что коса это моя! — Петрович натянул кепку до самых бровей и посмотрел соседке прямо в глаза.

— Петрович, не сердись, — всполошилась та, — ты объясни толком, что случилось.

— А ты на косовище смотри, только внимательно смотри, — Петрович тряс косой у нее перед глазами.

— Косовище — это что такое, ручка?

— Ну да, у вас в Москве будет ручка, а по-нашему косовище. Ты давай, смотри.

— Петрович, ну что там, говори, — взмолилась Нонна Михайловна.

— А то, что знак мой на ней, здесь вот и здесь. Клеймо. Я вчера стал ее править, гляжу — моя!

Действительно, на старом потемневшем черенке можно было разглядеть в разных местах выжженные буквы «П», разлапистые и старые, как сам Петрович.

— Я уж и не припомню, кто у меня ее брал. Может, ты, Нона, прошлым летом, а может, еще Михаил, — обиженно рассуждал Петрович. — А только свой инструмент — это дело серьезное. Попользоваться можно, конечно, взять, а потом — верни!

Нонна Михайловна молчала. Она-то точно знала, что ничего не брала у Петровича прошлым летом. И вообще это была старая любимая отцовская коса, только вот Петровичу это никак не докажешь...

Решение пришло быстро. Оно было современным и по-городскому деловым:

— Так, Петрович, все. Это твоя коса. Я у тебя ее покупаю. За двести рублей.

— Ну ты, Нона, даешь! — выдохнул Петрович. — Как у вас теперь все быстро...

Нонна Михайловна ждала.

— Продать, конечно, можно... — Петрович тягуче советовался сам с собой. — Только как честный человек я, Нона, должен тебе сказать...

Петрович щурился и смотрел на Нонну Михайловна, прикрываясь рукой от солнца.

— Ну давай, Петрович, не тяни, — она уже теряла терпение.

— Коса эта столько не стоит. Ты можешь новую совсем купить в магазине за сто семьдесят... А на рынке так вообще за сто пятьдесят.

— Нет, Петрович. Мне нужна именно эта коса. Старая.

Не давая старику опомниться, она быстренько сбежала в дом, принесла деньги:

— Вот, Петрович, забирай. И спасибо, что косу в порядок привел.

Петрович неловко повертел деньги в руках и засунул их глубоко в карман теплой клетчатой рубашки.

— Ну, ты не сомневайся, Нона, — сказал он еще раз. — Коса точно моя, я даже у Кольки сегодня утром спросил. Он тоже говорит — моя.

«Вот неугомонный какой, — подумала Нонна Михайловна. — Значит, он утром рано сначала сбежал к дядь Коле, а потом уже ко мне. Вот дотошный старик!..»

Надо сказать два слова и про дядю Колю. Это Петровича друг, и лет ему примерно столько же. Во-он там он живет, через два дома. Тоже мужик добрый, хозяйственный.

Но если выпьет — беда! Не уймешь, не остановишь. Это у нас все знают.

День простоял всем на радость — жаркий, солнечный. К вечеру, когда июньские мошки закружились в лучах заходящего сквозь сосны рыжего солнца, старики сели гулять. Одну сотню Петрович предусмотрительно запрятал подальше, а на вторую они с другом Колькой гульнули на всю катушку. Из-за высокого забора сначала доносились громкие и нестройные стариковские пересуды, а потом пошли старые добрые песни. Петь друзья любили и тщательно вытягивали любимые слова надтреснутыми старческими голосами.

— Гуляют старики, — усмехались люди, проходя мимо по улице. — Значит, есть еще силы... Молодцы!

Утихомирились гуляки только к ночи. Дачники с малыми детьми стали громко возмущаться концертом — пришлось свернуть праздник.

Ночью Петровичу не спалось. От проклятой бессонницы плохие мысли лезли в голову. Вспомнилось, как неделю назад у него ночью сняли весь лук, целую грядку. Он потом целый день лежал, не мог отойти от обиды.

«Тут рóстишь, рóстишь, спину гнешь, — с горечью думал он, шевеля губами от обиды. — А им что, пришли и забрали чужое... Что за люди теперь пошли...»

А старые-то уходят. Вот и Михаил, Нонин отец, с ним они тоже дружили...

Петрович вспомнил, как в самый чемпионат по футболу у него сдох телевизор. Мастер, молодой и грубый, сказал, нет у него такой лампы, ищите сами, или телевизор выбрасывайте, старый он уже. А с ними, старыми, никому неохота возиться. Молодые, дай им волю, все старое повыбрасывают...

А телевизор у него до сих пор работает. Он тогда побежал к соседу, Михаил — тот в радио разобрался, был у него свой запас ламп, — тут же вытащил нужную и Петровичу дал попробовать. И ожил телевизор!

Петрович после пришел к нему благодарить, спрашивал, ну что, Михаил, тебе хорошего сделать за такой подарок. Михаил ведь денег никогда не возьмет. Точнее, не брал. Потом видит Петрович, лежит у Михаила коса, сломанная по рукоятку, он сбегал домой, поменял человеку косовище, свое поставил за такое хорошее дело. Еще тогда Колька пришел к нему футбол смотреть, а он хвастался, мол, телевизор за старое косовище починил.

Стоп! Петрович резко выпрямился, охнул, схватился за спину и согнулся обратно.

Да это же и есть Нонина коса, точно! И Колька, старый дурак, не напомнил. И деньги, выходит, он зря тогда у Ноны взял...

Остаток ночи Петрович не сомкнул глаз. Чуть свет он уже барабанил в Колькину дверь, вызывая друга наружу.

— Тебе что надо, старый охламон, — взъелась на него баба Клава. — Ты зачем моего вчера водкой поил? Будто не знаешь, что ему совсем пить нельзя.

— Клавка, буди мужика, у меня дело к нему срочное, — затопал на нее ногами Петрович.

— Как же, добудишься его с перепою, — ворчала баба Клава. — Это ты только, козел старый, у нас прыгаешь с утра, людям спать не даешь.

Но будить все же пошла. Петрович топтался на крыльце, хмурился и ждал.

Наконец дядя Коля показался на крыльце, поежился от утренней прохлады, накинул фуфайку на плечи:

— Тебе чего, Петрович? Случилось что?

— Та-ак, давай-ка быстренько сюда в сторонку.

Петрович стащил его с крыльца, усадил на скамейку, а сам уселся напротив, глаза в глаза. Сейчас, когда они сидели рядом, видно было, какие они разные. Петрович — маленький, коренастый, живой, а дядя Коля высокий, спокойный, светлый. Да и вообще видно, какой он был раньше красавец. Ох и намучилась с ним баба Клава по молодости, но это уже совсем другая история...

Петрович критически оглядел заспанного друга, с нечесаной головы до босых ног. Тот, зевая, спокойно смотрел на приятеля, моргая пушистыми ресницами.

— Слышь, Коля, сейчас нужно будет одну важную вещь вспомнить. У тебя как, голова с утра ясная?

Дядя Коля изобразил плечами что-то непонятное.

— Ну, ладно. А чтобы тебе вспоминалось лучше, я тебе премию приготовил, вот.

Петрович достал из кармана заготовленные сто

рублей и положил на скамейку. Тот удивленно посмотрел на них, потом на Петровича.

Они сидели голова к голове, кулаки к кулакам, и Петрович обстоятельно рассказывал Николаю всю историю, помогая себе руками. Руки у них были совершенно одинаковые — жилистые, рабочие, с огромными сильными пальцами. На середине истории дядя Коля выпрямился и схватил Петровича за рукав:

— Точно, Петрович. Ошибка с косой вышла. Михайла это коса.

Петрович переспросил недоверчиво:

— Николай, подумай. Ты это точно помнишь или, может, за премию стараешься?

Дядя Коля покраснел:

— Ты что, Петрович, думаешь, я тут за сто рублей стараюсь? Я еще совесть не пропил. А коса точно не твоя.

— Ну, все. — Петрович вскочил, охнул и опять согнулся крючком. — Я к Ноне побежал, нехорошо получилось.

— Деньги свои забери, — крикнул ему вслед дядя Коля.

Тот в ответ махнул рукой:

— Сказал, премия — значит, забирай

И заковылял быстренько к Нонне Михайловне.

* * *

— Да что ж ты, изверг, опять мне с утра спать не даешь, — кричала Нонна Михайловна на Петровича.

В этот раз она не на шутку рассердилась.

— Не шуми, Нона, не шуми, — миролюбиво замахал на нее руками Петрович. — Тут такое дело, — начал он.

И пересказал всю незамысловатую историю.

— Так что твоя это коса, Нона, твоя! — Петрович опять замялся. — Только денег тех вернуть тебе уже нет, — он виновато и серьезно смотрел на Нонну Михайловну. — Но ты, Нона, меня знаешь. По дому, по участку я тебе все сделаю, отработаю, не сомневайся.

— Дурак ты, Петрович. — Нонна Михайловна обняла его и поцеловала в щеку. — Старый дурак!

Она чуть не плакала.

Вот и конец всей истории.

В заключение надо сказать, что премией дядя Коля распорядился по-свойски. Сегодня вечером старики гуляли уже за его счет. Опять из-за забора доносились громкие голоса, а люди неодобрительно качали головами и говорили:

— Ну вот, опять разошлись старики, невесть что творят...

Старики не обращали на это внимания. Одно они знали точно: жить на этом прекрасном свете им осталось совсем недолго. Тем задорнее неслось из-за забора:

— А помирать на-ам ранова-ато, есть у нас еще дома дела-а!

Елена ХАЛДИНА
(г. Касли, Челябинская обл., РФ)

А вы робят моих не видали?

Рассказ

(Из цикла «Деревенские посиделки»)

Посвящается Устинье Ивановне Яниной

В огороде с утра пораньше бабушка Устинья окучивала картошку. Устала сильно. Спину пересекло, кое-как выпрямилась, держась за тяпку. Солнце припекало. Глазами посчитала окученные ряды картошки, посетовав вслух:

— Батюшки мои, всего-то-навсего восемь рядков окучила, а провóшкалась столь время! Года своё берут... Пожалуй сяду в тенёк под черёмуху, передохну трóшки, мы́слимо ли — девятый десяток разменяла, ладно хоть ещё так ше́влюсь... Отдыхать собралась, а обед-то кто варить будет? И то, правда,

пойти, хоть похлёбку маломальскую на скóру руку стготовить. Не ровен час, робята мои исть захотят да домой прибегут, а я, квашня старая, чем их кормить-то буду? Придётся мальчикам сухонóсничать с такой-то матерью... В работе да в заботе про всё забыла, да как тут не забыть-то? Травы-то сколь, берёзка-то всё как есть затянула, никакого сладу с ней нет... Ближе-то к вечеру жар спадёт, так, Бог даст, ещё покопаюсь, сколь смогу не зага́дывамши, а то ведь перед людьми стыдобíce — всё как есть заросло... Раньше-то такого срама в огороде у меня не бывало. До чё дожила... и пошто́я в огороде-то одна всё рóблю, у меня ж робят столь?! Прибегут робятёшки-то домой, накормлю их как слéдоват, а после пуцай пособи́ят мне картошку окучить. Ну, не цéльными же днями им по ўлке рысогóнить?! Сызмальства к труду-то приучать надо, а то испотв́рим робятёшек сами, а они потом невесть что творят, да рóбить не хотят, разве ж э́нто дело? То-то и оно...»

...В избе Устинья почистила луковицу, морковку, штук пяток картофелин. Порезала скоро-наскоро картофель в кастрюлю с водой, потом поставила варить на электроплиту. Пока вода закипала, пережарила лук с тёртой морковкой на нутряном свином сале в чугунной сковородке. Разбила куриное яйцо в миску, взбила вилкой, добавила немножко муки, всё перемешала, тщательно разминая комочки. Жидкое тесто понемножку ложкой опускала в кипящую похлёбку, разговаривая сама с собой:

«Робята-то мои таку похлёбку с колобками шибко любят! Особливо младшенький мой, Ванюшка... Батюшки, а укроп-то, укроп забыла покрошить, совсем памяти не стало, э́нто чё ж такó... Да ещё хоть малёхо молочком забелить, всё ж таки повкуснее похлёбка-то буде. Жалко коровушки-то своей бо́ле нет, да и какая

уж мне теперь корова? Два шага прошла и задохла, заплюхалась я совсем. Сердце-то того и гляди выпрыгнет, ничё не робит, а за коровушкой-то уход нужён».

Устинья попробовала похлёбку, а после сказала вслух:

— Ничё, похлёбка-то славная и соли в аккура́т. Робята-то мои её живо два съедят.

Кукушка в ходиках прокуковала два раза.

«Ой, время-то сколь! Ну, надо же, два часа прокуковала — обедать давно пора, а робята-то мои где-кась? Вот сорванцы — забегались и про еду-то совсем забыли. Ну, да чё поделашь, знамо дело — дело молодое! Сама давно ли девкой была?! Ой, а года бегут, бегут, чем дальше, тем круче. Верно мне ра́не матушка-то говаривала что, в детстве-то время медленно идёт, ровно в гору нехотя поднимается, а стоит только замуж выйти да малых деток нарожать, так года-то с горы вниз и покатаются, словно на санках... Пойти скликать, ли чё ли, на улке робятёшек, поди-то, услышат, придут не ровен час. Сперва их накормлю, а после уж сама отобедаю».

Устинья вышла на крыльцо и закричала:

— Васька, Петька, Павлушка, Ванюшка-а! Вы где кось запропалились? Вот окаянные робятёшки... Обедать бегите! Похлёбка стынет...

На крики никто не отзывался.

«Ладно, пойду, поищу сама. Голодные робятёшки-то бегают, жалко до чё. Ванечка-то мой совсем исхудал — одна кожа да кости. Взглянешь — почти насквозь светится. Да и в кого шибко-то полным быть? Я отродясь худю́щая была. Свекровь, помню, всё по молодости-то меня донимала, чуть что, говаривала: девка-а, и как тебя только ноги носят? Того и гляди переломишься! А я ещё серча́ла на неё за энти слова, стыдилась шибко худобы-то своей. Сколь воды утекло с тех пор...»

Бабка Устинья вышла на улицу. Посмотрела по сторонам.

«Ну, куда их нелёгкая опять унесла? Батюшки мои, словно корова языком слизала...»

У дома напротив сосед Сашка Каманцев чинил трактор. Старушка подошла к нему поближе и поздоровалась:

— Здорóво, Ляксáндр!

— Здравствуй, бабушка Устинья!

— Опять под трактором лежишь, сердешный!

— Лежу, а куда деваться-то? Старьё, ломается, будь он неладен. Ни дела, ни работы.

— Ой, а увязóкался-то ты как, батюшки мои! Энтó ж Тоньке твоей после одёжу-то не донять...

— Тонька — баба добрая, поворчит само собой, да успокоится. Шабалы́, они и есть шабалы́! Чего-чего, а энтóго добра у нас хватáт. Без грязи — денег не зарóбишь! Сама знашь.

— Так-то оно так... А ты робя́т-то моих не видал?

— Нет, не видал...

— Вот где бегают, а? Старшие-то, поди́, на озеро купаться убежали, и малой, как пить дать, за ними увязался... Жара-то какая стоит! Духота-а, не ровен час гроза будет... А Ванюшка-то мой плавать ладóм не умеет, как бы до греха дело не дошло, вот ведь чё! Материнское-то сердце загодя беду чувствует... Пойду на озере гляну. Пока похлёбку-то варила, сколь раз в окошко глядела — всё возле избы вертелись. Пошла звать, а их и след простыл, и когда только убежать успели? Ох, бедовые робя́та...

— Да не переживай, бабка Устинья! Куда твои ребятишки денутся? В деревне нашей тишь да благодать, кругом все свои. Набегаются и всю твою похлёбку слупят за милу душу.

— И то, правда, Ляксáндр! Утешил старуху...

Пошла бабка Устинья проулком к озеру. В огороде соседи Зубовы всей семьёй дружно окучивали картошку. Устинья подошла поближе к плетню и крикнула:

— Бог в помощь, милы люди! День добрый!

— Ой, здравствуй, бабка Устинья! — первым поздоровался отец семейства Иван Петрович, а следом за ним и остальные члены семьи.

— Робят я своих ищу, может, видали?

— Нет, что ты, что ты... Головушку поднять некогда, работы столь, сама видишь...

— Вы всей-то артелью управитесь. А я думаю, дай-ка поздорóвкаюсь с добрыми людьми да заодно спрошу про своих робятёшек. Ну, нет, так нет — на нет и суда нет... Пойду к озеру спущусь, там ещё покличу. Купаются, поди, сорванцы на Крутояре, а похлёбка-то моя стынет.

— Так на то и лето, чтоб купаться!

— И то верно.

— Вон, Идка-то Бестенева с озера идёт, ты, бабка Устинья, её спроси, ноги-то свои не май.

— И то, правда... Тады́ постою подожду, хоть дух малёхо переведу, а то задохла совсем. Жара, духота, как бы грозы не было! Эвон тучки засобирались... Земля пересохла — дождя просит...

Идка с озера несла на коромысле воду в вёдрах. Подойдя поближе к бабке Устинье, поздоровалась:

— Здрате!

— Здорово, девонька! Устала, поди шибко? Э вон, вёдра-то полнёхоньки несёшь, передохни хоть малёхо возле меня.

— Отдыхать зимой буду! А покуда работы столь, какой отдых? Некогда мне с тобой лясы-то точить... А ты куда энто собралась? Купаться, что ли, надумала на старости-то лет?!

— С чего глядя? Смеёшься ли чё ль над старой?! Я уж своё откупалась. Робят я своих ищу. Убежали, а у меня похлёбка стынет. Ты их на озере-то часом не видала?

— Вот те раз... Энто чё ж такó, бабка Устинья?! Нет у тебя никаких ребятишек... Ходишь каждый день туда-сюда, деревню дивишь да людей от работы отвлекаешь. Ты хоть ноги-то свои пожалей!.. Домой, домой ступай, отдохни.

— Как энто нету? Есть! Четыре сыночка у меня — Васька, Петька, Павлушка, да самый малый — Ванюшка!

Идка помолчала чуток, а потом добавила:

— На войне они все у тебя погибли...

Устинья посмотрела на неё сквозь слёзы:

— Да ты чё, девонька, такó говоришь-то? Перегрелась ли чё ль сёдня на солнцепёке?.. Живы они, живы! Набегаются вволю да домой придут...

Вытирая слёзы уголком платка, бабка Устинья побрела дальше — искать ребятишек.

Ирина МИХАЙЛОВА
(г. Люберцы, РФ)

Подвиг

Рассказ

Артем выводит буквы старательно, медленно, черточку за черточкой.

Перед ним образец — прописи, еще оставшиеся с первого класса, и он смотрит в них, чтобы его буквы были хоть чуть-чуть похожи на те, что там. Но они не похожи. Кособокие, мелкие, одна буква залезла на другую, вместо «и» — сплошные палочки. Артем зачеркивает все слово, злится, зачеркивает сильнее, нажимает на ручку так, что рвется лист. Вырывает лист, мнет в белый с синими полосками комок и начинает писать заново.

Тетрадь разлинована ровно. Красные поля угрожающе близко. Артем боится зайти за них, не успеть перейти на новую строчку. Однако успевает, переносит слово вовремя и тяжело вздыхает, словно от физической усталости.

— Не мельчи. Пиши большие буквы. Видишь — как здесь.

Рядом с ним — дедушка. Мальчик бы не старался так, если бы не дед. С мамой не выходит. С мамой можно закапризничать, захалтурить и ничего в итоге не написать. Но дед... Дед такого не прощает. Он сидит рядом и смотрит.

Артем пишет, доводит букву до самой верхней черты и, когда получается, украдкой косится на деда. А тот следит за его рукой:

— Давай-давай, не останавливайся, строчка еще не закончилась.

И внук начинает писать быстрее. От этого сбивается, вздыхает, переворачивает страницу и начинает опять.

* * *

Артем сейчас в четвертом классе. Его все время ругают за почерк. В школе сложно. Там нужно писать быстро и понятно. У него же получается что-нибудь одно. А всё вместе — нет.

И в школе нет дедушки. Только одноклассники. Помочь — некому.

— Опять, гляди, буква куда уехала, — говорит дед.

Артем смотрит — и действительно, линия перечеркнула букву ровно пополам.

— Букву любить надо и уважать. Она живая. Если перечеркнешь букву — это как человека. Мы на войне письма писали на коленках — и то старались.

Мальчик не понимает, как это — «любить букву»? Разве ее можно любить? Вот маму, бабушку или деда — можно. Это другое дело. Их он любит, поэтому сидит терпеливо и выводит свои буквы.

* * *

Дедушка живет с ним всю жизнь. Сколько Артем помнит себя, столько помнит деда. Бабушку с мамой он тоже помнит. И папу. Но они есть почти у всех его одноклассников. А вот дедушка — лишь у некоторых. И у него. Поэтому это выделяет его, он не как все. И когда спрашивали: «У кого есть дедушка?» — Артем поднял руку и обернулся. Всего несколько человек еще подняли. Он был доволен.

А когда пришел домой, сказал:

— Дед, тебя нет ни у кого. Только у меня.

— Ну конечно, только у тебя, — смеялся тот, — у кого же еще?

— Нет... ну, мама у всех есть и папа. А дед — только у меня.

— Пряма уж ни у кого? — усомнился дед.

— Ну, еще Макс, Дашка и Толян руку подняли. И больше никто.

Дед как-то погрустнел. И Артем тогда еще решил: наверное, нехорошо думать, что он такой редкий, что таких мало осталось. И добавил:

— В других классах, может, есть. Я не спрашивал.

— А ты спроси, — подмигнул дед, — вдруг, и правда, только трое и осталось?

И засмеялся.

Все это показалось внуку странным. Дед то грустит, то смеется. То радуется, что он такой один, то нет. Артем пожал плечами и решил, что не будет спрашивать.

* * *

А сейчас дед сидит рядом и говорит, что буквы надо уважать.

— Ведь слово — что такое? — рассуждает он. — Это

целая жизнь. Вот скажешь «лес» — и появляется перед глазами твоя деревня. А «река» — и сразу вспомнишь, как купаться с тобой ходили.

Да, купались много. И рыбу ловили. Все лето на даче. Один раз от мамы досталось и Артему и деду. Когда утром ушли, а явились к обеду. Бабушка всю дачу обегала. А они сидели на их секретном месте, о котором никто не знал, и дед говорил:

— Рыба тишину любит. В той стороне реки людей много, рыба сюда и уходит. А тут никого. Сейчас рыбы наловим!

— А почему о нем никто не знает, ты же знаешь?

— Ну я! — Дед усмехнулся. — Я уже сколько живу! Все знаю.

— Все нельзя знать, — сказал Артем, — никто всего не знает.

Он тогда боялся, что дед обидится. Но тот не обиделся.

* * *

Артем выводит слова «лес» и «река» много-много раз. Целую строчку.

Дед встает и идет к окну. Уже темно (осенью темнеет рано), дед щурится, всматривается куда-то. Мальчик отвлекается, тоже хочет глянуть в окно, узнать, что там.

— Куда ты смотришь? — спрашивает.

— Никуда. Пиши давай, и получаса не сидим.

Артем опять пишет. А дед все смотрит в окно. Артем часто так его застает. Он словно бы спит, а сам глядит в одну точку.

— Ну ты так долго будешь? — кричит ему тогда внук.

Но дед поворачивается к нему не сразу.

— Что шумишь? Задумался я.
— Не задумывайся так, мне не нравится, когда ты так задумываешься.
— Ну хорошо, не буду, — смеется дед.
Он вообще всегда смеется. Он ничего никогда серьезно не говорит. Скажет — а сам смеется. Ответит — и смеется. Артема это ужасно раздражает. Он хочет, чтобы его воспринимали как взрослого, а не смеялись. И злится на деда. А тот и этого как будто не замечает.

* * *

Только один раз дед не смеялся. Когда к нему пришли из журнала. Пришли разные люди. И старые, и молодые — всякие. Зашли — сели за стол — говорили. Долго говорили. Тогда дед был строгим. И Артем казался сам себе совсем еще маленьким.

— Твой дед — настоящий герой, — сказали гости Артему.

— Почему? — удивился мальчик.

— Он подвиг совершил. Неужели не рассказывал? Вечером он спросил у деда:

— А ты какой подвиг совершил?

Но дед опять лишь отшутился:

— Какие все совершали — такой и я совершил.

Артем обиделся и решил больше не писать слова вместе с ним.

Когда дед пришел к нему в комнату, внук не сел за стол, а лег на диван и отвернулся к стене. Дед молча приблизился к окну, взял стульчик и стал смотреть на улицу. Так и просидел положенный час, какой они обычно писали с Артемом.

На следующий день было то же самое. Потом тоже. И всю неделю.

Дед не ругался: он никогда не ругался. Просто сидел, а после уходил.

Через неделю Артем сдался. И когда дед пришел опять — уже был за столом с тетрадкой.

Дед достал прописи и стал привычно следить, как Артем выводит букву за буквой. И привычно исправлять: «Это не то, эта буква не туда ушла, эта вкось поехала». Мальчик переписывал одно и то же слово снова и снова.

* * *

Это уже потом он узнал, что дед в конце войны на подступах к Вене один взял в плен двух немцев. А на следующий день, в разведке, засек огневые точки противника и дал целеуказание для их уничтожения.

Отец рассказал.

— А что такое «целеуказание»? — спросил Артем.

— Цель, значит, верную дал, — ответил отец.

А еще Артем узнал, что дед первым форсировал Малый Дунай, вел неравный бой и вышел победителем. А затем принял на себя командование и продолжал бой. За что и получил Красную Звезду.

При жизни деда Артему об этом не рассказывали.

* * *

Дед его никогда не хвалил — как бы внук ни старался.

— Ты и так должен делать хорошо, — говорит он. — Плохо делать не разрешается.

— Кем не разрешается? Тобой?

— Да хоть бы и мной!

— А когда тебя не будет, то можно плохо делать?

— Когда не будет — тоже нельзя!

— А как ты узнаешь?
— Я все узнаю! Буду в окошко к тебе заглядывать. И если увижу, что не поешь в положенное время, то сразу все узнаю.

— Я окно закрою! И вообще перееду!
— А я и через закрытое. У меня повсюду будут глаза. Артем больше не знал, что сказать. Глубоко внутри он верил, что дед и правда все видит, даже если окно закрыть.

— А ты когда-нибудь умрешь? — спросил однажды мальчик.

— Умру, — ответил дед, ни на секунду не задумавшись.

— И как же будет?

— А вот как: меня возьмут и вот так разрежут. — И он показал пальцем вдоль живота.

Артем зажмурился.

— Не бойся, — сказал дед, — это уже не больно будет.

Тогда Артему стало как-то не по себе. Что вот дед скоро, наверное, умрет, а все-таки сидит с ним и пишет буквы. Целый час в день. Это же так много! А мог жить для себя.

С тех пор внук старался научиться писать лучше и быстрее, чтобы дед отдохнул и не тратил с ним время. Но быстрее и лучше никак не получалось.

— А так хорошо? — спросил Артем и полюбовался на ровное, красивое слово, написанное четко в своей строчке.

Дед ему не ответил.

* * *

— Тём, отдохни. Бабушка пришла, посиди с нами. Вошла мама и встала около. Заглянула в тетрадку:

— Хорошее слово получилось. Молодец.
Сын посмотрел на нее. Обвел глазами комнату.
Больше никого не было. Деда не было.

Мама взяла тетрадь.

— Очень хорошо, — сказала она. — И в школе так же пиши.

— Ладно!

Он закрыл свою писанину и вылез из-за стола.

— Пишешь? — спросила бабушка на кухне. — Деда теперь нет — с тобой заниматься. Давай сам.

— Ладно! — опять сказал Артем.

А сам подумал: глупая бабушка, не понимает ничего. Дед есть, всегда будет, говорил же — в окно смотрит. Вдруг Артем замер.

— Сейчас приду! — крикнул он.

Побежал в комнату, раскрыл тетрадь на хорошем слове — и вернулся обратно.

Дед посмотрит — пусть видит.

Тетрадка осталась лежать на столе открытая, со словом, ровно уместившимся в линейки на листе бумаги.

Юлия ФЕДИНА
(г. Самара, РФ)

Быть помором

Рассказ

Настоящей тишины в нас не бывает. Так и море, хоть в прилив, хоть в отлив, все время шумит. А лес, так сразу всеми голосами и шорохами, и жужжаньем, и скрипом создает глубокий молчаливый фон мыслям. А когда мысли стихают до шепота, тогда все равно, как желтые вспышки на обратной стороне закрытых глаз, мелькают воспоминания, или надежды ярким, как комета, словом.

* * *

«Завтра среда. На Лопшеньгу АН-2 придёт. Надо будет получать... Стой, Зорька, стой!.. печатную продукцию. На интернат заказали учебников на сто тысяч. А получать мне», — думала Варя. Молоко теплыми струями ударяло в подойник.

— Стой, Зорька, стой!

Кому же и получать, как не библиотекарю? Хоть вон, на Зорьке вези!

Разве Аньку попросить?..

* * *

Ветер был такой, что аж платок с головы рвал. Погодка! Начальник аэропорта новенький и до того строгий, что и не улыбнется. Ни даже, даже! Варя покосилась на начальника, ничего так, мужичонка, и пихнула Анну локтем в бок.

— Говорят, сам-то он из Онеги, работал диспетчером в аэропорту. И жена была. Но на второй год после свадьбы умерла.

— Вот что ты, Варь, все языком чешешь?! — рассердилась Анна, перехватывая поудобнее коробки с книгами.

Новенький начальник объявил посадку. и деревенские не спеша стали грузиться.

АН берет десять человек, а тут собралось чуть не полдеревни. Провожаться.

— А начальничек какой серьезный. У-у-ух! А еще говорят, что жена его беременная была, а он ревнивый — жуть. Допекал ее, допекал, этой своей ревностью. Мол, и ребенок-то, не знай, еще мой или нет. А она не вынесла этого и повесилась.

— Тебя-то саму от сплетен этих не коробит? — выдохнула Анна и зло уставилась на Варю серыми, как море на большой воде, глазами.

— Ты у нас такая правильная, будто и не по земле ходишь! А кто с этим Ильёй Иванычем по лесам шарahalся? Я, что ли?

— Я не шарahalась! — закусила Анна губу.

— Ну да, ну да, — засмеялась Варя, пристраивая на плечи неприподъемные книжки.

* * *

И бесполезно было объяснять, что у Ильи в лесу свое дело, а у Анны — свое. На угорье, на реке Белой,

стоит обетный крест. Анна к нему ходила. Не знаю, откуда пошел обычай. Может, еще от лопарей, что если ленту на дерево повяжешь и желание загадаешь, как оно поднимется и вырастет ровень с обетным крестом, так желание и сбудется. Вот Анна и решила испробовать.

А тут Илья идет. Ель на кокору ищет. Сам здешний, тоже помор, хоть и с Онеги, Илья искал ель на форштевень для карбаса. Помогал своему приятелю Ивану Легкому. И шел все согнувшись. Не звезд на небе, корень искал, вот и глядел книзу. Разогнулся, видит — Анна.

— Что загадала, Аня? — спросил Илья, зная, что спрашивать нельзя. Не сбудется.

Анна глянула на Илью снизу вверх. Как елочка на обетный крест. Еще расти до него расти, тянуться и тянуться. Она не высокая была, но прямая. И ответила прямо.

— Загадала, чтобы один человек пропал. Совсем. И духу чтоб не было.

— Архип? — хрипло спросил Илья.

Анна кивнула. Отвечать нельзя. Не сбудется желание. А надо, чтобы сбылось. А то край совсем. Архип этот который год за Анной ходит. Не так просто. Замуж зовет. И не сказать, чтобы очень уж плох. Как все. Только замуж Анне не хотелось. Ни за него, ни вообще. Насмотрелась на мать.

* * *

Архип этот безработным числится, пособие получает, а так-то рыбак. Анна была судомойкой в интернате, костерезным промыслом подрабатывала. Трудовую книжку имела. А Архип нет.

Но не в этом суть. На людях он тихий, а как одну

ее уследит, на покосе или где, сразу горячится начинает: «Я тебя ждать устал! Бегать за тобой устал! Все равно моя будешь!» Хоть косою его по ногам. Я, кричит, для всех Архип, а по-настоящему — Ахти. Знаешь что такое «Ахти»? Ахти — хозяин вод. Вот что мое имя значит! А Лембоев я от «лембо» — черт, леший, по-нашему. Не уйдешь от меня! Слышишь!

Анна смеется. А я, говорит, Кузнецова. Знаешь, что такое «Кузнецова»? Это значит, что если будешь ко мне лезть, так между глаз засвечу, что так и покатишься к лешему. Понял?

Архип злится, аж зубами скрипит. А что делать? Насильно мил не будешь. Только он упрямый. По целым ночам под окном стоял. Один раз в сени стал ломиться. Стучит и стучит, того и гляди двери вынесет. Анна взяла кочергу. Так ему и говорит: «Уходи! Я кочергу взяла!» Он зарычал и дверь вынес. Глаза желтые, рысьи, так и горят в потемках. Кинулся к Анне, в стену вжал. Кочерга только об пол стукнула. Анна извивается ужом. Вырваться не может. Крикнула: «Уходи! Не люблю тебя!» Он аж занемел весь. Потом размахнулся, по лицу ударил и ушел. От этой оплеухи след во всю щеку был.

А на утро опять для интерната нужно было груз на аэродроме получать. Варька, паразитка такая, прямо среди рабочей недели к своему Федору усвистулила, на тюню. Быть да плыть получать.

Анна вместо нее пришла, за коробки расписалась, а их оказывается тьма. Придется не раз от аэропорта до интерната прогуляться. Начальник глянул на коробки, оценил ситуацию и говорит: «Вы подождите, Анна Степановна. Я борт отправлю и помогу вам. А то до ночи таскать будете». И на щеку ободранную даже не поглядел. Этим и заслужил: «Хорошо». От первого встречного-поперечного Анна помощи бы не приняла.

А как шли проселком, навьюченные хуже верблюдов, так Анна и почувствовала, как детство в ней прорастает, как трава, расслабляются скулы и вечно сведенные брови, как из хмурой взрослости возвращается она к себе давешней. Будто идут они с отцом, так же вот, по проселку и несут с фермы бидоны с молоком. Отец огромные, двадцатилитровые, а Аннушка свой почти игрушечный.

— Мы здесь в детстве с батей ходили. За молоком на ферму, — зачем-то сказала она.

Илья кивнул и приготовился слушать. Слушал он хорошо, правильно, без суеты. Так слушал, что хотелось ему всё-всё рассказать. Всю свою жизнь.

— Я бы в Архангельск хоть с рыбным обозом ушла, да нет у меня там никого. А здесь у меня дом. И работа — косторезчица я. И приработок — в школе-интернате на кухне помогаю. Семьи, правда нет. Отец только. Но он в тюрьме. Толика, брата моего, убил.

Она быстро взглянула на Илью. Он, широко отмахивая руками, быстро шел по проселку, так что Анна почти бежала за ним. Зеленые, крыжовенные глаза Ильи потемнели. И то, как плохо ему от чужой боли и неправды еще больше сроднило их. Анна, торопясь заговорила дальше. Надо было, наконец, выговорить все то, что кипело в ней, как в котле день за днем.

— Отец был рыбак. Хороший рыбак. Бригадир артельный. Потом.... Постепенно все начало разваливаться. Ввели квоты эти бестолковые. Нерпу не бей, сёмги мало, сёмгу не лови. А чем жить? С этого батя начал пить. Все пропьет и приступает к матери, мол, денег дай. А у той кроме меня еще брат мой, Толик. Ему тогда четырнадцать было. И нас надо не то что кормить: корову мы держали и огород сажали, из лесу грибы-ягоды брали, впроголодь не сидели. А надо купить тетради-ручки, форму.

Илья мрачно кивал и сёк прутом высоко поднявшийся багульник. Он хорошо слушал эту нехорошую историю. И Анна, не переводя духа, заговорила дальше, будто опасаясь, что вот сейчас Илья скажет что-то не то. Осудит. Или сморозит пресную пошлость, всеми говоренную-переговоренную и от того еще более мерзкую.

— Мать деньги на поветях спрячет, или в ледник отнесет, бывало и в огороде закапывала. Отец везде находил и пропивал. А как найдет, так бьет мать смертным боем, чтоб больше не прятала деньжонки, не утаивала от родного мужа. Один раз батя что-то не рассчитал и так мамке саданул, что она на один глаз ослепла. Долго в больнице пролежала, а когда вышла оттуда, Толик ее встретил и побежал к отцу на тоню.

Тот как раз более-менее трезвый был и собрался даже рыбачить. Что там ему Толик говорил, а может, и не говорил, а с кулаками полез, за мать. Только батя его убил. Он крепкий был, батя-то. Метр девяносто два и кулаки по пуду. Скот без ножа бил. Ударит быку между глаз, тот с одного удара замертво. Потому что есть там тонкость одна. Надо знать, куда бить. И батя знал. А Толик-то не бык ведь! Тоже высокий, в отца, а костью тонкий. Ему батя один раз всего поддал. В нос. И носовая кость в мозг вошла. Мгновенно умер. Потом батя Толика на руках с тони принес. Дома на кровать положил. Мать воет, а он сидит курит. Через год у матери инфаркт. И ее тоже не стало.

— А ты как же? — спросил Илья, хлестнув по багульнику так, будто он всему виновник.

Анна пожалала плечами, мол, что ж, это-то как раз обыкновенно:

— Меня в интернат забрали. А как вышла из интерната — вернулась обратно в дом. Он целый стоял. Без замка. Скотину только люди разобрали.

Илья молчал. Он вообще молчаливый был. Да и ноша разговорам не способствует. Взвалил на себя остатки книг и понес. Но и в нем гудело не стихая горе. Поэтому он сказал:

— Я тоже один, Аня. Сюда, на Двинскую губу, сам от себя сбежал. Была у меня жена. Тут разное говорят... Не слушай. Никакой ревностью я ее не допекал, не обижал, а просто брал дежурство за дежурством, хотел подзаработать. И в одно из моих дежурств проклятых она умерла. Потому что терпеливая была. Болит живот и болит, выпьет но-шпу и на работу. Она в пекарне работала. А под конец невтерпеж стало, вызвала скорую, но до больницы ее не довезли, аппендикс по дороге лопнул. И не стало Маши. Я места не находил, пробовал пить, но хмель не брал. Всё вижу ее перед собой. В гробу вижу. Мёртвую уже. С горя пришел в церковь, службу отстоял, и к батюшке, мол, и жить не могу, и не жить не могу, хоть на край света беги. Тот посоветовал ехать в паломничество ко Гробу Господню. Как услышал я слово «гроб», меня аж передернуло. Батюшка понял. Мировой мужик. По-езжай, говорит, тогда, сын мой, на Афон. Там земля Богородицы. Она тебя утешит. Что же... Собрался и поехал...

С полуслова Илья замолчал. Ушел на дно воспоминаний, как камень в глубокую воду. Не в раз очнулся от своей задумчивости и посмотрел на Анну. Также вот чудо, непугливая птица! Живет здесь, на краю света, и думает, что она обыкновенная. Илья бы и еще с ней поговорил. Да коробки с книжками как-то незаметно закончились. А с ними и повод к разговорам. Но ниточка протянулась.

Анна тоже эту ниточку чувствовала, но боялась. Ей казалось, что рядом с ней полоса отчуждения. Никого, одна трава к земле клонится. Все, кого она лю-

била, умирали. А ей хотелось, чтобы Илья жил. Долго жил.

Не спеша и по сторонам не глядя, пошла Анна домой. Холодало. И плечи озябли. Придется подтапливать сегодня.

А домище такой протопить дров ого сколько надо. И тут починить, и тут подлатать. Видно, придется все же замуж идти. Анна зажмурилась. Перед глазами промелькнул красный Архипов кулак. И почему-то лицо Ильи. Глаза его зеленые из-под пшеничных густых бровей, седоватая уже борода и терпкий, перемешанный с запахом багульника запах его пота. Анна потянула носом. В доме пахло сыростью и костяной пылью.

* * *

Вставать с петухами Анне было ни к чему. Коровы своей не было, детей грудных тоже. Поэтому она еще сонная была, когда в дверь забарабанили. «Ну, если снова Архип, так не поздоровится ему!» Схватила опять кочергу и к порогу. Отворила дверь, кочергу занесла, а там старикан какой-то. Не здешний, видно. Своих-то дедов она всех знает.

— Вы что хотели? — переводя дух спросила Анна, но кочергу опускать не спешила.

— Да вот, хотел в дом родной вернуться. А дочка на меня с кочергой, — прошамкал старик, переминаясь с ноги на ноги на пороге.

— Батя... — прошептала Анна, посторонясь, — Как так? Как ты вернуться-то решил? После мамки. После Толика...

— Я свое отмотал, что по закону было положено, — сказал старикан, присаживаясь на лавку. — Перед законом чист. А здесь дом мой. Его мои прадеды подняли. И здесь доживать буду.

— Ясно, — сказала Анна, машинально собирая на стол картошку, шаньги, рыбу.

— Молока подай, — велел отец.

Анна кивнула, спустилась за молоком на ледник, и холод никогда не таящего там снега прояснил, выправил ее мысли. Там, дома, за столом, сидит отец, про которого все забыли. И она забыла. Потому что хотела забыть. Не было сил помнить. А он живой был и теперь вернулся.

Поставив на стол запотевшую от холода банку, Анна взглянула на отца снова. Жалкого, с беззубыми деснами и дрожащими, забывшими всякое дело руками. Подала молока и долго молча глядела, как размачивает он в молоке вчерашние шаньги и мнет их беззубыми челюстями, перекачивает во рту языком.

Больше за целый день отец ничего не сказал. Зажигал от прогоревшей до фильтра сигареты следующую, щелчком отбрасывал окурок и молчал.

А тут еще беда. Архип пришел к отцу Анну сватать, и тот согласился. Мол, на внуков хочу посмотреть, пока жив. Да и туго без хозяина в доме. Тут Анна не утерпела, вразнос пошла.

— Ты что наделал, батя?! Какое «согласны мы»? Да я от этого Архипа третий год бегаю! Глаза бы мои на него не глядели! Ты меня спрашивал? Нет? Тогда и молчал бы!

Отец мигом налился гневом, аж белки глаз покраснели. Вскинулся что-то ответить, да закашлялся, и кашлял долго, надсадно, прижимая ладони к впалой груди. Анна сникла и ушла в подклет, резать брелоки с золотой рыбкой.

А Архип-то, на радостях, помчался в Пертоминск, родню на свадьбу звать. В аэропорту у него заминочка вышла. Илья его за рукав взял, в сторону отвел:

— Уезжаешь, Ахти? Это хорошо. Уезжай! Тебе здесь, молодому, тесно. Кулаками почему зря машешь. Езжай в Петроминск, а лучше в Архангельск или еще куда. Там тебе просторно будет.

— Что, Анька пожаловалась? — вздрогнул Архип. — Только ты к нам не суйся! Я все ребра тебе переломаяю, если к моей Аньке будешь клинья подбивать, — горячился Архип. — Я в Пертоминск еду родню на свадьбу звать. Так что, если кому и уматывать, так это тебе!

Хмуρο кивнув, Илья отошел в здание аэропорта. Работать надо. Работа ждать не будет. И еще одна темная, горькая волна накрыла его.

Илья дал разрешение на взлет, посидел еще за столом и вышел к морю. Оно всегда встречало его широко и шумно. Была большая вода. Сероватое небо прижималось щекой к беспокойному, туманному горизонту, в прибое перекачивались бурые клубки водорослей, и на просторе маленькая болевая точка отдельно взятого человека размывалась широким крылом моря. Илья раскинул руки крестом и закричал. Криком выходила из него боль, и наполнялся он соленым ветром и не перестающей ни на миг надеждой.

Вернулся Архип с братьями и дядькой через неделю. Идут довольные, не просто же так, на свадьбу прибыли. Приходят, а дом Архипов сгорел в чистую — остался только развал обгоревших бревен и конек с крыши, обугленный весь. Архип аж взвыл.

— Это он! Он пожег! Пошли к нему! — и кинул-

ся по проселку назад к аэропорту. Братья и дядька за ним.

Бегут, отдуваются, а сами соображают по пути. Прежде чем горячку пороть, надо бы выяснить что к чему. А то как бы не промахнуться. Не тому как бы не отомстить.

— Начальник аэропорта это! Больше некому! Он за Анькой ухлестывал. И перед отлетом говорил мне, мол, вали отсюда и смотри не возвращайся, а то хуже будет. Я его гниду, раздавлю!

— Постой, Ахти! — задыхаясь проговорил дядька, самый старший и самый разумный. — Может, и не он это. Пошли в сельсовет. По соседям пошли. Чего горячку-то пороть.

Архип только отмахнулся. А братья и дядька остановились. Не дело, конечно, ехать на свадьбу, а попасть на пожарище, но не такие саамы люди, чтобы ни с того ни с сего как камень под гору катиться. Подумать надо, все обмозговать. Ахти пусть бежит. Не за руки же его держать. Решил, что дом этот самый Илья сжег, пусть выясняет. А мы тоже повыясняем. И они не спеша направились в сельсовет.

* * *

Не застал Архип Илью. Карбаса начальника аэропорта тоже не было. В море ушел, гад! Теперь его не возьмешь. Шел назад злой, сжимая кулаки. Дом сгорел, все сгорело. Теперь не до свадьбы. Жизнь надо устраивать как-то.

Устроилось так. Дядька поговорил с начальником поселения, и тот подмахнул разрешение занять один из пустующих домов. Заодно и разъяснил, что следов поджога нет. Проводка старая заискрилась, вот и сгорело все.

Через день братья и дядька укатили назад в Пертоминск. Остался Архип снова один. Один не один, а работать надо. Подумал-подумал Архип и на камбалу пошел. Строится надо — раз, свадьбу когда-никогда справить — два, жрать надо, что ни говори — три.

В напарниках у Архипа ходил алкаш Пантелеич. Так себе напарник. Но все не в одиночку. В первый-то день у них все ладно сложилось. И зубатки, и семги взяли довольно. Пантелеич на радостях выпил, потом еще выпил и чуть навес не спалил, зараза. Да и на завтра Петр Пантелеич пил и в море не пошел. Пришлось Архипу одному крутиться. Да не выкрутился. Не вернулся с лова Архип, хоть и не доросла еще ель до обетного креста. Полез рюжу проверять и увяз в няше, а тут большая вода пришла, и он захлебнулся у самого берега.

* * *

Анна все себя винила за то свое загаданное желание. Батя тоже горестно вздыхал. Был, де, женишок да сплыл. И осталась опять крыша не чинена и венцы не подправлены. Но сделанного не воротишь. А Анна была непугливая птица. Через любую хмарь насквозь пройдет, как иголка. Прошла и через это. Шла жизнь своим чередом. Хоть и не всегда гладко, но шла.

Через годок явился к ней Илья с заказом. Положил на стол бедренные кости. Мол, я к тебе Анна по делу. Оклад для иконы сработать надо. У меня есть старинная, «Избавление от бед страждущих», от бабки досталась.

Оклад из мамонтового бивня делать бы. И что ты принес? Это же не цевка! Это... чьи кости? — всполошилась Анна.

Кости-то? Мои. Подходящие кости. Сделай, Аня.

Из нас ведь, как из дерева, хоть дубина, хоть крест выйдет. Дубиной этот человек уже побыл... На Афоне, Аня, знаешь какая традиция есть... Странная для нас традиция. Кости иноков после нескольких лет в земле извлекают, омывают и помещают в часовни-костницы. Черепа подписаны. Имя. Даты жизни. Я был в такой костнице. Поначалу жуть берет. Хочется бежать оттуда без оглядки. Но стоишь. Крестишься и не бежишь. На входе там надпись: «Мы были такими, как вы. Вы будете такими, как мы». Долго я на пороге стоял, все войти не решался. А потом вижу, пришел монах, своих навестить. Гладит череп один и приговаривает: «Светлая память тебе, брат Василий». Вот тогда я вошел.

Анна слушала молча. Редко доводилось им видеться. Илья своей компании не навязывал, а Анна все никак вины переломить не могла. Зачем пожелала смерти Архипу? Почему не смогла простить?

— Знаешь, Аня, я так беззаботно в детстве жил, что только в восемь лет узнал, что бывает смерть. Правда! Узнал, что и я тоже умру навсегда. А вокруг красота! Лето звенит! Уехал я на велосипеде далеко-далеко, кинулся на землю и все плакал, плакал... Кто узнал смерть, тот ведь никогда прежним не станет. А в той костнице, на Афоне, я ее во второй раз узнал. Уже совсем по-другому. Так что? Сработаешь мой заказ, Аня?

Анна кивнула и заплакала. Стало ей легко и уже рисовался в голове образ будущего оклада. Илья присел рядом и смотрел, как она работает. Рассказывал, что есть у него задумка выстроить часовню. Простую, деревянную, шатровую, восьмерик на четверике. И одна главка-луковка. Анна работала молча.

* * *

Но Илья был настырный. Добился разрешения раскатать две брошенные избы и начал строить. Строил тяжело. Все один и один.

А когда пришла пора крест водружать, тут уж вся Лопшеньга загудела. Много народу собралось. Степан, батя Анин, в то время уже только с костылем ковылял. А вот явился же! И стал настырничать, что хочет де помогать. Илья его было уговаривал, что и без него справятся. Но пока Илья его урезонивал, Степан уже взобрался на крышу к самой луковке. И ведь по земле-то еле ходил, а туда же, на крышу.

— Гляди-ка, — засмеялись бабы, — куда Степана черти занесли!

Степан гневливый был. Стал бабам кулаком грозить, да и сверзился с крыши-то. Если бы просто упал, может, и пожил бы. А так, животом прямо на прут арматурный напоролся. Лежит, хрипит, помирает.

Анны в толпе не было. И вот слышит, пацаны бегут, кричат: «Анна! Батя твой с крыши упал! Беги! Помирает!» Прибежала, смотрит, у отца кровь черная рубаху заливает. Анна кричит: «Батя! Батя!», а тот хрипит из последних сил: «Не дрейфь! Умер — значит, перестал работать. А я, выходит, уже двадцать лет, как умер. А теперь..., — он шумно задышал, заговорил тише, — теперь буду живой... У... Бога... мертвых... нет». И умер.

Михаил СОЛОВЬЕВ

(г. Иркутск, РФ)

Вечная охота

Рассказ

Льдина подрагивала, цепляясь краями за кромку раздробленного солнцем ледяного поля. Торосы играли разломами, выбивая блики и заставляя тюленя, устроившегося с подветренной стороны, моргать и щуриться. Скупое арктическое светило набирало весеннюю силу, отнимая всякое желание шевелиться.

Медведице оставался лишь один бросок: любая неосторожность — и лакомая добыча перевалится через кромку льда, уходя свечкой на глубину. Мазать нельзя.

Еще метр. Еще. Вот он, пока еще живой кусок мяса, жмурится на теплое пятно над головой. Полярной ночью охотиться — проще, искать добычу — сложнее. Тут уж нюхай ветер и слушай шорохи, хотя белизна под лапами дает кое-какой фон, да и холодное пятно наверху светит, рассыпаясь иной раз причудливыми бликами странного сияния.

Пригревало. Тюлень сыто втянул в себя воздух и неуклюже перевернулся, подставляя теплому потоку спину.

Бросок медведицы через торосы был молниеносен, однако вместо упругой туши, «укутанной» в короткую шерсть, лапы уткнулись в промерзшую стену. Бросок не получился, и наяву никакого тюленя не оказалось.

Писк и пугливое ворчание рядом расставило все на свои места. Медведица впервые стала матерью и, повинувшись отработанным за тысячи лет правилам, устроила себе зимний сон вместо привычной охоты в тишине полярной ночи.

Удивленная, она прислушивалась к новым ощущениям и тычущимся в живот медвежатам. Молоко прибывало слишком медленно, и разочарованные малыши с яростным писком отвалились от матери, капризно вереща. Тогда она подгрребла их лапами под живот, и писк понемногу затих: малышам хватило еды для продолжения сна.

Выход подсказали рулады собственного желудка — нужна была пища и как можно скорей.

Продираясь через заваленный толщей снега вход, медведица вспомнила собственное детство и молоко матери. Удивительный вкус мяса на первой удачной охоте полярной ночи и огромный старый самец, с которым она поделила ту еду.

Позже более удачливые сородичи делились и с ней, молчаливо ворча-напоминая о правилах, сложившихся в этих суровых краях. Конфликты бывали редко, и в стихийных группах каждый занимался своим делом: матери кормили; молодые самцы боролись, поднимаясь на задних лапах, топчась-толкаясь будто в танце; кто-то спал, а кое-кто из обжор продолжал выискивать-обглаживать призрачные остатки мяса на брошенных лоскутах моржовых шкур.

Тонкая полоска света над горизонтом обозначила утро короткого полярного дня. Нужно было спешить и не шуметь, но вдруг так захотелось зареветь, вытянув морду навстречу светлой «растущей» полоске горизонта.

Вместо этого медведица повалилась на спину и покаталась, разминая застоявшиеся в длительной спячке мышцы. Кровь разносила тепло, бодрила, и, еще лежа на спине, она втянула ноздрями воздух, пытаясь оценить окружающую картину.

Ничего.

Тогда она встала на лапы, встряхнулась и сделала первые шаги навстречу явившемуся наконец свету, инстинктивно оставляя за спиной черноту ночи.

Не давала покоя картинка старого медведя, делившегося с ней тушу нерпы, что выловила она тогда в трещине ледяного поля. Почувствовала: прогонит — старик может не пережить этого дня.

Перед выходом на лед медведица еще раз потянула ноздрями морозный пока воздух, но признаков сородичей или падали не оказалось, не оставляя надежды на быструю еду.

Значит охота.

Времени мало: медведица буквально видела, как в ледяном пространстве берлоги свернулись в комочек короткого сна медвежата. Опасно уходить далеко, но ветер и запахи пока не предвещали беды.

Трещин с открытой водой не оказалось, но неожиданно она увидела на белоснежном поле странную черную точку. Картинка смотрелась необычно, и медведица с интересом направилась в ту сторону.

Прилетел порыв ветра, и нос ощутил наконец запах чистой воды. В этот момент черная точка шевельнулась, и медведица поняла, что происходит.

Нужно спешить. Скорее всего, это сородич залег

около протаянной нерпой лунки и теперь ждет, когда та всплывет наверх подышать.

Охота сложная, и многое зависит от того, куда мордочкой поднимается «хозяин» полыньи. Реакция у нерпы мгновенная, и в «соревновании» а-ля «встреча взглядами» медведи, как правило, проигрывают. Зевать нельзя — нужно бить, лишь только голова жертвы покажется на поверхности из темной глубины.

* * *

Старый огромный медведь лежал в засаде уже несколько часов. Во всем его облике сквозила обреченность. Он устал от полярной ночи, необходимости добывать еду и вообще жить, а тут еще явилась наглая медведица и расположилась возле лунки в паре метров от него, изготовившись для охоты.

Ветерок донес запах ее молока, и неожиданно медведь почувствовал себя маленьким-маленьким. Тогда он прикрыл глаза, пытаясь попасть в ту далекую пору, когда можно было довериться матери, и перед глазами вдруг закрутилась причудливая карусель из его медведиц, соперников и жертв.

Вот странный домик на острове Врангеля, где он, повинаясь вечному любопытству, сунулся мордой в твердые «льдинки» маленькой пещерки, сломав переплет рамы, и получил по морде от обитателя чем-то твердым с резким запахом пота.

В тот же год он приходил еще и, памятуя первый испуг, просто принюхивался к теплым запахам. Но его снова заметили и прогнали стуком-криками изнутри.

На третьей встрече двуногие снова не испугались: один закричал что-то протяжное и стал стучать

по земле длинной палкой, понемногу приближаясь. Разгадывать его замыслы не хотелось, да и предыдущий опыт ничего хорошего не сулил, и медведь снова ушел, навсегда вычеркнув их запах из списка съедобного.

Молоком пахло все сильнее. Он уже был с матерью в берлоге, которую та соорудила прямо на льдине.

Потом удивленно таращился, разевая пасть, увидев что-то желто-теплое, зависшее над горизонтом.

Короткое полярное лето и щедрые подарки природы. Черника. С каким удивлением он рассматривал фиолетовую морду матери, не понимая, что выглядит так же.

Сказка заканчивалась, и картинка тускнела, унося медведя все дальше в глубину сознания.

* * *

Самка с удивлением поглядывала на странно замершего сородича, и только предчувствие скорого появления добычи заставляло не отрывать глаз от поверхности темной воды.

Внутреннее чутье подсказывало, что молодая нерпа несется сейчас наверх через толщу воды к светлому пятну лунки, чтобы хлебнуть воздуха в последний раз и подарить ей такой нужный кусок жира. Главное сейчас не шевелиться, иначе нерпа может уйти, чтобы всплыть в другом месте.

Еще немного.

Еще.

Сейчас.

Темная вода поднялась горбом в лунке, и не успела мордочка с проникновенными глазами выскочить на воздух, как огромная лапа медведицы нанесла ей сокрушительный удар.

Вытаскивая нерпу на лед, охотница нетерпеливо рычала, посматривая на соседа, но тот не реагировал.

Медведица спешила, понимая, что медвежата в берлоге уже проснулись и могут привлечь кого-нибудь своим визгом.

После первых кусков жира-шкуры молоко прибыло, но медведица упрямо доела самое вкусное, оставив лишь пропахшее рыбой мясо.

Насытившись, удивленно глянула на медведя, который никак не реагировал на ее удачу, и призывно заворчала. Тот не шевелился.

Тогда она подошла к нему и принюхалась, еще не понимая, что сородича здесь уже нет и сны его прервались, окончательно утратив краски.

Любопытство требовало понять, но инстинкт упрямо толкал в сторону берлоги к двум пищащим от голода медвежатам. И она ушла, оставляя около окровавленной полыньи полубглоданную тушу тюленя и застывшего на вечной охоте старого медведя.

Леонид НЕТРЕБО
(г. Санкт-Петербург, РФ)

Полуостров Налим

Рассказ

Времена романтического Севера кончились. Нынешние северяне никакие не бродяги, не охотники, не рыбаки. Живут в многоэтажных домах, смотрят телевизор, блуждают по Интернету. Некоторые, правда, гуляют по грибы и ягоды или жарят шашлык на ближайшей опушке.

* * *

Однажды скучным летним днем коллега по работе, очкастый романтик, стал агитировать меня съездить на рыбалку, что явилось для меня полной неожиданностью. Ведь «скукотища!» — то и дело повторял он, волнуясь, боясь, что я откажусь. «Скукотища!» Он повторял это «словище» так, что от него не веяло грустью, не мучила совесть, не хотелось застрелиться. Наоборот — оно получалось радужным, озарённым предвкушением забытого рыбацкого трепета. Оказывается, он нашел компанию рыбаков, ко-

торые брали его в грядущую субботу на «совершенно дикий полуостров» с девственными озерцами, кишачными рыбой и ондатрой, где пешком ходили лоси и глухари. Я сказал, что если хотя бы часть из красочно описанного правда, то я еду. Но при одном условии: подготовка к рыбацкой прогулке не должна требовать насилия над моей закостеневшей ленью.

«Что т-ты! — замахал аристократическими конечностями коллега. — Возьми, что найдется. Можешь ничего не брать, езжай, какой есть. Ужение рыбы не главное! Выкладывай сумму на провизию — и жди уик-энда».

Вряд ли я поехал бы в другое время. Но сейчас я «холостяк» — жена в отпуске, в каком-то санатории, где лечат от... У нее целый букет. Но говорят, все — следствие. Поэтому лечат нервы.

В гараже нашелся старый рюкзак, метров двадцать лески с палец толщиной и несколько ржавых крючков большого калибра.

* * *

В субботу утром мы с моим доверчивым коллегой в составе банды рыбаков (так я окрестил эту колоритную группу, бородатую и, как показалось, хронически хмельную, после первых минут знакомства) выехали на «вахтовке» по грунтовой дороге, тянущейся по лесотундре вдоль бывшей сталинской железной дороги.

Заблестела вода — нашему взору явилась речка Правая Хетта, витиевато живущая среди лесных грив, озер и болотных пропleshин Ямальского Севера. Во множестве мест ее крутой змеиный зигзаг творит полуостров, омывая часть суши с трех сторон. На резиновой лодке, в три заплыва, мы переправились на другой берег, край очередного полуострова, где

нас встретила сторожка — легкая конструкция из лиственничных жердин, обшитых досками, обтянутыми черной изоляционной пленкой, с дощатыми нарами и полками.

Свечерело. Торопливый костер перешел в основательное огнище. Волосатый Распутин многолико, с десятка литровых бутылок, одобрительно сверкал гипнозными очами на бушующих рыбаков, пугающих песенным ревом еще недопуганные остатки северной природы. Настоящие бродяги уважают свободу: никогда не будут приставать с расспросами, убеждать попробовать то-то, сделать так-то. Это был тот самый случай: на меня, казалось, никто не обращал внимания, с другой стороны, я не чувствовал себя лишним. Что касается моего коллеги, то быстро опьяневший, как от внезапного счастья, он у костра был беспомощен и страшен одновременно. Словно пляшущий мутант, с желтыми, огненными пятками вместо глаз и очков, он выделявал у пламени невероятные, невиданные мной доселе движения и пронзительно ритмично визжал, будто кто-то в кустах без устали давил на устрашающий клаксон. Наверное, по логике коллеги-романтика, это было возвращением к природе. Так и прошла ночь — у костра, под неусыпным, допинговым бдением «Распутина». С похмельным рассветом ночные собутыльники разбрелись по полуострову, направляясь вглубь, в сторону от реки. Именно там, по рассказам коллеги, находились кишасие рыбой девственные озера. Мой товарищ и еще пара «нестойких интеллигентов» остались спать в вигваме. Итак, я остался один в этом чужом для меня коллективе, но отступить было некуда.

Оказалось, что у всех рыбаков, несмотря на их затрапезный вид, отличная экипировка, спиннинги, удочки, блесны... Моя скромная амуниция из ржавых

крючков и куска толстой лески, стыдливо прячущаяся в кармане, безнадежно уступала их великолепию. Именно по этой причине я не увязался ни за кем из «профессионалов», а взяв от кострового дастархана лишь полбуханки хлеба и обрезок колбасы, ушел в противоположную сторону — пересек полосу леса, спустился к берегу реки, где мою бедность никто не мог созерцать. Я выбрал место с невысоким обрывом, где сказочная темнота вод сулила надежду на необычный улов. Дьявольские ли пары «Распутина», или некий «классовый» протест, не помню, но что-то подсказало мне идею демонстративно поймать самую большую рыбину — какую-нибудь гигантскую щуку, дабы доказать свою рыбацкую состоятельность, мало зависящую от экипированности.

Я нашел толстую березовую жердину. Привязал к этому несгибаемому удилицу леску-«миллиметровку», маниакально радуясь ее прочности. Из четырех крючков связал приличный якорек. Роль грузила доверил моему ключу от гаража, очень кстати оказавшемуся в кармане. Колбасный обрезок щедро наколол на якорь суперудочки в качестве деликатесной насадки.

Кусок хлеба предназначался мне, чтобы продержаться до поимки щуки, без которой я уже окончательно решил не возвращаться в лагерь.

Итак, удилице вогнано в песок. Размах, бросок, громкий шлепок по воде — и рыбалка для меня наконец-то, после десятилетнего перерыва началась.

Конец августа. Как говорят на Севере, уже не лето. Реальная осень желтила и обгладывала березу, солнце не грело — его просто не видно за неконтрастными, как воспрянувший к небу туман, облаками. Я развел небольшой костерок, который согревал меня весь мой рыбацкий день. Вечером со стороны лагеря послышались голоса — это возвращались рыбаки с озер. Вско-

ре, уже в сумерках, загорланились песни, но они были уже не так громки, народ устал. В полночь все стихло. Видно, что на мое отсутствие пока никто не обратил серьезного внимания. Только несколько «ау» перед полным затишьем. Очень кстати. И все же: эх, коллега...

Надо ли уточнять, что у меня все это время, с утра до ночи, не было ни клева, ни поклевки? Утром предстояло отчаливать домой. Глаза слипались, сил уже не осталось — только грусть, оттого что моя сегодняшняя мечта не реализовалась, что завтра будет стыдно перед собой за возвращение без улова. В качестве утешения рассеялись свинцовые облака, и в небе появилась ласковая луна, волшебным озарив окружающую меня природу. Чуть в стороне, из прибрежной полоски воды, рядом с дрожащим блином отраженной луны, выявилась острая мордочка ондатры. Не обращая на меня внимания, она проплыла под удочкой, похожая на мокрую варешку. Стало тепло и уютно, сон и явь смешались.

* * *

Кого-то принес аист, кого-то нашли в капусте. А меня поймали в реке. Я проплывал... Зашли в воду, взяли на руки, прижали к себе, вышли на берег. Так говорила мама. Я часто пытался представить себя плывущим тогда. Плыл ли я, играя — ныряя, выныривая. Или просто лежал на волнах и смотрел в небо. Почему маленькие не тонут? Вот так, отвечала мама, не тонут и все. А откуда я взялся, плывущим? Из реки... А что я там делал до того как меня... поймали? Просто... жил, наверное, особенным образом; пришло время, и мы тебя... забрали из воды. Зачем? Ты стал нам нужен. А почему я ничего не помню? Так надо,

да и вообще: маленьким полагается помнить только с определенного возраста. А где мне было лучше, там или здесь?..

Даже родители, оказывается, не знают всего. Для них я просто взялся, явился, материализовался — и поплыл.

В детстве я часто таился на вечернем берегу: вдруг кто-то, маленький, поплывет мимо... А что бы ты с ним сейчас делал? — смеялась мама. Играл, дружил бы... Придет твое время — и ты его обязательно поймашь. Раньше он все равно не появится...

Это было не здесь — гораздо, гораздо южнее. Большинство взрослых северян — пришлый народ. Даже если умереть здесь и быть похороненным в вечной мерзлоте, все равно остаешься пришлым, «памятным» — пришедшим сюда на памяти, чьей-то. Что касается моей — иногда я жалею, что она у меня есть... Лучше бы я был «беспамятным».

...Куда ты ушел? — ты был таким хорошим: звонкоголосым, красивым... Желанным и любимым. Я мечтал — мечта была трогательной, наивной, бесполезной, невинно навязчивой, — мечтал, что позже, когда ты спросишь: а где вы нашли меня?.. Вот тогда, умиляясь и смеясь, я скажу такое знакомое, красивое и удивительное, которое, несомненно, повлияло на то, каков я есть, — хотел, чтобы ты повторил меня, счастливого, — я скажу, прошепчу, выдохну: из реки!.. Я хотел, чтобы ты, вырастая, как можно дольше верил в сказку: и пока верил бы ты, верил бы и я, ради тебя. Но вышло наоборот: ты вынул из меня и забрал все, что было возможно. До тебя, до того, как ты появился, в реке жили русалки, водяные... После тебя, после того как ты... — только рыбы.

Удочка, как живая, стала выворачиваться из песчаной лунки. Затем решительно дернулась, отделавшись от твердыни, и поползла к воде. Только когда она хлюпнулась и попыталась унырнуть, скрыться от меня безвозвратно в пучине, я, стряхнув дрему, понял, в чем дело. Не раздумывая более, рухнул в речку, замочившись по пояс, но удилице ловко ухватил и, стараясь не делать резких движений, осторожно пошел обратно к берегу. Моя мечта, моя удача была уже близко, на том конце двадцатиметровой лески, оставалось только аккуратно вытащить ее на берег и, как говорится, схватить за хвост, взять за жабры...

Что это крупная рыба, я не сомневался: сильно не сопротивляясь, она тем не менее шла ко мне довольно тяжело, чувствовалась масса и мощь.

Я ожидал увидеть острую пятнистую морду щуки, похожей на осиновое бревно. Но увидел тупое рыло, подобное началу черной торпеды или маленькой подводной лодки. Как бы то ни было, нужно теперь вытащить это чудо-юдо хотя бы в полтуловища на берег, после чего крепко ухватить за жабры...

Полтуловища чудовища уже на берегу, превозмогая минутный страх, протягиваю руки к жабрам, стараясь не попасть в разверзнувшийся рот, из которого, как погремушка на резинке вдруг выскакивает мой самодельный якорек с ключом от гаража. Рыбина сползает обратно в свою стихию, еще не понимая, что спасена. Пользуюсь ее секундным замешательством, быстро сжимаю ладони на середине скользкой торпеды. Стоя на коленях, приподнимаю из воды уже напрягшееся, готовое к спасительному для него движению тело и, собрав все силы, борцовским приемом тяну его на себя, а затем перебрасываю через

плечо подальше за спину. Сам после этого реактивно скольжу в обратную от броска сторону, в воду, падаю с обрыва. Впрочем, я быстро сориентировался и, определившись с донной твердыней, пошел к берегу, стряхивая с лица застывшую глаза воду.

Налим — это было уже ясно: огромных размеров налим, — совершая сгибающе-разгибающие движения, благодаря береговому наклону, продвигался к воде, то есть ко мне навстречу.

Мы оба спешим.

Мы встретились лицами, мордами, харями на самой границе воды и земли. Он открыл пасть — от неожиданности я отпрянул. И поскользнулся, напоролся ребрами на подводную корягу. Вздохнув от боли, втянул в легкие порядочный глоток воды. Мои неудачи прибавили сопернику уверенности, и он уже свесил голову за край обрыва. В вымученном броске я вытянул руки и, что было силы, толкнул его от себя, от воды — он, громко шлепая, перекатился, прилично отдалившись от кромки берега. Видимо поняв, что бороться со мной можно и нужно, опять зашевелился, заскользил по мокрому песку. Но я уже вышел на сушу, готовый стать непреодолимой преградой к спасительной воде.

Однако здесь я понял, что силы мои на исходе, сердце останавливалось, я уже ничего не видел. Недосып, борьба, волнение, ушиб груди. Я просто рухнул вперед. Удачно — подо мной заходило крепкое живое тело. Движения были отчаянными и потому казались сильными, способными на многое.

Мокрый и скользкий налим по-змеиному выворачивался из-под меня. А вода близко. Я решил, прежде чем потеряю сознание, поглубже, до прочного там застревания, вставить ладонь под жаберную крышку, приковать налима к себе, как полисмен преступника

крепкими наручниками. Аналогия нисколько не смешила меня, но прибавляла логики, а значит, и сил к странному в обычных обстоятельствах решению.

Наконец ладонь, преодолевая сопротивление, вошла в шершавое отверстие. А после того, как мне там стало тесно и больно, я откинулся на спину и глянул на «преступника», понял, что попал не туда. Но сил исправлять уже не оставалось.

Налим быстро затихал. Потом мы долго лежали жуткой парой на ночном пляже: я — навзничь, руки в стороны, одна ладонь в пасти мертвого налима; налим — на боку, безжизненно глядящий мутным глазом на того, чья ладонь застряла в его онемевшем рту. Какая чушь, так не бывает, я брежу.

* * *

...Агу-у! Э-эй!.. Почему ты лежишь такой — непохожий на себя. Что с тобой стало? — ты кусаешь мою ладонь... Мне больно. И страшно. Ты должен держать в своих ладошках, теплых и мягких, всего лишь один мой палец. Ты должен причмокивать и улыбаться во сне. Помнишь? — где-то рядом должна тихо, чтобы не разбудить нас, плескаться мыльная вода, в пластмассовом корыте... А я не должен плакать. Как плакала... она, когда после переезда в новую квартиру (мы не могли оставаться в прежней) не смогла найти медальона с пучком твоих... М-ммм!... Это я от боли, отдай мою руку, я положу ее на свою грудь. У меня там невыносимо болит. Ты что-то сломал, разбил там, может быть сердце... Такой маленький — а разбил...

...Чу!.. Ты такой большой и темный. И холодный, как земля. Бр-р-р! Нет, предыдущее не про тебя. Ты — всего лишь налим. То я, можешь считать, выдумал. «Не было» или «нету» — какая разница? Никакой!

Но первое — легче. Я выбираю то, что легче. Извини, старик, отвлекся, давай о тебе. Ты, кажется, правда старик, — вон какой большой. Возможно, мы одногодки. Знаешь, я тоже из реки. Мы с тобой, — как это по-нашему, по-речному? — не земляки, а... «изреки»... Ты, наверное, хотел бы спросить, зачем я тебя поймал? Точного ответа не знаю, некогда было об этом подумать, как ты помнишь. Наверное, так: я человек, ты — дичь. Действительно, я найду тебе применение (и оправдание себе). Я выну из тебя печень, это деликатес. Из твоего массивного тела я сделаю фарш. Но... Но придет моя жена и скажет печально: разве нам нечего есть?.. Она у меня хорошая, только часто плачет, ей тебя будет жалко. А коллега сообщит брезгливо: фу, налимы едят падаль. Не обижайся, «изрэк», на нас, на людей. По мне, в чем-то ты благородней нас: иной раз ты поужинаешь живой лягушкой — мы же питаемся только мертвечиной.

* * *

Перед самым рассветом луна зашла за тучу, стало опять темно, когда я отделился от налима, это стоило немалых усилий. Пора возвращаться. Я понес его осторожно, как мертвого ребенка, в лес, прихрамывая и жмурясь от боли. Я не мог его оставить на берегу. Стараясь запомнить место, уложил уже не такое скользкое, подсохшее тело в траву, наверное, решив удивлять рыбаков своим уловом утром, на их свежие головы. Подойдя к «вигваму», обнаружил там спящих вповалку рыбаков и в их числе моего коллегу по работе. В ближайшем рюкзаке нашел аптечку, кое-как перевязал руку. Оживил костер, благо угли еще тлели, и стал подставлять бока к гудящему пламени для просушки одежды и согрева остуженного и ушиблен-

ного тела. Боль немного утихла, и вскоре я забылся, прислонившийся к дереву.

Утро всеобщего пробуждения было поздним. У меня, оказывается, поднялась температура, что быстро определил мой коллега, который наконец, вспомнил о том, которого он сюда, «на природу», сагитировал. Сильно не интересуясь причиной моего хвора, наверняка полагая, что я заурядно простудился, мне дали немного водки и приказали собираться. Осторожно, стараясь не бередить грудной ушиб, я пошел искать налима и не нашел его. Искать дольше было уже некогда — звали к лодке. Может быть, по причине общего недомогания и легкого опьянения, я отнесся к этому спокойно, если не сказать равнодушно. Даже рассказывать не стал о ночном приключении. Да и без налима — кто поверит? Было — предъяви! А без доказательств тебе самому расскажут подобных историй — сколько угодно.

* * *

Это была моя последняя рыбалка, так я окончательно решил. Как мудро сказала моя жена, вернувшаяся из санатория: от рыбалок — одни потери. Действительно, несколько недель у меня срасталось сломанное ребро, трудно заживали раны на руке, остались шрамы, не говоря о простуде. Ключ от гаража, конечно, пропал на том самом берегу реки. Пришлось пилить замок. Впрочем, это мелочи.

Коллега по работе, напротив, активно продолжал «возвращение к корням», стал настоящим рыбаком. Однажды, через год после нашей с ним рыбалки, он, как и положено рыбаку, славословил.

— ...Все-таки зря ты завязал. Помнишь тот чудесный полуостров? Там ведь тьма рыбы, глухари, лоси,

ондатры... А еще, знаешь, никогда бы не поверил. Оказывается, налимы выползают в траву из озера — там, где воды чуть-чуть. А потом вода сходит — и налим на суше остается. И я недавно одного такого нашел! Да-да! Скелет, правда. Вот тттак-ой! Удивительно, как он туда дополз! Далековато от озера, почти у реки. Что, не веришь? Не вру, вот такой!

У меня вырвалось невольно:

— Убавь немножко!

— Ты мне не веришь? Мне? Могу фотку, но ты ведь скажешь: фотошоп. Поехали, чтобы воочию! Пари на «Белую лошадь»? Учти, на черепушке вещдока — моя сигнатура, улика авторства.

— Он мой.

— В смысле того, чтобы я тебе его подарил? Извини, старик, уже не могу. Ни за «Распутина», ни за «Лошадь». Мы его заскобили в красном углу вигвама, смеемся, — вместо распятия. Решили, он будет талисманом тех мест, ангелом-хранителем, ну типа этого. «Полуостров Налим» — так теперь все это называется. И уже замечено всеобщее почитание, мужики вчера рассказали: скелет кто-то уже клеем и лаком обработал. Вокруг на стене — автографов!.. Язычество! Возвращение к корням!

Я отказался от пари, махнул рукой, ладно, верю.

* * *

С тех пор прошло еще несколько лет. Прогресс крепчал, на Ямале появилась сотовая связь. Я наконец домучил никому не нужную диссертацию. Теперь придется защищать и писать что-нибудь еще. Во всяком случае, так говорит жена, я ведь должен к чему-то стремиться.

Бывший мой целеустремленный коллега вопло-

тил очередную мечту — женился на романтической душе, с которой познакомился у одного бродяжьего костра. «Душа», совершив с ним несколько перелетов из города на озера и обратно, после загса несколько изменила его романтические взгляды на бытие, и вскоре молодая чета навсегда отбыла от северных просторов — вить гнездышко: не в райском шалаше, но в столичной квартире.

Рыбаков, с которыми ездил на полуостров Налим, я никогда больше не встречал. Где расположена та сторожка, в которой висит скелет моего налима, уже не найду (да и там ли он?). Много островков и полуостровов на реке, и, соответственно, сторожек, «вигвамов». Честно сказать, искать и не собираюсь, на рыбалку совсем не тянет. Недавно вдруг впервые подумалось: а не приврал ли тогда мой коллега про скелет налима? Вполне может быть (не со зла — просто так), и совпала просто его байка с моим бредом. Вот так и рождаются легенды: один что-то случайно поймает, другой приврет — и нате вам, жалейте, поклоняйтесь. Отпустил бы я тогда этого налима — и ничего бы не было. Сейчас уверен: окажись он живым, когда я пришел в себя на берегу, с рукой в его пасти, — отпустил бы. Но он быстро умер. А мертвого в воду бросать — кто же так делает.

...Если когда-нибудь дорога ваша будет пролегать по северной, приполярной трассе, около газового месторождения Медвежье, вы обязательно будете проезжать по грунтовому тракту, где несколько десятков километров ваш автомобиль будет иметь с одной стороны хороший ориентир — старую железную дорогу, «сталинку», «Мертвую дорогу»... Нет, так вы не найдете.

Или если вам вдруг придется сплавляться по Пра-

вой Хетте до Надыма... Впрочем, это уж совсем маловероятно.

Ну, скажем, если вы случайно будете в наших краях и местный любитель рыбной ловли или охотник расскажет вам про полуостров Налим или что-то в этом роде, про сторожку, в которой прибит скелет налима, опрометчиво выползшего на сушу из озера...

Не верьте, озеро — это вздор. Налимы, хоть и ползают по дну, любят волю, живут в проточной воде. Чего только не расскажет этот народ — рыбаки!

А я уже давно не рыбак. Поэтому хочу, чтобы вы знали правду: тот налим — мой... Вернее, мы... были знакомы. Совсем недолго. На суше он жить не мог, поэтому быстро умер. А жил он — в реке.

Владимир ШПАКОВ
(г. Санкт-Петербург, РФ)

На карнизе

Рассказ

Окно в мансардном этаже даже издали выглядело грязным, закопченным, абсолютно непрозрачным. Рамы были старые, краска с них облезла, обнажив иссохшую древесину, а стекла держались, похоже, на одной замазке. Но самое главное: окно никогда не открывалось. И свет в нем не зажигался, что означало: в комнате никто не живет.

Зато жизнь бурлила на старом проржавевшем карнизе, который под наклоном отходил от окна, образуя небольшую площадку. По этой площадке разгуливали коты, на ней передыхали голуби; даже чайки там приземлялись, хотя от залива отсюда было далеко. Понятно, что оккупировали карниз по очереди: если там коты, то голубям ловить нечего, даже большущие чайки с крючковатыми клювами предпочитали в этом случае перепорхнуть на соседний балкон. Когда же на ржавом железе появлялся человек, любая живность кидалась врассыпную — царь природы, как никак.

Впрочем, «царь» в обличье кровельщика вел себя боязливо. Он пробирался по карнизу с осторожностью, придерживаясь за стеночку, потому что — шестой этаж. А поскольку дом был тоже старый, то шестой этаж — это метров двадцать высоты, сверзишься, мало не покажется. Зимой на карнизе можно было увидеть тех же голубей (чайки и коты на это время куда-то исчезали), а еще людей в оранжевых жилетках, что сбрасывают с крыш снег и лед. Эти ходили без опаски, потому что на привязи были: привяжется такой за трубу или антенну длинной веревкой и давай киркой махать, оббивать с карниза ледяной панцирь. Передыхая, оранжевый доставал сигарету и, закурив, что-то пытался разглядеть за грязным закопченным стеклом. Бывало, что и ладонь козырьком ко лбу прикладывал, чтобы не мешал отблеск стекла, но долго туда не смотрел, наверное, ничего интересного за окном не было. И для кровельщиков там не было ничего интересного, хотя они и не пытались заглядывать внутрь, без привязи ведь ходили, а тут не до чужих секретов.

* * *

Она появилась в окне летним утром: створка медленно распахнулась, открыв черный оконный проем, и из этой черноты выплыла белая фигура. На самом деле халат (на ней был халат) имел лиловый цвет, но на фоне оконного проема казался белым. Она вроде как горбилась, не помещаясь в проеме; лишь когда нога ступила на карниз и фигура распрямилась в полный рост, стало ясно: это высокая и стройная женщина. А еще курящая, потому что сразу же достала сигарету и закурила. Волосы у женщины были светлые, коротко подстриженные, но челка оставалась, и ее по-

стоянно откидывали со лба. А как иначе, если с такой высоты глядишь вниз? При таком взгляде челка, понятно, свешивается, мешает обзору, значит, надо откидывать свободной рукой. В другой руке у женщины была сигарета, а под ноги она поставила какую-то простецкую пепельницу. Изящно изгибаясь, женщина приседала едва не на корточки, чтобы стряхнуть пепел, потом выпрямлялась во весь рост, и казалось даже удивительным, что она не боится. В одной руке сигарета, другой челку откидывает, и надо бы третью, чтобы за створку или за стену держатся. Так не держалась ведь! Курила, приседала, выпрямлялась, поглядывая вниз, видно совершенно не страдала головокружением. Бывало, и вовсе голову запрокидывала и глазела на облака или на стрелу башенного крана, недавно установленного рядом с домом. Слегка покачиваясь, стрела скользила высоко над крышей (еще метров двадцать прибавьте), легкая и ажурная, она чем-то напоминала вышедшую на карниз женщину...

Вскоре окно просветлело: грязные разводы были убраны с помощью газеты, вначале изнутри, потом снаружи. Было видно, как хозяйка рвет газеты на клочки, после чего, встав на стул, совершает кругообразные движения руками. А спустя несколько дней она вылезла на карниз с баночкой и кистью, чтобы выкрасить старую иссохшую раму в белый цвет. Почему в белый? Нравилось человеку, наверно, хотя по нашей погоде цвет, конечно, непрактичный, утрачивает девственность за сезон. Потом в окне появились шторы. Там никогда не было штор; учитывая грязь и копоть, в них и нужды-то не было, а теперь появились, голубые и воздушные. Их выдувало сквозняком, когда женщина выбиралась на карниз, и колыхало на ветру. Видя это, женщина прекращала заниматься челкой, упрятывала шторы внутрь комнаты, после

чего прикрывала створку и отправлялась гулять по карнизу.

Ну да, иначе это и не назовешь: гулять. Кровельщики, как вы помните, боялись здесь ходить, чистильщики снега — надеялись на страховочную веревку, а эта прохаживалась, как по бульвару! Ладно, прохаживалась бы в хорошую погоду, так она ведь и в дождь вылезала! Когда с зонтиком, когда в накидке поверх халата, только проблема-то в другом: под ногами скользко, того и гляди... Но она почему-то совсем не боялась. Наоборот, ей нравилось на карнизе, как некоторым людям нравится стоять на балконе. Отличие в том, что на балконе есть перила, а на карнизе — их нет. И установить нельзя, потому что дом, как уже говорилось, был старьёй, то есть памятник архитектуры, и если каждый начнет перила устанавливать — что останется от памятника?

Правда цветы запретить нельзя даже на памятнике, и она это знала. Вскоре она выставила на карниз три продолговатых пластиковых ящика, разместив их прямо у окна. Там колыхалась какая-то розоватая растительность, скорее всего, петунии; а вскоре на карнизе появилась парочка кашпо с фиолетовыми цветами. Теперь женщига приседала не только для того, чтобы стряхнуть пепел, но и для полива своей карнизной клумбы. Если долго не было дождя, она выходила на карниз с маленькой зеленой лейкой и, присев, аккуратно поливала насаждения, каковые буквально кустились (сторона была солнечная, да и лето выдалось жарким).

По вечерам в освещенном квадрате окна иногда возникал силуэт. Тонкий и ломкий, он постоянно двигался, так что можно было догадаться: женщина развешивает белье на протянутой через комнату веревке. Или гладит его. Или делает какие-то физкуль-

турные упражнения, типа: домашний фитнес. Иногда силуэт приближался к окну, штора отодвигалась, и хозяйка озираала клумбу: как, мол, мои цветы? Не поникли без солнечного света? Не завяли? В вечернее время она редко выбиралась на карниз, предпочитала курить, высунувшись едва ли не до пояса из окна. Но иногда и вечером (а то и ночью) появлялась на своем обычном месте, накинув поверх халата шаль.

С тамошним зоопарком она наладила отношения быстро. С ее появлением коты на время исчезли с карниза, выбрали для своих хождений другие маршруты. Птицы, правда, по-прежнему использовали площадку для отдыха, но тут же взмывали, если створка открывалась. Между тем хозяйка карниза (назовем ее так) помимо сигарет имела в кармане лилового халата то ли хлебные крошки, то ли пшено, которое щедро раскидывала по ржавому железу. Голуби и чайки кружили в отдалении, но когда хозяйка скрывалась за окном, тут же слетались на карниз клевать угощение.

Потом между кашпо и ящиками была установлена кормушка с кошачьим кормом. Первым халяву оценил юркий рыжий замухрышка, с жадностью сожравший содержимое кормушки и улегшийся неподалеку ждать добавки. Хозяйка подсыпала корма, но тут из-за угла показался серый толстый котяра, отогнавший рыжего дистрофика и устроивший пир в одиночку.

Вскоре коты уже позволяли себя гладить. К рыжему и серому прибавилось еще пара белых грациозных кошечек, для которых тоже не жалели корма. Четвероногие друзья терлись о ноги женщины, прохаживались перед ней, стараясь заглянуть в лицо, она же смотрела на облака, на стрелу, что кружила в небе, отбрасывая ажурную тень... Когда стремительная тень, изламываясь на неровностях кровли, пробегала по карнизу, казалось: она готова смахнуть хо-

зайку вместе с ее зверинцем. Однако не смахивала; и женщина гладила вначале рыжего, затем серого (этот наглец по-прежнему норвил оттереть слабосильного замухрышку).

В одну из ночей загорелась расположенная в центре двора помойка — жильцы давно хотели ее перенести, и кто-то постоянно поджигал содержимое. Помойка горела хорошо, пламя доставало до второго этажа, а отблески достигали шестого; даже стрела крана, зависшая над домом, выхватывалась из темноты. Выхватывалась и фигура на карнизе, застывшая у самого (так, во всяком случае, представлялось) края. Вероятно, женщина опять откидывала челку, глядя вниз, но в ночном мраке жест был незаметен, только крошечный огонек сигареты чертил в темном воздухе замысловатые траектории; хотя, возможно, то была всего лишь взлетевшая искра от пожара. Искр было много, ага; и пожарных было много, целых четыре машины, что для одной помойки — явный перебор.

В эту озаренную пожаром ночь показалось: в ее комнате кто-то есть. Вроде бы из окна иногда появлялась рука, энергичным жестом увлекая сумасбродку обратно: давай, дескать, в комнату, нечего дурью маяться! Рука могла быть, конечно, тоже отблеском пожара (ну очень сильное было пламя!), да только в последующем так и вышло. То есть за голубыми шторами появился еще кто-то, похоже, мужского пола.

В белой майке, а может, рубашке, он мелькал где-то в глубине, но никогда не показывался наружу. Мужчина тоже курил, судя по клубам дыма, нередко сопровождавшим мелькание белой рубашки (майки?). На карниз, однако, новый обитатель комнаты выходить не желал. Ну, никак не желал, хотя женщина его явно приглашала. Обернувшись к окну, она жестом показывала: да выходи же ты, посмотри, ка-

кие здесь цветы! А мои четвероногие друзья?! Коты, уже привыкшие, терлись о ее ноги, тоже служа аргументом: присоединяйся, мол, к нашей компании! Но ответом был красноречивый жест: нет (ноу! нихт!), я еще не сбрендил, чтобы гулять по карнизу, как по бульвару!

Наверное, мужчина страдал головокружениями. Или высотобоязнью, или у него была аллергия на кошек. Но факт остается фактом: карниз оказался ему не по плечу, извините за неуклюжее выражение. Что никоим образом не говорит об этом человеке отрицательно: очень многие боятся прыгать с парашютом, но не боятся оказывать помощь заразным больным. Дело вообще в другом — если, конечно, мы верно дешифровали язык театра теней, что давал представления в голубом квадрате окна. Ранее в театре был один актер (точнее, актриса), теперь же разворачивались постановки на двоих: с бурными жестами, сближениями и расходом по углам, иногда даже, казалось, с поцелуями, а также с рыданиями, поскольку тень актрисы иногда застывала, горбилась и вроде как вздрагивала. Хотя на рыданиях и поцелуях мы, конечно, не настаиваем, тень — она и в Африке тень, а нам живого человека подавай, в трехмерном, так сказать, измерении.

А в трехмерном было вот что: она по-прежнему выбиралась на карниз, только теперь курила по две, а то и по три сигареты подряд. И на стрелу башенного крана совсем не смотрела, хотя стройка шла интенсивная, и ажурная конструкция крутилась туда-сюда, как пропеллер. Она даже о котях редко теперь вспоминала, и тем приходилось с обидой, тычьась в ее колени, напоминать: наполни, мол, кормушку! А еще она стала чаще появляться на карнизе вечером и ночью. Причем без шали, что в конце лета (а лето махало ручкой) было чревато — синоптики уже пугали

надвигающимися ночными понижениями вплоть до заморозков.

Потом она вообще исчезла с карниза, возможно, приболела. Или в командировку уехала; или в отпуск — мало ли причин? Ничего экстраординарного, одним словом, если не считать голубей, сердито ходивших по карнизу и, за неимением хлебных крошек, яростно клевавших ржавое железо.

Оказалось, ярость пернатых была оправдана, то есть не уехала она ни в какую командировку (как и в отпуск). В один из осенних дней, когда карниз уже расцвелили кружащие в воздухе желтые и красные листья, из окна вылезла женская голова. Голова была большая и круглая, с прической, которую называют «химия». Потом появилась женская рука, толстая, но проворная, и быстро втащила в окно ящики с цветами. А вот кашпо к тому времени сползли к самому краю карниза, так что достать их толстая, но, увы, короткая рука была не в силах. Поэтому вскоре появилась еще одна голова, совсем без волос, а спустя несколько минут и сам обладатель головы, массивный дядя в спортивном костюме, возник на карнизе. Точнее сказать, он выполз на него на четвереньках, обмотанный вокруг пояса веревкой. Другой конец веревки держала толстая женская рука, а голова с прической «химия», надо полагать, командовала: давай, мол, хватай! А теперь — тащи!

Это было смешно: наблюдать, как дядя, пятясь (вы представляете: что значит: пятиться на четвереньках? да еще если тянешь груз?) уволакивал свою добычу в нору. Шторы в норе вскоре заменили на ярко-желтые, цвета яичного желтка, а перед ними на подоконнике поставили те самые ящики с цветами, так что сразу радости прибавилось. И за желтыми шторами радости было невпроворот, если судить по многочис-

ленным теням, что мелькали в какой-то ликующей пляске, наверное, по случаю новоселья. Кровельщик тоже, надо полагать, радовался: в новоселье он не участвовал, но ходить по карнизу ему стало легче. Грустили разве что коты, чьи кормушки без жалости сбросили вниз. Но какое нам дело до котов?

Виктор АВИВА СВИНАРЕВ
(Белгородская обл. г. Шебекино, РФ)

**Северное сияние
под названием Амнистия**

Святочный рассказ

Мой папа и на этот раз не приедет к нам на рождественские праздники. Это уже в третий или шестой раз. Наверное, ведь раньше я не умел считать так, как сейчас, и выходит это в третий раз. Но три раза наверняка. Даже мама знает. Но ее спрашивать нельзя, она сразу начинает плакать, если мы дома, или идет в ванную. И мне приходится ждать ее, чтобы спросить, в чем дело.

Значит, опять там вновь бушует ураган. Мой папа работает на самом высоком Севере. Нашем русском Севере с большой буквы. И он выше всех, потому что так выходит на карте. Если посмотреть по карте, которую мне прислал папа, то наша страна выше всех, а над ней, как моя синяя шапочка, и есть тот самый Север. И там работает мой папа.

Он исследует льды, записывает температуру и работает по рации. Иногда, а в Рождество обязательно звонит мне и рассказывает, какая температура, как блестит лед под солнцем или как медведи бегают по кромке льда. Когда-то папа сказал, что летом у них лед похож цветом на зеленый чупа-чупс, если его долго держать во рту. Но блестит сильнее и видны самые глубокие трещины, которые тоже красивы, как ветки зимних деревьев. Даже еще красивей.

Папа, правда, не может часто звонить, потому что это связано с военной тайной. Но перед Рождеством обязательно. Вот и сейчас мы ждем его звонка. Папа, который выше нас всех, будет звонить и передавать нам привет от медведей. У нас самих на улице холодно, что никого не видно. И мама поставила на праздничный стол всего две тарелки. Потом подумала и поставила еще одну. И тут раздался звонок. Мы решили, что это папа, но это была Света, сестра папы. Она тоже с нами будет. А я спросил у мамы, так что, значит, папа опять не приедет на такой зимний красивый праздник.

Вместо ответа мама показала пальцем на одну точку на карте нашего государства. Правда в прошлом году она показывала совсем другую точку, но потом я подумал, что папу запросто могли перевести на другой остров. Там тоже есть льды, метеостанция, и надо каждую неделю запускать ракету в космос, чтобы узнать, какая там погода на самом верху земного шара. А может, мама сама забыла. Она такая растерянная стала...

Телефон зазвонил прямо в маминой руке. Вначале папа говорил с мамой, а я стоял рядом и все слышал. Потом мама протянула руку ко мне, и папа сразу же извинился, что опять не сможет прилететь к нам на наши каникулы. На их маленький остров, где и рас-

полагается база, вновь налетел сильнейший ураган. Тут и так темно, а сейчас не видно даже своей руки, настолько сильный летит снег. Никого не выпускают на улицу. Хоть на ней и протянуты канаты. Ветер такой, что может схватить человека и катить его далеко-далеко. Даже самые северные медведи и те залегли в снежным берлогах и не высовывают носа.

Конечно, в таких условиях ни один самолет не может приземлиться на аэродром, даже военный. Вот почему папы опять не будет с нами. Так уже было три раза. Папа уговаривает меня, чтобы я не плакал. Он рассказывает, какой у них лед, когда ураган уйдет дальше. В свете прожектора он блестит на всю глубину. Но главное — это СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. В самое темное время вверху начинают играть длинные яркие полосы света, рубиновые, зеленые, оранжевые. Ярко-синие, как лезвие лазера. Красные, как кремлевские звезды, оранжевые, как апельсины, зеленые, как трава ранним утром. Каждый ураган приносит свое сияние. И всегда они разные. Как и сами ураганы.

Но тут в гости пришла тетя Света. Они работают с мамой в одной школе. Я сразу сказал тете Свете: папа предупредил, что к нам движется ураган и надо быть очень осторожным.

Тетя Света засмеялась и сказала, что в Америке ураганы называют женскими именами. И чем красивей имя, тем ураган свирепее.

— Мы тоже можем назвать наш ураган, — засмеялась мама — Вот только поедим.

Я налил всем по стакану «Спрайта». Он такой зеленый, словно знает о северном сиянии... Было очень вкусно. Мне всегда нравилось, как готовит моя мама, тем более на праздники.

Потом мама и тетя Света ушли на балкон — смотреть, будет ли ураган, а мне не разрешили. Мы там,

может быть, будем курить, а тебе этого нельзя. Ведь папа не курит, и ты должен брать пример с него. Но я все равно немного подслушал их. Они, оказывается, говорили про ураган, который надвигался с самого севера на наш город.

— Да не беспокойся ты, — говорила тетя Света, — в наступающем году обязательно будет амнистия. Во-первых, депутаты уже почти приняли закон, президент наверняка поддержит; он ведет себя хорошо...

Амнистия!

Я не смог сразу понять, что это они так говорят об урагане. У нашего урагана, оказывается, есть имя.

АМНИСТИЯ — вот как его зовут, и это очень красиво.

Как мне хотелось тогда позвонить снова папе и рассказать о том, как мы вместе будем стоять вдвоем против какого-нибудь самого сильного урагана. Мы будем держаться за руки, а не за поручни или там альпинистскую веревку. И тогда никакой ураган не разлучит нас, будь он трижды сильный...

А когда ураган по прозвищу АМНИСТИЯ-2 начнет стихать и тучи улетят вдаль и ниже, над нами заиграет всеми школьными, военными, вселенскими красками самое разноцветное и самое космическое СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ...

Леонид ЛЕВИНЗОН

(Израиль)

Мчится поезд курьерский

Рассказ

Много лет назад один, совсем молодой человек, закончив институт, по распределению (много лет назад существовало такое понятие), приехал в Северную Коми-страну в небольшой посёлок Микунь у пересечения железнодорожных путей. Стояла поздняя осень, когда уже почти не осталось на озябших деревьях ни одного жёлтого листочка и порывы холодного ветра рвали и рвали хлипкую куртку с плеч. Небо было затянуто облаками, и из печных труб домов тянулся вверх то и дело сбиваемый беспокойной силой дым. Молодой человек подхватил чемодан и зашагал в посёлок, где, как он знал, в общежитии, обитал приехавший раньше друг.

Дорога от станции тянулась по прогибающемуся деревянному скользкому настилу, потом перешла в бетонку. Около общежития, на поиски которого ушло около часа, гость наткнулся на большую, уже подзамерзшую мусорную кучу с потёками тёмной воды во все стороны, аккуратно миновал её и остановился, по-

ставив чемодан. К слову сказать, само общежитие выглядело добротно. Кирпичное, в два этажа, с двойными стёклами в окнах и без обязательной поленницы дров, что сразу наводило на благоприятные мысли о центральном отоплении. Когда молодой человек открыл незапертую дверь в комнату, его друг спал, закутавшись с головой в одеяло.

— Эй, эй!

Друг заворочался, стянул одеяло и поднял лохматую голову:

— Приехал всё-таки... — сказал хриплым голосом.

Зевнул. — Включи-ка свет, там, справа...

Пошарил под кроватью рукой:

— И где это наша радость за четыре семьдесят?

Достал водку.

— Из Питера поездом?

— Да.

— Я тоже.

Встал, нарезал хлеба, вынул колбасу, спрятанную между оконными рамами.

— Ну, за встречу?

— За встречу.

— Андрей, как тут?

— Скоро увидишь. Наш главный — алкоголик.

Закурил, прищурился, взял гитару:

— По тундре, по железной дороге мчится поезд курьерский «Воркута — Ленинград»! Мы бежали с тобою... Мишка! У меня, кстати, ещё морской салат есть!

Снаружи темнело, Андрей наливал, и близко стоящее за окном дерево, качаясь, так и норовило цапнуть угрожающе вытянутой ветвью с трепещущими листьями тонкое беззащитное стекло, пытаясь добраться до спрятанного тепла. В коридоре затопали сапоги, начался шум, где-то завели музыку.

— Лейтенанты со службы возвращаются, — пояснил Андрей.

За стенкой упало что-то тяжёлое, раздался женский смех.

— Смотри, Миш, — друг показал красную маленькую книжечку с тиснением «МВД» на обложке. — Тебе тоже такую выдадут. Жаль только, что без права ношения оружия.

— А зачем тебе оружие?

— Да так...

Чуть позже они переместились в компанию, где весело хохотал огромный рыжий, кровь с молоком, молодой лейтенант, а ему хрипло вторила мурлыкающая вертлявая, лет на десять старше его, женщина с ярко накрашенными губами. В компании ещё присутствовали несколько девок с гражданскими кавалерами и угрюмый, быстро напивающийся капитан. Тянулась магнитная лента, с шорохами воспроизводя чувствительную зарубежную песню про призыв в армию, капитан грохал кулаком по столу. В такт его ударам согласно подпрыгивала на столе банка баклажанной икры, сардины в томате, хлеб, стаканы, салат — что-то там в майонезе. Водку народ предусмотрительно убрал на подоконник.

Вернулись за полночь.

— Андрей! — вспомнил, раздевшись, Мишка. — А где туалет?

— На улице.

— Ой, мля!

Он сунул ноги в ботинки и, поленившись одеваться, в одних трусах выскочил в затихший коридор, спустился по лестнице и обомлел — навстречу ему шла молодая женщина. Заметавшись, Мишка спрятался за стеклянной перегородкой, женщина прошла мимо, только мелькнули каштановые волосы да скользнул по нему сразу испугавшийся любопытный карий глаз. Подождав, пока затихнут шаги, Мишка промчался в

туалет. Совсем продрогнув, вернулся, залез под одеяло и блаженно вытянулся, решив, что на первый день приключений хватит.

* * *

Утром батареи оказались еле тёплые, и в комнате было холодно. Доели оставшуюся колбасу и отправились на работу. В канцелярии сидела молодая женщина с каштановыми волосами, в которой Мишка с ужасом узнал свою вчерашнюю знакомую.

— Таня, знакомься — это Миша! — представил его Андрей.

— Да мы встречались! — со смехом сказала Таня.

Мишка покраснел.

— Ну, заходите, заходите! Мне некогда... — прогудел недовольный бас.

На пороге кабинета стоял располневший мужчина с отёчным лицом.

— Итак?

— Кац, — представился Мишка. — Приехал по распределению.

— Поздновато, — заметил начальник. Подумал. — Так, у меня мест нет, поедешь в Вожский. Таня, пиши приказ.

— Вот сволочь! — злобно ругался Мишка на обратном пути. — А я ведь я с тобой хотел!

— Не переживай! — махнул рукой Андрей. — Я тоже скоро уеду.

— Куда? Почему? — Мишка от удивления остановился.

— В один из периферийных посёлков. Понимаешь, там свободы больше.

На следующее утро Мишка собрал уже почти упакованный чемодан и отправился на станцию. По-

езд оказался переполнен пассажирами, в нём было душно. Ища свободное место, Мишка переходил из вагона в вагон, пока не попал в затор. Выглянул из-за спины двигающегося впереди белобрысого парня и с удивлением увидел перегоревшие проход ноги, через которые осторожно перешагивали люди. Мишка приготовился тоже перешагнуть, но тут белобрысый, весело сказал:

— Оглобли-то убери!

Со всей силы ударил по мешающим ногам.

— Ах ты, козёл! — Ноги оказались продолжением огромного косматого мужика.

— Да я...

Белобрысый не дал ему закончить, от души врезав верзиле по физиономии. Справа, слева, опять справа. Тот рухнул. Завозился, пытаясь подняться. Белобрысый, улыбаясь, ударил ногой, попав в кадык, верзила захрипел. Белобрысый добавил. Голова избитого с громким звуком ударилась о пол, он перестал двигаться, только задыхаясь, изредка сглатывал текущую кровь.

— Ишь, — сказал осуждающе белобрысый, — каждое говно будет из себя бугра строить... Куда катимся, пацаны?

До посёлка, где Мишке предстояло жить, поезд ехал три часа. На перрон, кроме него, сошли несколько офицеров, немедленно забравшихся в ждущие их газики, и белобрысый поборник справедливости.

— Ты что, новенький? — спросил лениво.

— Да...

— Где будешь работать?

— В медчасти.

Белобрысый чуть подумал и кивнул головой в сторону одиноко стоявшего грузовика:

— Садись к Ваське, подвезём.

На краю перрона под лай собак и крики «Пошёл! Пошёл!» торопливо спрыгивали с поезда и строились в ряд люди в чёрном.

* * *

Снег идёт. Когда нет ветра, он оседает на ветвях снежинка к снежинке такими весёлыми заборчиками. Солнышко днём чуть пригрело, снег повлажнел, а вечером пощипывающий губы морозец превратил снежок в лёд. И утром лес искрится и сияет, как в сказке.

Правда эта сказка не для всех.

Движимый одиночеством и тоской, Мишка после работы часто ходил встречать и провожать воспетый печальной песней поезд «Воркута — Ленинград».

На его станции этот поезд останавливался лишь на пару минут, чтобы немедленно двинуться туда, где остались светлые просторные аудитории Мишкиного института, Эрмитаж, выставки, концерты, Невский и дальше все те города и веси, откуда гигантская страна выдавливалась в холодные северные леса людей в чёрном. У него даже образовалось на перроне любимое место, как раз около навечно заглохшей легковушки, на крыше кабины которой красовались узоры из множества переплетающихся маленьких дырочек, явно обязанных своим происхождением автомату. Зимой машина полностью пропадала в снегу, а вот летом прорастала жёсткой полевой травой и колючим кустарником. Непонятно было, откуда она вообще взялась в этом болотистом краю, где ездили только по специальным деревянным настилам или на укатанных зимниках.

Мишка подходит, становится, трёт одна об другую варежки, под шубу проникает холод, он приплясывает:

— Поезд, ау? Где ты?

А вот! Идёт! Могучий, дышащий паром, и при этом с такими тёплыми и такими зовущими окошками. С презрением остановился даже не на минуту, так — на несколько секунд, и чух-чух-чух — пошёл дальше, неотвратно убыстряясь и исчезая из виду. Всё. Становится сразу скучно, неудобно, темно. Лишь единственный фонарь у станции ещё силится, отбрасывает у темноты кусочек пространства, и в его неярком свете видны росчерки летящего наискось снега. Пора возвращаться, истопить печку, принести воду, сварить картошку на ужин, поесть. А останется время, зайти к соседу-леснику, чтобы выслушать возмущённый рассказ, как кто-то встал за спиной на лыжню, но сосед, извернувшись, обманул непонятого преследователя, выскочив с двустволкой наперевес из-за дерева.

— И кто, ты думаешь, оказался? Васька! Васька-грузовик, чтоб его! Я ж тебя чуть не застрелил, говорю. А он моргает и оправдывается. — Дядя Петя, я ничего такого не хотел....

— Пойду, ладно, — посидев, заявляет Мишка.

Дядя Петя кивает и показывает на сковородку с кусками мяса:

— Попробуй, медвежье...

Тянется и наливает самогонку:

— Прими, сам делал.

Мишка бежит домой, а дома тепло, на душе комфортно, садится на полено около своей печки, приоткрывает дверцу и смотрит на огонь.

— Завтра баня, — думает.

* * *

Пришло очередное пополнение лейтенантов. Вообще в посёлке часто появлялись новые люди — то

какая-нибудь перепуганная девочка приезжала работать медсестрой, или важно держащийся пацан из далёкого Ставрополя вдруг становился инженером по технике безопасности. Хотя какая тут к чертям безопасность! А уж лейтенантов властям присылать сам Бог велел. У одного из них, родом из Львова, была очень красивая жена, статная, высокая, со всем, привораживающим внимание, избыточно женским. Как-то Мишка случайно поймал её взгляд — она смотрела так презрительно, что он сразу ощутил свою вытертую шубу, выбившийся шарф, на ногах не шикарные унты, а простые валенки. Стало неловко не только за бедную одежду, но и вообще за свою невидную фигуру, торчащие во все стороны волосы. А перед одной из еженедельных политинформаций, когда все привычно собрались в холодном бревенчатом клубе с полустёртыми агитками на стенах, к нему неожиданно подошёл её муж, Юрием его звали.

— Ты откуда?

— Из Питера.

— Да? И что, неужели там все такие?

— Какие? — Мишка не понял.

Львовянин, голубоглазый, румяный, подмигнул и рассмеялся — на щеках обозначились ямочки:

— Абрамовичи.

Мишка оторопел.

— Абхамовичи... — издеваясь, ещё раз проговорил львовянин и улыбнулся победительной злой улыбкой.

— Ну, сели, сели! Работать надо! — раздался недовольный голос начальника штаба. — Владимир Михайлович, прошу вас, начинайте...

Львовянин прошёл вперёд.

— Как вы знаете... — политрук прокашлялся и повысил голос. — Ну, хватит там! Да, так вот, товарищ

Андропов ужесточил меры по наведению порядка в стране. Ох, давно мы этого ждали! В свете настоящего постановления я доложу новые инструкции...

К этому моменту Мишка жил в посёлке уже года полтора. Жил достаточно спокойно, если можно назвать спокойной жизнь рядом с зоной. Его никто не трогал. Может потому, что работал в медчасти, но скорее из-за ровного дружелюбного характера. И вот, расслабился. Уж слишком давно, так получилось, не слышал гадостей.

«А теперь, — Мишка понуро рассматривал свои валенки, — выходит так, что спокойной жизни наступил конец. Придётся драться. Драться со здоровенным, почти на две головы выше, парнем, явно выбравшим его в качестве развлечения и не собирающимся оставлять в покое. Обратного хода нет. В этом жестоким краю, если дашь слабину, не простят. А то что, до сих пор не трогали, просто стечение обстоятельств».

Мишка вздохнул — ему не хотелось драться. Ему очень не хотелось драться. Тем более, что возможности победить он не видел. Эх, если бы Мишка был таким, как белобрысый Паша — бац, бац, и пошёл! От всего этого Мишке стало так обидно, что он разозлился.

«Я ему покажу!» — решил.

Политинформация закончилась, Мишка вышел одним из первых. Пока сидели, снаружи совсем рассветело и в морозной дымке над лесом угадывалось солнце. Мишка решительно развернулся и вместо того, чтобы пойти на работу, отправился домой. Прошлым летом он установил около сарая доску, прикрепил к ней на уровне своего роста старые газеты и месяца четыре долбал по ним кулаками, пока не надоело. Теперь же к доске была привязана бельевая верёвка. Мишка мрачно снял с неё окончательно заду-

бевшую простыню, открепил верёвку, сбросил шубу и ударил кулаком по газетам, сразу же повредив кожу на костяшках.

— Опять начал? — поинтересовались сзади.

Мишка обернулся:

— Привет, дядя Петя!

Тот вытащил беломорину, шумно продул, сунул в рот, запалил.

— Машешь? — сказал осуждающе. — Когда ножом надо... — прислушался. — Собака всю ночь что-то скулила, а сейчас молчит.

— Точно.

— И еду не тронула. Вот я и думаю, не чумка ли?

— Жалко, если так.

— Жалко, — согласился дядя Петя. — Молодая.

Пристрелить придётся.

Он ещё немного постоял, сощурившись, посмотрел на небо:

— Холодно будет.

Пошёл к себе. Мишка подышал в ладони, чуть размялся, ударил.

— Вот так! — сказал сам себе. — Пусть попробует.

Всю неделю он старался не появляться в посёлке, даже на работу ходил с осторожностью — готовился драться. И вот, наступил день политинформации. Мишка, надев тройную пару носков, сменил валенки на ботинки и направился в клуб. Опять морозило, и этим морозом ощутимо пробивало смешную для этих мест обувь. К тому же ботинки ещё и скользили.

«Ну, ничего, — думал Мишка, — как ударю...»

До политинформации оставалось несколько минут, Мишка остановился около курящих.

— Эй, медчасть! — к нему подходил Васька-грузовик. — Кого трахаем?

— Печку... — мрачно ответил Мишка. — Задолбал

ты вконец! Больше ничего спросить не можешь? Вечно одно и то же...

И краем глаза заметил, как из клуба вышел его розовощёкий враг. Подошёл к другому лейтенанту, обычно нелюдимому и молчаливому. Улыбаясь, закурил. Что-то стал тому говорить, кривя рот. И вдруг этот лейтенант, тоже высокий и крупный, резко толкнул львовянина. Львовянин шатнулся и, встав в стойку, замолотил руками.

— Боксёр, что ли? — дошло до Мишки.

— А ну хватит там! — рявкнул подошедший начальник штаба. — Иван! Юрий! Быстро, я сказал! Разошлись! Ну?!

— Слушаюсь! — Юрий, отступив, молодцевато улыбнулся.

Нагнулся, поднял фуражку. Отряхнул её и чуть ли не кокетливо, явно чувствуя себя героем, надел.

И вдруг получил сокрушительный удар от Ивана прямо в улыбающийся рот. Повалился, сполз по стенке.

— Сто-ять! — начштаба, сам не обиженный здоровьем, дёрнул Ивана назад. — Держите его!

Два офицера схватили рвущегося к противнику Ивана под руки, оттащили, увели в клуб. Начальник штаба задумчиво посмотрел на поверженного львовянина:

— Вставай, чего разлётся? Пора начинать. А ты, скотина, почему не на вывозке? — увидел Ваську.

— Выходной.

— Выходной? Ну и пошёл отсюда!

— Да, начальник! — Васька торопливо отступил. — Покедова, медчасть!

Начальник штаба хмуро взглянул на Мишку:

— Ты что со всякой швалью общаешься?

Вбежал по крыльцу.

После политинформации Иван опять сцепился с Юрием. Чем там закончилось, Мишка смотреть уже не стал, побежал сменить ботинки. Переоделся дома, проскрипел валенками в медчасть.

«Надо же, как получилось...»

— Александр Терентьевич, что у нас сегодня?

Александр Терентьевич, небольшой старичок в белом халате, грел руки на батарее.

— Как обычно, Михаил Давыдович, как обычно... Чайку может?

— Что-то не хочется.

— Как знаете, коллега... как знаете... Кстати, у нас опять проверка.

— Спирта хватит?

— Есть запас. Вы слышали, будет новый начальник медотдела?

— Нет, а кто он?

— Полковник.

За окном пошёл снег, всё гуще, гуще...

— Наконец потеплеет...

— Забавная вещица, Михаил Давыдович! — Терентьевич достал какую-то книжку без обложки. — Хотите почитать? Наш санитар в зоне дал.

— Здорово! — Мишка протянул руку. — Как раз на вечер будет.

В дверь постучали, и фельдшер Валера, в виде исключения не совсем пьяный, просунул голову внутрь.

— Терентьич! — сказал хриплым басом. — У меня спирт кончился. Нечем раны обрабатывать.

— Возьмите йод, дружок... Прекрасно обеззараживает.

Валера растерянно подёргал свою татарскую бородку:

— А спирт?

— После шестнадцатого декабря. Вот проверку пройдем, а там посмотрим.

Вечером Мишка удобно устроился в кровати, прочитал несколько страниц, озадаченно пролистал вперёд, опять прочитал и удивился в голос:

— Что за мазохизм такой?

Во всей книжке не было ничего, кроме трапез молодого польского пана. Пан бесхитростно радовался жизни, целыми днями разъезжая по гостям и вкушая всякие вкусности. Восемнадцатая перемена, панове!!! И панове наворачивали. А когда какие-нибудь рябчики в вине или перепела в клюквенном соусе в животиках уже не уместались, панове выходили наружу и катались на специальном бревне, уминая съеденное.

Мишка тяжело вздохнул и посмотрел в сторону сковородки. Но на ней, кроме недоеденных картошин, ничего интересного не просматривалось.

— Действительно, забавно! — пробормотал и, длинно потянувшись, выключил свет.

Утром около штаба опять драка. И на следующий день в магазине. Ещё день — у школы. Иван как обезумел. Бил, бил и бил. Казалось, им овладела только одна мысль — покалечить, сломать противника. И это случилось. Юрий, вначале ещё бывало побеждавший, не выдержал — начал прятаться. С его лица слетел румянец, в глазах поселилось затравленное выражение. Жена, когда-то ходившая павой, ощутимо ссутулилась, старалась меньше появляться на людях. А один раз Мишка видел, как политрук, не обращая внимания на мужа, смеясь и что-то спрашивая, снисходительно похлопывал её по заду.

Тем временем состоялась долгожданная проверка. Для знакомства к ним со свитой самолично пожаловал новый начальник медотдела — плотный, небольшого роста, с цепкими навывкате глазами. Александр Терентьевич, боящийся всякого начальства, в новом, хрустящем от крахмала халате и высоком, похожем

на поварской, сваливавшемся ему на глаза, колпаке, суетливо принимал гостей в мундирах.

— Терентьевич, — шепнул ему Мишка, — а давайте мы ему нашу книжку почитать дадим?

— Да что ты! — замахал руками старик. — Не шути даже!

Но несмотря на страхи, всё прошло не так уж плохо. Чин чином посмотрели, акт написали, спирт выпили. Полковник и с Мишкой успел поговорить. Задал несколько незначущих вопросов. Конечно, медчасть оказалась не без отдельных недостатков, но где их нет.

После отъезда комиссии приободрённый Александр Терентьевич распределил жалкие остатки горючего вещества и спрятал представительский колпак до лучших времён. А ещё через время поползли слухи, что Михаила Давыдовича прочат начальником вместо вконец спившегося алкоголика в Микуне. Странно это было, вроде никто никому ничего, а все в курсе. Мишку уважительно по плечу хлопают, подмигивают.

— Да не хочу я! — отбивался Мишка. — Да и откуда вы знаете? Вам, лично вам кто-нибудь говорил? Вот!

— Терентьич, а вы что думаете? — обратился к старику.

— Понимаете, Михаил Давыдович, — осторожно произнёс тот, — можно, конечно, отказаться, но вам больше никогда не предложат такую должность. Никогда.

— Да и не надо! — легкомысленно ответил Мишка. Терентьевич вздохнул.

В одну из своих поездок в райцентр Мишка должен был по работе побывать в медотделе. Получая там какую-то справку, он, неожиданно для себя, неловко потоптавшись, вдруг заявил полковнику:

— Олег Семёнович, тут такое дело. Не смогу я. Закончится срок работы, домой поеду. Извините.

Олег Семёнович, ничего не отвечая, прищурил глаза, и по этому молчаливому злему прищуру Мишка вдруг понял, что приобрёл себе врага на всё оставшееся здесь время.

Ну и что? Ну и плевать! Ведь какие наши годы? Тем более, что всё впереди. Выйдя из медотдела, Мишка купил шесть бутылок водки — именно столько влезало в дипломат, и поехал в свой посёлок. Местный поезд как всегда шёл так долго и нудно, что единственное спасение открыть дипломат, распечатать бутылку, нарезать колбаску и вздрогнуть за хороших людей и порядок в отечестве. Да ты не один такой, пьют все — офицеры и прапора, водители и строители, отсидевшие и не сидевшие.

Разгорячённый Мишка вывалился на своей станции. При этом мир за пределами поезда оказался несколько скособочен. Мишка помотал головой, поскользнулся и, замахав руками, упал.

— Надо же... — произнёс глубокомысленно.

Малость полежал, собираясь с силами, поднялся. Мир закачался перед глазами, но потом всё-таки приобрёл устойчивость. Опасливо, чтобы опять не поскользнуться, Мишка пошёл к трапу, ведущему в посёлок. Впереди него чернели фигуры. Мишка подошёл ближе:

— Паша, привет! Васька, и ты тут!

— Тут, тут... ухмыльнулся Васька, перекатывая папиросу во рту.

— А это...

Мишка стал трезветь.

Рядом с трапом в снегу барахтался Юрий.

— Что, сука, ссышь? — тянул звероватый Паша. —

Или не ссышь? Ну, вставай, вставай, я тебе ща вставлю...

— Ах ты, девочка! — хохотнул Васька.

— Мужики, вы что!!! Оставьте!

Павел повернулся:

— А-а-а, медчасть... Ты что, медчасть, мы шутим. Да кто его трогал? Не трогали тебя, точно? Точно говорю? Вот-вот...

— Шутим, шутим! — хохотнул Васька. — Трахнул кого в Микуне, док?

— Если скажешь кому, медчасть... — Глаза Павла заледенели.

— Да нет.

— Вот и ладненько.

Цыкнул сквозь зубы, и они с Васькой вразвалочку пошли вперёд. Юрий, похожий в своей шинели на огромного жука, выбрался на трап.

— Ты что им позволяешь? — Мишка взглянул и замолчал.

Юрия колотила дрожь, на скуле оплыл давний синяк, губы были разбиты, в глазах метался какой-то дикий страх, казалось, он не в себе.

— Что я им сделал? — крикнул он. — Что я им всем сделал!!

— Успокойся... — Мишка неловко похлопал Юрия по плечу.

— Когда я приехал, один ты отнёсся ко мне как к человеку, я помню — один ты! — Юрий закрыл лицо руками. — Что делать? Что мне делать?!!

— Уезжай! Переведись куда-нибудь. Что угодно, но только уезжай!

* * *

Промчались, рассыпались снегом три года. Как положено отработав, не жарким комариным летом

Мишка с полным правом поднялся с чемоданом в поезд «Воркута — Ленинград» и поехал, поехал, поехал...

Терентьевич оказался прав — никогда в жизни ему больше не предложили быть начальником. Но он не жалел. Да и о чём жалеть — всё изменилось, страна изменилась. Но в последнее время Михаил Давыдович всё чаще вспоминал эти края. Ведь люди, с которыми он работал, по-прежнему там. А куда им деваться? Деньги, что они откладывали, пошли на ветер, возвращаться некуда.

«По тундре, по железной дороге мчится поезд курьерский "Воркута — Ленинград"». Останавливается на безлюдной станции, где у перрона, так и не сумев вырваться, навечно застыла расстрелянная машина. И, помедлив минуты две, провожаемый зелёными огнями, спешит дальше. Железнодорожник, кутаясь в тулуп, уходит к своему дому. Снег, тишина, мороз. Под снегом машина совсем проржавела.

Виталий ЛОЗОВИЧ

(г. Воркута, РФ)

Голубой лёд Хальмер-То¹

(Сокращенный вариант)

Жила-была у Пашки Стрельнова во дворе огромная рыжая псина дамского полу. Жила да жила, как вдруг в один осенний день замотала мордой ночью в ошейнике, задёргалась вся так, что будку сдвинула десятипудовую, да и выскочила прочь... Видели в посёлке, как эта рыжая псина бежала рядом с волком. Причём не просто бежала, а заигрывала с ним так, как может только сука последняя и заигрывать с кобелём. Такое происходит, когда волчья порода испытывает трудности в потомстве, когда в округе остаются лишь волки-одиночки.

А месяца через три собака вернулась и очень быстро родила одного щенка. Когда Пашка Стрельнов щенка увидел, то с губ сорвалось:

— Волк... мать твою, волк!

Волк и в самом деле был волк, точнее волчица — серая, зубатая, кусачая, морда узкая, глаза умные, хвост паскудный, смотреть тошно.

Но росла волчица очень ласковой, верной, можно даже сказать приставучей собакой. Без Пашки никуда

© Виталий Лозович, 2020

¹ Хальмер (ненецкий) — покойник, умерший человек;

То (ненецкий) — озеро.

Хальмер-То — озеро мёртвых.

не ходила, жила на крыльце, на будку смотрела с презрением. Однажды, когда «девочке» уже был год и по волчьим законам это был переярок, Пашка попытался одеть на неё ошейник с поводком, чтобы сходить в районный центр. Машка — так называли щенка — дважды куснула поводок, и тот лопнул на две части. Потом полезла мордой между колен хозяина ласкаться, чтоб погладил.

К февралю Машка исчезла. Пашка погоревал да и успокоился, поминая, что всё же Машка не собака, а полуволчица. А к лету она вдруг вернулась, да не просто, а с двумя щенками. Один — абсолютно серый как мать, а второй с яркой подпалиной на шее и груди. Пашка и не удивился, и не забеспокоился.

«Собаки всё же в них больше, — решил он, — раз домой тянет».

Прожила Машка со своими щенками у Стрельных до осени. Питалась как обычная собака, щенков к той же пище приучала. Щенки не тявкали, воду не лакали, а тянули сквозь зубы, которые показывали всему двору ежедневно, так ни с кем и не сдружившись. Регулярно заходили в тёплый сарай, который Пашка называл загоном и где у него держались овцы, гуси, куры и две свиньи, там нюхали осторожно воздух.

А по первому снегу возле посёлка слышали волчий вой, и той же ночью пропала и Машка, и её подросшие щенки. Пашка подумал — а следует ли вообще связываться с полукровками, да и завёл себе дворнягу.

* * *

Прошло три года. Жизнь текла себе обычно. Днём Пашка работал в сельском хозяйстве на своём бульдозере, в выходные мотался на старенькой «Ниве» по

лесотундре за глухарями да гусями. Охота была для Пашки чем-то вроде отдушины от жизненных тягот.

Зимой третьего года вдруг опять зачастили волки.

В марте в загоне Пашки пропала овца. Пса утром нашли нетронутым, но полуживым от страха. Он забился к себе в будку и так в ней весь день и просидел, даже не вышел к миске с едой.

Волки.

Первое, что делает в таком положении хозяин — ставит капканы. Пашка и поставил. Капканы простояли три дня. Три дня Пашка спал тревожным сном, вскакивая при каждом шорохе снаружи. На четвёртый пропала ещё одна овца. Капканы остались нетронутыми, собака опять засела в будке прочно, снова на весь день.

Всё утро Пашка потратил на то, чтобы понять — сколько волков приходило в его двор? Спрашивал у соседей — были ли у них сегодняшней ночью гости? Гостей, оказалось, ни у кого не было. А три дня назад? И три дня назад всё было тихо. Как извели прошлый раз волков, так и, слава богу, всё спокойно.

Стрельнов задумался. Что же это получается? Вроде не на краю посёлка живёт. Нет, не по этой причине хищники выбрали его двор. А по какой тогда? Осмотрел калитку в заборе, сделал над ней высокую надстройку по уровень и два дня жил спокойно. А на третий начал караулить. Пару ночей никого не было, и он уж хотел было бросить это глупое занятие: сидеть перед дверью с крошечным окошком да просматривать двор на предмет появления никем не виденных хищников. Может, это и не волки вовсе? А кто еще? Кто может унести крупную овцу, да ещё так сильно напугать собаку? И сделать всё настолько тихо и аккуратно, что и соседи ничего не слышали? Только волки.

Через сутки во дворе вначале глухо зарычала собака, она не гавкала, а просто рычала так, как может рычать напуганное животное, не защищающее двор и территорию, а лишь пытающееся защитить себя. Пашка стряхнул с себя вялый сон, проверил оружие, осторожно выглянул во двор через окошко, никого не увидел. Тогда двери тихонько открыл... двери скрипнули...

Стрельнов рванулся к загону. Пролезть в загон в сущности можно было лишь со стороны входа, здесь дверь была не очень хорошо подогнана, и между ней и землёй находился широкий лаз. Но лаз этот всегда зимой очень прочно заметался снегом, дверца отворялась внутрь. Там, где можно было подкопаться волку, оказалось совершенно чисто, нетронуто, снег белый, мартовский, чуть севший.

Пашка двинул ногой по засову, толкнул ногой двери... Тихо. В загоне гоготали гуси и кудахтали перепуганные курицы, овцы сбились в кучу, стояли глупо и беспомощно. Пашка включил свет... Посмотрел влево, вправо... И представилась его взору картина, от которой он даже оторопел. Прямо перед ним, там, где сидели гуси, стояла огромная собака серой масти с рыжей шеей и рыжей грудью. В пасти у неё уже висел задавленный гусь, у которого ещё чуть-чуть трепыхались крылья. Похоже, на овцу он просто не успел. Собака была бы собакой, но когда глаза их встретились, Пашка сразу понял — волк! И не просто волк, это же... это же... щенок Машки! Тот самый рыжий!.. И подпалины на шее и груди — один в один! Всё в детстве загон этот обнюхивал, как запас себе на жизнь делал! Ах, скотина! Гнев настолько охватил Пашку, что он даже про ружьё забыл, хотел за вилы от злости схватиться, так — по-крестьянски.

Волк с гусем в зубах легко перемахнул перегород-

ку, отделявшую птицу, в два прыжка подлетел к Пашке и, прыгнув ему прямо в лицо, повалил человека на землю. Пашка быстро перевернулся, но пока ружьё поднимал, увидел, как рыжий с лёгкостью кошки, что запрыгивает на табуретку, перемахнул двухметровый забор и ушёл восвояси.

— Сволочь! — бросил Пашка ему на прощание, поднялся, ружьё бесполезное подобрал и пошёл домой.

Дома долго сидел в кухне, думал о том, как его ловко провели, и ругался тихонько, стараясь не разбудить своих.

Утром Наталья поинтересовалась, как дела у сторожа? Спросила мило так, с лёгким женским смешком в голосе, как бывает разговаривают с мужьями супруги, когда им весело и смешно, но мужа обидеть не хотят.

— Представляешь, — серьёзно ответил Пашка за завтраком, — это тот... волк...

— Какой тот? — уже испуганно переспросила жена.

— Тот щенок Машки... с рыжей грудью. Он... он гуся сегодня утащил, скоро вернётся. Гусь ему что — на пару дней не хватит. — Пашка встал из-за стола и пошёл прочь из дома.

— Может, в стаю уйдёт? — уже в спину спросила супруга.

Пашка остановился, повернулся к Наталье, лицо его от удивления стало вытягиваться.

— В стаю?.. А и вправду?.. — оторопел он. — Почему в стаю не ушёл? А может, наоборот? — он даже голову склонил набок от пришедшей мысли. — Выгнали из стаи, он и повадился?

С этого утра Пашка задумался — как выманить на себя зверя и застрелить? Даже прикинул, не спать ли

каждую ночь в загоне? С ружьём в обнимку вместо жены. Но спать с ружьём в загоне не стал. Вначале решил походить, благо была суббота, по знакомым старым охотникам, поспрашивать, как бороться со зверем? Волк мог пройти по лесотундре за день сотню километров, здесь надо хотя бы мотосани иметь, какой-нибудь «Буран», а у Пашки, кроме старенькой «Нивы», ничего не было. Помотался по охотникам, посидел дома, на капканы вновь поглядывая, да и отправился в лес, далеко, где сейчас стояли стойбищем ненцы. Ненцы так и назывались — лесные. Оленей они пасли в лесотундре, заходя глубоко на юг в суровые зимы, о волках, конечно, знали много больше, нежели кто другой. Сейчас ненцы стояли совсем рядом, потому подъехать к ним было совсем просто.

В стойбище Стрельнов знал пару человек, встречались на рыбалке, не раз помогал им сети тянуть, потому обратился к ним за помощью. Парни выслушали, привели какого-то старого деда, что Пашку удивило — чисто выбритого. Дед по-русски не говорил совсем, приходилось переводить. Услышав, что хочет «белый» человек, старый ненец улыбнулся, сказал что-то на своём, Пашке перевели:

— Говорит, что просто так волка не возьмёшь, выследить не сможешь, умный зверь... самый умный зверь. К нам не ходит, давно не ходит. А что за рыжего волка, так видели его наши мальчишки прошлой зимой на озере... За лесом лежит озеро Хальмер-То, но ходить туда не надо. Он там прячется, значит, знает что-то. Озеро плохое, поганое, вода идёт как в реке, промоин много... Жди его, когда он с озера пойдёт в посёлок. Там жди. На озеро не ходи, нельзя тебе туда.

Сказав такую речь, старый дед удалился. Ненцы, что переводили, кивнули ему и тоже сказали:

— Не ходи, Паша, на Хальмер, плохое озеро, пога-

ное, лёд голубой, значит вода рядом... промоин много...

Пашка плюнул на всё, тут же съездил домой, взял пару капканов, приманку и поехал на Хальмер-То. Остановиться пришлось метров за триста. Прошёл пешком по крепкому насту почти до берега озера, вбил железные колья в глубокий снег и привязал к ним капканы. Правда говорят, что волк не сидит в капкане, отгрызает себе лапу... ну да посмотрим.

Следов волчьих на озере он не обнаружил. Возле южной стороны озера росли немногочисленные слабоствольные берёзки. Ненцы говорили — где-то здесь у них есть родовое захоронение, потому ходить сюда просто так нельзя... святое место, что ли? Ну да он же не просто так? Он по делу. Пашка достал бинокль и стал осматривать местность более внимательно, но сколько не вглядывался через мощную оптику, ничего не увидел. Озеро было чистым, пустым и голубым. Светило яркое, уже пригревающее мартовское солнце, и озеро под ним просто сверкало. По льду, где снег не мог зацепиться за лёд, шла ослепительная, сияющая в голубом обрамлении солнечная «дорожка». Что бы там ни говорили ненцы, но лёд на озере был такой, что можно было по нему на тракторе прокатиться. Может когда-то, в какой-то тёплый год и в самом деле лёд был слабый, но сейчас!.. Впрочем, что ему лёд? Ему волк этот нужен поганый.

Этой же ночью дома, когда Пашка уже немного успокоился, во сне услышал жалобное блеяние овец. Вскочил, перепугал жену, едва не голым выскочил во двор, потом впопыхах вернулся, схватил ружьё, вновь выскочил во двор и... увидел серую волчью спину с овцой сверху, перемахивающую двухметровый забор. В бессильной злобе саданул сразу с обоих стволов куда-то в темноту... Посёлок сотрясло два взрыва.

Залаяли собаки. Где-то послышалась грубая мужская речь. Пашка вернулся в дом, швырнул ружьё на пол, сел на табуретку и закрыл лицо руками. Сил не было. Злоба душила. «Рыжий» опять оказался умнее.

Так началось воскресенье.

Весь день Пашка под усмешки прохожих, под сальности соседей пытался намотать колючую проволоку на забор сверху... Прямо по всему периметру. Получилось неплохо, даже прочно. Только калитка с её искусственным наращением до высоты забора осталась нетронутой — не нашлось места, где можно было бы проволоку эту прикрепить. Ну да что такое калитка в метр шириной, когда десять соток двора огорожены?..

Весь оставшийся март Пашка спал спокойно. И даже стал забывать про свои неудачи; собрал капканы, что стали проявляться из-под таявшего снега. Ружьё запрятал в железный шкаф, возил сына Сашку на озеро Хальмер-То, рассказывал, как он здесь волка рыжего искал, занимался хозяйством в свободное время, даже получил премию и диплом лучшего тракториста от поселкового хозяйства. Жизнь так хорошо устраивалась, что когда в уже светлую ночь апреля в загоне возмущённо закудахтали куры, гоготнули гуси, Пашка... пока ключ от шкафа ружейного искал, пока патроны в стволы загонял, пока не понимал в тапочках ему выскакивать во двор или ботинки надеть... В общем, пока все эти «пока» шли, по двору метнулась тень... Стрельнов вырвался на воздух, ружьё уже играло в руках, но... над калиткой мелькнул серый хвост, а над серой спиной захлопали гусиные крылья... В этот раз «рыжий» прокопал лаз и попал ровно к гусям, впопыхах ухватил птицу и был таков.

В утренних сумерках Пашка просмотрел все следы. Ночью шёл слабый снег, и следы теперь хорошо

печатались на земле. Рыжий запрыгнул во двор через калитку: значит, понимал, собака, что колючка над забором — опасность, и ушёл через калитку, с-собака!.. Соседи уже начали предлагать свои мысли по поимке волка, но исподтишка посмеивались над Пашкой, повторяя, ой, мстит он тебе, Стрельнов, ой, мстит за что-то! Может, щенком кормил мало? А может, нечего было этой Машкой, матерью его, хвастать по всему посёлку? А то ходил тут гоголем — вона, мол, волчара у меня живёт, типа кошки там... ага. Пашка кулаки сжимал — да убить, убить эту тварь!

В выходной рано утром возле двора Стрельновых проезжал на мотосанях «Буран» друг по гаражу Колька Сокол, стукнул Пашке в калитку, потом долго звонил в звонок, наконец, разбудил, и когда тот, в одном трико дрожа от холода, выскочил из дома, быстро сказал:

— Видел я твоего волка, только что... на Хальмер-То сидит, просто сидит. Я в бинокль глянул, шея рыжая. Сидит на берегу и всё. Один. Точно он!

Пашку как пружиной подбросило! Рванулся в дом, наспех оделся, наспех ружьё зарядил, с десяток патронов в карман бросил.

До озера домчался в час, может чуть больше. Место дикое, пустынное, никто здесь не бродил, никогда не охотился. Местные охотники соблюдали порядки ненцев: раз сказали озеро нехорошее, значит, так тому и быть.

На озеро примчался на своей «Ниве», когда солнце уже поднялось над горизонтом, голубой лёд сверкал, заснеженные берега обрамляли озеро белым воротником, на южной стороне темнели слабоствольные берёзки. Солнце пробивало сбоку их веточки насквозь, отбрасывая на яркий снег неровные серые тени. Само озеро как вытянутое зеркало — метров двести в шири-

ну, триста в длину. В озеро впадало несколько крупных ручьёв, где-то, только непонятно где, один ручей из озера выходил. Где — найти невозможно. Потом, уже в полусотне метров, как из-под земли появлялся и шёл на восток. Потому ненцы и говорили — течение там хитрое, тянет всё живое на дно.

Пошёл вдоль берега дальше. На всякий случай смотреть стал не только по кромке озера на белоснежный «воротник», но и чуть далее, где снег был темнее, где переходил в месиво дороги. И здесь, прямо возле берёзок, метрах в ста увидел волка.

Рыжий лежал под берёзой, довольно лениво развалившись под ярким апрельским солнцем. Погода стояла тёплая, волк в своей шикарной шубе вытянулся на спине, подставив под лучи брюхо. Похоже, он даже не видел охотника. Пашке удалось подойти метров на шестьдесят. Вскинул ружьё и слегка дрогнувшей рукой нажал на спуск... Ружьё ухнуло на пустынном месте гулким ударом. Волк подпрыгнул, увидел человека и побежал прочь. Бежал лениво, словно знал, что ружьё не может принести ему никакого вреда.

Зверь шёл вдоль перелеска южной стороной, причём шёл так, словно ленился бежать, и Пашку это совсем удивило. Волк уходил, оборачиваясь, поглядывая, догоняет его Пашка или нет. Пашка на всякий случай саданул ещё раз — со второго ствола. Картечь легла где-то сбоку от зверя.

Волк прошёл южным берегом озера и, очевидно, хотел уйти в лесотундру. И здесь со стороны райцентра — далеко, очень далеко, натужно ревя мотором, пошёл в посёлок тяжёлый «Урал». «Урал» возил в посёлок солярку для дизель-генератора. Рыжий дрогнул, вновь сделал прыжок в обратном направлении, глянул ещё раз на Пашку, который почти бежал в лобом снегом и... вышел на лёд Хальмер-То.

— Ах ты, гад! — крикнул Пашка. — Думаешь, я этой басни испугаюсь? Сволочь лохматая!

С этими словами он быстро подбежал к кромке льда и уверенно пошел по голубой замёрзшей поверхности озера. Волк уходил как-то совсем трусливо. И лапами ступал, словно не по льду шёл, а по мягкому тесту. Пашка уже бежал, бежал самым настоящим образом, дыхание срывалось, горло хрипело. Ружьё прыгало в руках, он уже дважды хотел пальнуть, но решил всё же сократить расстояние до самого верного... добивать жертву для охотника всегда позорно. Волк не торопился, казалось, он всё снижает и снижает скорость, наконец, остановился, глянул перед собой, и вдруг из волчьей пасти донёлся какой-то то ли вой, то ли скулёж.... жалобно так, словно щенка испугали. Пашка бежал. Смотрел под ноги и видел лёд толщиной в метр — не меньше. До волка было уже метров пятьдесят... сорок... тридцать... Волк стоял на месте и смотрел на охотника. Двадцать...

Раздался треск, грохот, словно в хорошем лесу с двенадцатого калибра стрельнули, Пашка даже подумал, что курок у ружья сорвался... Но тут почувствовал, что летит вниз... С треском и грохотом. Падает, ноги намокают и тяжелеют, и льдина, огромная длинная льдина — совсем тонкая, не толще ладони и почему-то очень не широкая — переворачивается вместе с ним и волком...

Первое, что почувствовал после обжигающего холода воды, — сильнейший толчок в спину куда-то под лопатку, льдина треснула, переворачиваясь, кусок её ударил сзади. Хорошо в спину, а не по голове. Пашка уцепился за крепкий лёд перед собой, ружьё неведомым образом оказалось на льду прямо перед ним. Но сейчас было не до ружья. Пашка попробовал вылезти... бесполезно, ещё хуже, чем просто держаться.

Кто-то очень настойчиво и незаметно просто утягивал его под лёд, так ненавязчиво тянул туда... рядом проплыла небольшая льдинка и непонятным образом заплыла под лёд, показав Пашке, что его ожидает.

Обернулся — никого. Крикнул что-то — спасите, помогите!.. Никого. Посмотрел по сторонам — никого. Волк-то где? Неужели уже утащило под лёд? Сбоку, буквально в трех метрах и увидел рыжего. Пашка вновь заозирался, вновь что-то заорал — люди, люди, помогите! Никого. Кто-то тяжёлый и мокрый, крепкий и пахучий когтистыми лапами просто вогнал его в воду... Пашка погрузился почти по самые уши, хлебнув ртом озёрной воды — волк прыгнул на него из воды... и с этой живой платформы выскочил на свободу... Пашка ахнул от изумления — вот тварь?! Использовал его как трамплин, значит? Свинья!

Волк отряхнулся, как ни в чём не бывало, глянул назад на Пашку и побежал к южной стороне озера, к берёзкам.

— Стой! — вдруг крикнул ему Пашка. — Стой! Рыжий, как тебя?! Рыжий!!!

Волк остановился, обернулся и посмотрел на Пашку.

— Стой, — вновь попросил тот, — боже мой... ну стой же, не уходи... Ну, ты же собака... ты же... немного собака...

Волк повернулся и вдруг сел на лёд. Сидел и глядел на торчащую из воды Пашкину голову.

— Помоги, — попросил шёпотом Пашка; сил на громкие слова, на вопли уже не было, сил не было даже на шёпот, локти сползали в воду.

— Помоги, — прошептал он, словно прощаясь со светом, — помоги...

Волк встал и пошёл к Пашке. Подойдя почти вплотную, заглянул Пашке в глаза, или ему показа-

лось? Только Пашка вдруг увидел глубоко не волчьи, а чисто собачьи глаза, они смотрели на него как-то сочувственно, будто понимали, что творится сейчас, и что может произойти.

— Помо... помоги... — шепнул Пашка прямо туда, в эти собачьи глаза.

Пашка не знал, как волк мог ему помочь, но был согласен, чтобы его сейчас просто как щенка взяли за холку и вытащили на крепкий лёд; был согласен чтобы волк схватил его за руку и откусил эту руку, но лишь бы вытащил на крепкий лёд... был согласен на всё, на всё, но что мог сделать волк?..

Рыжий подошёл к ружью, понюхал и мотнул мордой, потом как-то очень осторожно, как хищник в цирке берёт пищу изо рта дрессировщика, взял своими страшными зубами приклад, раздался хруст дерева...

— Да, да, — шептал Пашка бессознательно, — я понял, я понял...

Он ухватился за ремень оружия. Волк поднял ружьё легко, словно оно ничего и не весило, поднял зубами оружие, из которого его только что хотели убить и стал пятиться назад. Пашке резануло в мозгу — это последний шанс! Он бросил держаться за лёд и обеими руками негнуцимися пальцами схватился за ремень ружья. Если волк сейчас выпустит приклад из зубов, его сразу утянет под лёд, если волк случайно выпустит приклад из зубов, его сразу затащит под лёд, если... если... если...

Рыжий пошёл назад. Шёл вначале легко, вытянув Пашку почти по пояс, потом видно было, что лапы его заскользили, в лёд вонзились волчьи когти, зверь хрипнул, мотнул мордой и резко рванулся назад, пытаясь от смертельной ловушки. Пашка не мог двигаться, он даже не мог ничем помочь этому зверю. Одно

его беспомощное движение, и всё может рухнуть в секунду. Пашка смотрел зверю в глаза, зверь смотрел на него, понимая, что ещё не до конца вытащил человека на свободу. Наконец ноги Пашки вышли из озера, и он просто лёг на ледяную поверхность.

Он лежал на животе, повернув голову набок. Двигаться не мог, дышать не мог, тело жгло холодом, но Пашка холода не чувствовал, он лежал и смотрел на зверя, в руках был ремень от заряженного ружья... Волк осторожно опустил ружьё на лёд. Между ними было... метр, не больше. И хищник мог в две секунды зарезать человека. Пашка смотрел рыжему в глаза и видел ответный взгляд.

— Ты всё же не совсем волк, — прошептал он.

Рыжий постоял ещё секунду, повернулся и, всё так же осторожно «труся», побежал прочь с озера, миновал перелесок из берёзок и ушёл в лесотундру...

Потом был обморок. Потом воспаление лёгких. А Рыжего больше никто не видел. Может, в стаю ушёл или нашел новую?

Мурат БРАТОВ
(г. Черкесск, РФ)

Ангел

Рассказ

Всем народом отправляли сироту Васеньку в горы на учёбу к орлам. Он осмотрел понурых, неприветливых людей и, сожалея, что нет девушки, которая бы ждала его внизу, не оборачиваясь, начал подниматься в гору. Безмолвный народ стоял и глазел, пока он не потерялся в нависших на гору, словно брови нахмурившегося старика, облаках.

— Ничего интересного там нет! Болваны вы все! — сказал один из толпы с глазами цвета сопель, громко шмыгая носом, и первым поплёлся домой.

— Злой ты, Туркли, — вслед ему крикнул Федот, но тот даже не обернулся.

— Может, чему-нибудь научится и нас научит, — добавил Патрокло с надеждой в голосе.

— Ага, научится высиживать яйца, — не удержался балагур Иннокентий, друг Васеньки, но никто не рассмеялся, и хмурые люди стали разбредаться по домам. Только конопатая Клава, до этого прятавшаяся под елью, вышла из укрытия, высморкалась и помахала вслед Васеньке красным платочком, который приготовила заранее.

Долго не появлялся Васенька, и его стали уж забывать. Но однажды, в позднее зимнее утро, пышущее примерной свежестью, Васенька прилетел. Прилетел на своих крыльях. Все подумали сначала, что это ангел спускается с небес. Но когда белое существо наконец приземлилось перед толпой у продмага, Иннокентий завопил:

— Неужто Васька!

Толпа, опешив, разглядывала ангела в лице Васеньки. А тот улыбался безбрежной улыбкой вполне счастливого человека.

— Что за хрень? — спросил Джон.

— Да Васька же! — крикнул Иннокентий и бросился обнимать друга. Затем отстранившись, спросил:

— Что это ты нацепил на спину?

— Это крылья! — ответил вполне серьезно Васенька.

— Настоящие, что ли? — опять спросил Иннокентий, от растерянности запямятовав, что тот только что спустился с неба.

— Конечно, — не без гордости подтвердил Васенька.

Иннокентий, ещё больше отодвинувшись, разглядывал его безупречно белые штаны и носки:

— А почему без обуви?

— Так я же летаю, а не хожу.

— Всё равно, они же белые, — сердобольный Иннокентий стянул с себя, обнажив дырявые носки, солдатские сапоги и протянул другу.

— А как же ты? — озадаченно, спросил тот.

— А сейчас Моника мне что-нибудь принесёт, — ответил Иннокентий, увидев, как Богдэн побежал в сторону его двора.

Чтобы не обидеть друга, Васенька взял сапоги и обулся.

— Прикрой голое пузо, срамец, — вылетел звонкий голос Туркли из толпы.

— Да подожди ты, — прикрикнул на него Патрокло, ожидавший, что будет большая пьянка.

Подошедший сзади Туркли вырвал у Васеньки из крыла пёрышко.

— Ой! — вскрикнул тот.

— И вправду! — изумлённо разглядывал выхваченное из рук Туркли перо Джон.

— Ну, конечно, он же только что спустился с неба, — вставил Иннокентий.

— А как же ты сумел их отрастить? — поинтересовался самый любопытный из окружившей его толпы.

— А они у меня сами выросли.

— Во даёт! — воскликнул Иннокентий.

По улице бежала с развевающимся красным платком Клава. Все молча посмотрели в её сторону.

— Она тебя ждала, — прошептал Васеньке Иннокентий.

— Ждала, — подтвердил, жадно ухмыляясь, Туркли.

— Ждала? — удивился Васенька.

Толпа расступилась.

— Здравствуй, Клава! — произнёс стусевавшийся Васенька.

Иннокентий подтолкнул его, и тот, подойдя к девушке, неуклюже обнял.

— Я знала, что ты вернёшься, — тихо произнесла Клава.

— Ну, что ребята? — в азарте закричал Патрокло. — У нас сегодня праздник, али как?

— Это надо отметить, — радостно и единогласно согласилась толпа.

Появилась жена Иннокентия Моника с парой сапог.

— Здравствуй, Вася, — сказала она таким тоном, будто они только вчера расстались, и протянула мужу сапоги: — Простудишься.

Иннокентий обулся и оглядел окружающих:

— Ну, что?

— Скидывайтесь, у кого сколько, — предложил Патрокло и пошёл по кругу с шапкой в руках.

— Кто не добавляет, тот не пьёт, — во всеуслышание объявил Туркли и, демонстративно порывшись за пазухой, кинул в шапку несколько купюр.

Вскоре толпа разделилась на две части: те, у которых нашлись деньги, и те, у кого их не было. Неимущая группа отделилась и угрюмо следила за счастливыми. Наконец Патрокло пересчитал наличность, и они двинулись к продмагу. На пороге магазина толпу встретила продавщица Дульсенея, которую выгнало на улицу любопытство. Когда люди приблизились, она, вглядываясь в полуголового мужика, спросила:

— А это что за клоунада?

— Присоединяйся, будешь клоунихой, — пошутил Иннокентий.

Но Дульсенея, занятая пристальным разглядыванием торса Васеньки, пропустила шутку мимо ушей.

— Васька, боже мой, это ты, что ли? — театрально всплеснула она руками, узнав своего одноклассника.

— Здравствуй, Дульсенея, — явно смущенный, ответил Васенька.

Подошедшая Клава взяла его под руку.

— Давай, давай, что держишь людей на пороге? — подталкивая впереди себя Дульсенею, прошел в магазин Патрокло.

Отоварившиеся покупатели уже собирались уходить, как Дульсенея, которая всё время растерянно улыбалась бывшему однокласснику, вдруг стянула с себя телогрейку, обежав прилавок, накинула на Ва-

сеньку и проводила до крыльца магазина. Клава, немало шокированная несвойственным Дульсенею душевным порывом, проскользнула следом и встала между ею и Васенькой.

Когда компания вышла из продмага, Иннокентий предложил:

— Пожалуйте к нам в избу.

* * *

— Я долгое время жил среди людей-орлов, они ещё называют себя детьми солнца. Орлы меня многому научили, — рассказывал Васенька, разглядывая ещё не оправившиеся от растерянности лица земляков.

— А пить ты не разучился? — перебил его Патрокло и предложил тост: — Давайте за возвращение!

Выпили и закусили. Только Васенька не торопился пить. Держал в руках стакан с водкой и заглядывал в него, будто выискивая в глубокой пропасти упавшую туда маленькую золотую монетку — давно забытое удовольствие.

— Ты чего? — спросил Патрокло.

Васенька пожал плечами.

— Давай! Пей! — раздалось с разных сторон.

Он зажмурился и выпил залпом. Ему быстро протянули закуску.

Когда Васенька отдышался, Туркли нетерпеливо спросил:

— И чему же они тебя научили?

— А ты можешь, например, из простой воды сделать водку? — уповая на чудеса, перебил их снова Патрокло.

— Нет, он может из водки сделать простую воду! — вставил балагур Иннокентий. Раздался смех.

— И чему они тебя научили? — повторил вопрос Туркли.

— Они дали мне знания о совести, — перестав жевать, ответил Васенька.

Наступила тишина.

— Так они, эти люди, орлы или ангелы? — вставил свой вопрос Федот.

— Есть белые и чёрные орлы. Белые люди-орлы являются ангелами, а чёрные — агелами.

— И чему они тебя всё-таки научили? — упрямо повторил Туркли.

— Что такое мораль. Или что такое нравственность.

— Ну, просвети нас, тёмных, что же такое мораль? — не без ехидства попросил Туркли.

— Очень просто. Мораль приходит снаружи, а нравственность изнутри. Поэтому мораль — это договор между людьми, а нравственность — между человеком и Богом. Мораль имеет основу — стыд, а нравственность — совесть. Но стыд не связан с душой, это скорее обязанность, для некоторых — ноша. Если коротко, человек, который руководствуется стыдом, может зайти за угол, где его не увидят те, с которыми он заключил договор, и сотворить нечто такое, что не вписывается в этот договор. Ибо они руководствуются чужим мнением о себе, это в лучшем случае. То есть он может и не обладать стыдом, а только делать вид. Совесть же всегда с тобой, даже если ты заходишь за самый кромешный угол, ибо совесть есть стыд перед самим собой и Богом. Но это врождённое чувство. Белые орлы — существа с совестью. Чёрные им во всём подражают, перенимают и присваивают, но это не идёт им впрок, так как они остаются чёрными. Человек без совести — не человек, а только подобие его. Так считают белые орлы.

— А ты сам видел чёрных орлов? — спросил до сих пор молчавший Богдэн.

— Видел, — утвердительно ответил Вася.

— И как они выглядят? — спросил Патрокло, разливая водку.

— Обычно выглядят. Только они чёрные, и они не умеют летать.

— Не умеют? — удивился Богдэн.

— Ну, некоторые всё-таки летают, — успокоил его Васенька.

— Значит, и среди них есть хорошие? — обрадованно улыбнулся Богдэн.

— Понимаете, — сказал Васенька, — не всё однозначно. И среди белых тоже бывают делающие вид, что у них есть совесть. Правда другие белые орлы не считают их ангелами. Но и среди чёрных орлов тоже есть орлы, у которых есть совесть, и они умеют летать. Таких — единицы. Белые орлы их считают ангелами, несмотря на то, что они чёрные. Они и к обычным людям относятся точно так же: если у людей есть совесть, они считают их своими братьями и помогают обрести крылья.

— Здорово! — отозвался Богдэн.

— И ты вернулся, к нам, людям без стыда и совести, чтобы научить нас жить как должно? — вставил Туркли.

Наступила тишина.

— И всё-таки зачем ты к нам пожаловал? — не унимаясь, допытывался Туркли.

— Не пожаловал, а вернулся, — поправил Иннокентий.

— Мы же сами послали его в гору! — вставил в защиту Васеньки Патрокло.

Опять наступила неловкая тишина. Все ждали ответа.

— Я хочу вас научить летать! — наконец признался Васенька.

— Правда?! — всплеснув руками, обрадованно воскликнул Богдэн.

— Но у нас же нет крыльев, — удивился Джон.

— Так у него же тоже их не было, — вступился за Васеньку Богдэн.

— А я всю жизнь хотел летать! — мечтательно вздохнул Иннокентий.

— И как скоро ты нас научишь? — спросил Богдэн.

— Посмотрим, — ответил Васенька.

— Только ты нас первыми научи, — попросил Иннокентий.

— Ну, конечно, — ответил, радостно улыбаясь, Васенька.

— Я смотрю, вы не только летать, но и высиживать яйца готовы, — съязвил Туркли.

— Давайте за встречу! — чтобы разрядить обстановку, предложил Патрокло.

— За встречу уже пили! — огрызнулся Туркли.

— А давайте выпьем за любовь! — раздался женский голос.

Посреди избы стояли Моника и Клава. Они ещё не успели раздеться с улицы. Клава держала в руках здоровенную бутылку.

— Ого, самогон притаранили! — обрадованный Патрокло подбежал к ним, взял у Клавы бутылку и начал разливать и передавать стаканы.

— Ну, что: «За любовь?» — в виде вопроса повторила свой тост Моника.

— За любовь! — поддержали её гости.

* * *

Утром Вася проснулся с похмельной головой. Тело казалось налито свинцом, в затылке непомерным гру-

зом висела тупая боль, сердце жалобно трепыхалось в груди, даже дышать было тяжело. Рядом, уткнувшись в его плечо, лежала Клава. Васенька не мог ничего припомнить. Приподнял простыню — оба они были голые.

Усилия, затраченные на то, чтобы хоть что-то вспомнить, ещё больше ухудшили состояние. Дверь скрипнула, чуть приоткрылась, и сквозь щель послышался голос Иннокентия:

— Васька, ты спишь?

— Нет, — с трудом выговорил Васенька.

— Давай выходи, — позвал Иннокентий.

Высвободив руку, затем крыло, Васенька натянул брюки и поплёлся к Иннокентию.

Тот сидел за столом в одних полосатых, как каторжная роба, трусах. Сжавшись и обхватив себя руками, он в нетерпении поглядывал в его сторону.

— Васька, — с мольбой в голосе начал он, показывая на наполненные до краёв стаканы, — я тут налил воды. Сделай из них, пожалуйста, самогон.

Васенька опешил:

— Как это?

— Ну, ты же вчера, когда водяра и самогон закончились, воду из колодца превратил в водку.

— Не знаю, — покачал головой Вася, — никогда не пробовал.

— Как не пробовал, вчера же делал!

— Попробую.

Васенька взял стаканы в руки. Затем понюхал содержимое и, поморщившись, поставил на стол. Иннокентий тоже принюхался и обрадованно приподнял стакан:

— Ну, давай!

— Нет, не хочу, — с дрожью в голосе ответил Васенька.

— С неба упал, что ли? — протянул ему стакан

Иннокентий. — Ты что, позабыл, как надо лечиться? Сразу же полегчает.

Васенька взял стакан. Иннокентий, даже не поморщившись, выпил содержимое своего залпом.

— Не могу, — сказал Вася.

— А ты через «не могу», — с трудом выговаривая слова, настаивал Иннокентий.

Васенька зажмурился и выпил. Действительно, через минуту душевное и телесные недомогания отпустили его.

— Между первой и второй перерывчик небольшой! — сказал Иннокентий и снова налил в стаканы воду из чайника. Не успел Вася превратить воду в самогон, как дверь отворилась, и на пороге появились Патрокло с Туркли. Увидев их, Иннокентий налил ещё два стакана воды. Васенька прикоснулся по очереди ко всем стаканам.

— Ну, что стоите? — пригласил Иннокентий наблюдавших за Васенькой Туркли и Патрокло.

— А это точно водка? — спросил Патрокло.

— Нет, — ответил Иннокентий, — самогон!

— Слава богу, — обрадовался Патрокло, — а то показалось с похмелья, что мне всё это вчера почудилось.

Первым подошёл Туркли. Понюхал и выпил содержимое стакана. Остальные последовали его примеру.

Вскоре появились Моника и Клава. Их тоже усадили за стол. Клава сияла и смотрела на Васю с обожанием. Она всё время шушукалась с Моникой, которая тоже изредка с любопытством поглядывала на него.

Выпили всё, что было в чайнике. Когда появились Джон с Богдэном, Иннокентий принёс ведро колодезной воды.

Веселье было в разгаре. Клава и Моника спели озорную деревенскую песню, в котором упоминались жители соседней деревни. Все смеялись. Один только Туркли всё более мрачнел. Вскоре его потянуло на философские беседы. Улучив момент, он спросил:

— А что, по-вашему, есть человек?

— Человек — есть наполненное время, — задорно ответил ему изрядно повеселевший Васенька. — Человек рождается, чтобы стать человеком. Всё накапливается в этом мире, крупинка к крупинке: и богатство, и знание, и духовность, только жизнь расходуется. Потерянное время невозвратно.

— Давайте выпьем за это! — предложил Патрокло.

— За что? — уточнил Туркли.

— Как за что? За человека! — поднял свой стакан Патрокло.

Туркли подождал, пока выпьют все, и сказал:

— А я знаю, что такое человек!

— И что же такое человек? — полюбопытствовал Богдэн.

— Человек есть живой механизм для производства дерьма! — Туркли выдохнул и опорожнил содержимое стакана в свой широко разинутый рот.

— Ну да, потом и сам же превращается в удобрение! — пошутил Патрокло, привыкший смазывать неприятные ситуации, которые создавал Туркли.

— Злой ты! — вставил Джон.

— Правда всегда неприглядна! — огрызнулся Туркли.

— В духовном мире одно тянется к другому в силу одинаковости. Что позовёшь то и придёт, — адресуя слова Туркли, ответил Васенька. — Испытывая злость, вы приглашаете в свою жизнь зло.

— Болван ты! — разозлился Туркли.

— Он пришёл и сказал: «Выбирайте, на чьей вы стороне». И они ответили хулой. «Вы выбрали», — сказал Он, — тихо, как бы про себя произнёс Васенька и добавил: — Я тебя ни в чём не неволю. Выбираешь ты, и ты отвечаешь за свой выбор.

— Я выбираю самогон! — вставил Патрокло.

Выпили и закусили.

Богдан зашевелился, барабанил пальцами по столу, произнёс не то вопрос, не то утверждение:

— Если они ангелы, они же должны напрямую общаться с Богом.

— Они по-другому воспринимают Бога. Они считают, что Бог есть то, что соединяет этот мир и предохраняет от распада. То есть — Бог во всём! Они говорят: «Мир живое существо, ибо это тоже есть часть Бога и сам Бог. Но не обожествляй его, ибо он не есть весь Бог, а только часть его, а старайся жить с ним в мире и согласии». Ещё они говорят: «Бог есть совесть. Не имеющий её — ещё не человек, а только подобие человеческое».

— По каким заповедям они живут? — снова спросил Богдэн.

— Главная заповедь: «Возлюби в себе Бога и себя в Боге. Возлюби ближнего своего как самого себя в боге твоём, тогда и дальний приблизится к тебе, чтобы узреть твоего Бога».

— Существовать может только один реальный Бог. Этот Бог есть Смерть, — вставил Туркли, который рассматривал свою руку, державшую пустой стакан, будто сомневался в том, что это действительно его рука.

Когда к вечеру оказалось, что весь самогон в ведре уже выпит, они вышли на улицу всей толпой, и Васенька превратил дождевую воду в железном баке под сливом в самогон...

Утром Васенька опять проснулся с похмельной головой. Казалось, что душа трепыхается на тоненькой ниточке. Жажда сковала горло. Откуда-то со стороны вполне здоровый дух наблюдал за страданиями измученного тела. Но временами его сковывала тяжёлая мучительная борьба тела за свою жизнь и принимал на себя удар боли. Вдруг он почувствовал прикосновение чужого горячего тела.

«Клава», — подумал Васенька, но на своём плече увидел не рыжие Клавины, а волосы цвета спелой ржи.

Он закрыл глаза и начал вспоминать, у кого же волосы такого цвета? У Моники — осенило его. Васенька открыл глаза и посмотрел на женщину, которая лежала рядом. Сомнений не было — Моника, жена Иннокентия. Кровь прилила к лицу. Васенька перестал дышать и снова закрыл глаза. И услышал, как открывается дверь. Вошёл Иннокентий.

— Сука, что ты здесь делаешь? — по-гусиному прошипел он.

— Не кричи, — спокойно произнесла Моника.

— А ну, выползай оттуда, сука, а то прибью!

— Ты полегче, — Моника села, — я, думаешь, не знаю, что ты кувыркаешься с Клавой. Она ведь мне всё рассказывала.

— Да кому ты, дура, веришь? — начал оправдываться Иннокентий.

— Значит я — дура, а ты — умник! — с иронией спросила Моника и, постепенно приходя в ярость, тоже зашипела: — А хочешь, я повторю слова, которые ты шептал ей на ушко?

— Да она ж сама на всех кидается. Она, между прочим, сейчас, наверное, с Туркли, — сказал Иннокентий и примирительно добавил: — Ладно, давай выходи.

Моника повиновалась, и они вышли из комнаты. Минут через пять в комнату снова вбежал Иннокентий и, негодуя, произнёс:

— Сволочи, за ночь всю бочку вылакали! Давай, вставай, Вася, надо опохмелиться, пока не издохли.

Пока одевался, Иннокентий уже принёс ведро колодезной воды. Разлил в стаканы, и Васенька к ним прикоснулся. Молча выпили.

— Она сказала, что у вас ничего не было, — заметив, что Васенька прячет взгляд, сказал Иннокентий.

— Не было, — смущенно ответил тот.

— Да я тебя не виню, это она решила мне таким образом отомстить.

— А с Клавой как же? — спросил, не поднимая головы, Васенька. — Ты же сказал, что она меня ждала?

— Она и вправду тебя ждала. Она ведь забывается и всех, с кем спит, называет Васей или Васенькой, — ответил виновато Иннокентий.

Наступила тишина. Иннокентий хотел зачерпнуть из ведра, потом махнул рукой и сказал:

— Давай уж сразу всё ведро превращай!

Не успел Вася прикоснуться к ведру, как раздался рёв трактора. Иннокентий выглянул в окно и возбуждённо вскрикнул:

— Вот черти!

На улице стоял трактор с цистерной. Трактор заглох, и из него выползли Богдэн, Джон и Патрокло.

* * *

Васенька проснулся от жажды, открыл глаза и не смог понять, где находится. На потолке, на чёрном изогнутом проводе одиноко висела засиженная мухами подслеповатая лампа. Вокруг стояли какие-то картонные коробки разных размеров. Спиной к нему

свернулось калачиком голое женское тело. Голова Васеньки упиралась в потёртый и засаленный подлокотник раздвижного дивана. Пахло пылью. Когда он попробовал принять нормальное положение, лежащая рядом женщина повернулась и положила руку ему на грудь. Продавщица Дульсенея. Васенька даже не удивился, ибо был слишком занят собой — его подташнивало. Обозвав себя идиотом, он начал медленно приподниматься.

— Что с тобой? — спросила проснувшаяся Дульсенея.

— Нехорошо, — пролепетал Васенька.

— Подожди, — Дкльсенея выскользнула из-под тонкого, прозрачного одеяла.

Вскоре она появилась с бутылкой нарзана в руке. Взяла стакан со стоящего неподалёку журнального столика, налила и протянула Васеньке. Тот послушно глотнул содержимое и сразу же выплюнул. В стакане была водка.

— Ты с ума сошла! — сунув обратно Дульсенею стакан, он откинулся на спину, больно ударившись головой о подлокотник.

— Бедненький, — посочувствовала Дульсенея, — совсем забыла, что ты вчера весь нарзан превратил в водку.

Вдруг раздался глухой удар, и послышались голоса.

— Кажется, в дверь стучат, — на ходу одеваясь, Дульсенея выскочила из подсобки. Через несколько минут она возвратилась и с удивлением сказала:

— Они просят тебя!

— Кто они?

— Их много. Думаю, тебе лучше уйти через задний выход.

Дульсенея вскочила на деревянный ящик, стоявший под маленьким зарешётчатым окном.

— Они и там стоят! — в голосе её прозвучала тревога.

Васенька с трудом встал и оделся. Через силу улыбнулся Дульсенею:

— Хочу тебе сказать, что ты мне всегда нравилась.

— Я знаю, — Дульсенея прижалась к нему, будто желая спрятаться в его объятиях.

Вновь послышался глухой удар в дверь.

— Почему-то мне тревожно. Может быть, не открывать дверь? — спросила Дульсенея.

— Я выйду к ним, — стараясь приободрить её, твёрдо сказал Васенька. — Не бойся, ничего не будет.

Дульсенея отворила дверь продмага, и он шагнул навстречу толпе. Люди стояли с ведрами, полными воды.

— Слушай, тут народ страждет, только ты можешь помочь, — показывая на хмурых, страдающих от похмелья людей, сказал Патрокло.

— Я не буду больше превращать воду, — разглядывая собравшихся, ответил Васенька.

Толпу возглавляли Иннокентий и Патрокло. За ними маячили улыбающиеся Васеньке Богдэн и Джон. На остальных же лицах лежала злая гримаса неудовлетворенности.

Немного поодаль стояли Моника и Клава.

— Да ты что, Вася, тебе же это ничего не стоит! — растерянно произнес Иннокентий, который был инициатором похода в магазин, когда утром к нему заявила толпа.

Он-то знал, что Васенька отправился к Дульсенею.

— Слушай ты, пророк хренов, тебя народ просит, — выпалил, надвигаясь, Патрокло и поставил перед Васенькой ведро с водой.

— Я уже сказал, — ответил тот.

— Ах, ты ж сука! — зло выкрикнул Патрокло и кинулся к нему.

Васенька успел ткнуть ногой в ведро — Патрокло, споткнувшись, упал, но быстро вскочил и снова бросился в драку.

— Бей его! — услышал Васенька и почувствовал удар в спину.

Разъяренная толпа накинулась на него. Дульсенея выбежала из магазина, с криком бросилась на помощь, но её тут же вытолкнули, она упала, а когда поднялась, с ужасом увидела бежавшего с вилами наперевес Туркли. Толпа расступилась, и Туркли очутился перед лежащим Васенькой.

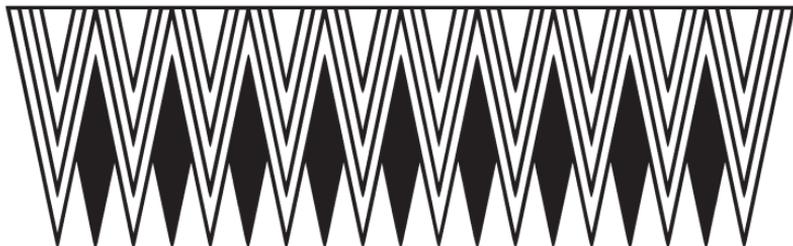
— Петух ты гамбургский, а не ангел! — сказал, пряча кривую пьяную ухмылку в лохмотьях жидких усов, Туркли и воткнул ему вилы в бок.

— Идиоты! — завопила Дульсенея. — Берите в магазине нарзан, он весь нарзан превратил в водку!

Но люди стояли как вкопанные.

— Смотрите! — закричал Иннокентий, указывая куда-то вверх.

С неба спускалось двое белоснежных людей-орлов. Толпа отхлынула от Васеньки. Орлы приземлились. Сурово оглядели собравшихся, взяли истекающего кровью Васеньку за предплечья и поднялись вместе с ним на небо.



МИР
ИРРЕАЛЬНЫЙ



Олег КОЖИН
(г. Петрозаводск, РФ)

Снежные волки

Рассказ

В избушке определенно кто-то был. Несмотря на то, что солнце почти закатилось и я не мог разглядеть широкие полосы, оставленные беговыми лыжами, точно знал: они есть. Ощутимо тянуло дымком и готовящейся пищей. В зимней тундре даже запах сигареты разносится довольно далеко. Что говорить о разогнанной до шума в трубе «буржуйке»? Точно большие светлячки, летали над избушкой искры. Впрочем, какая там избушка? Так, название одно. Старый балок, кое-как обшитый рубероидом, стоящий на небольших деревянных сваях. С маленьким оконцем, с дверью, обитой жестью, с порожком в три ступеньки. Последнее было несущественным, поскольку все ступеньки, кроме самой верхней, прятались под снегом. Как наверняка прятались там и лемминги, и кустики карликовой березки, и следы вездеходных траков, оставшихся после того, как хозяин этот самый балок сюда притащил.

Темнело стремительно — полярная ночь все-таки. И холодало. Я отряхнул снег, шагнул на ступеньку, громко постучал в дверь, отворил и вошел:

— Вечер добрый, люди! Не прогоните?

Я прищурился, пытаюсь привыкнуть к полумраку избышки, который разгонял лишь багровый свет, идущий из растопленной буржуйки, да остатки лучей прячущегося светила, проникающие через затянутое грязью стекло единственного окошка. Компания, надо сказать, подобралась разномастная. Сразу стало ясно: эти люди не вместе. Просто сбились в стаю, как любые представители человечества, когда морозная ночь застает их вдали от города.

Отблески пламени, пляшущего за чугунной дверцей, выхватывали лица и фигуры. В углу, прямо около выхода на колченогом металлическом стуле еще советских времен, облокотившись на подобие стола, сидел крупный мужчина. Света хватило ровно настолько, чтобы разглядеть свитер грубой вязки, неопрятную бороду, густые, сросшиеся брови и сальные волосы, по которым давно плакал парикмахер. На мои слова мужчина никак не отреагировал, продолжая крутить в руках огромное чудо фотографической техники, стоящее, похоже, бешеных денег. Судя по всему — просматривал сделанные снимки.

На нарах, расположенных вдоль противоположной Фотографу стены, развалились Туристы. Парень и девчонка. Там же стояли их рюкзаки. Вот еще одна отличительная особенность любого человеческого стада. Вроде бы собранные таким образом люди должны держаться вместе, доверять друг другу. И вроде бы вместе, вроде доверяют. Но вещички предпочитают держать к себе поближе.

Мальчишка лежал, положив голову девушке на колени, и перебирал струны гитары, наигрывая что-то

незамысловатое, романтично-геологическое. Девушка расчесывала парню волосы, слишком длинные, на мой взгляд. Симпатичная парочка. Наивная. Все еще верящая, что весь мир — для них. Наверняка занимаются кучей всякой бесполезной ерунды: сноубордом, роликами, велобайком каким-нибудь. Возможно, даже с парашютом прыгают, или что там у молодежи нынче в моде?

Четвертый и последний член маленькой общины сидел в самом дальнем от двери углу, прямо возле буржуйки. Как раз в тот момент, когда мои глаза добрались до него, он открыл дверцу печурки, закидывая внутрь пару поленьев. В воздухе пахло жаром, свежеспиленным деревом, и дверца захлопнулась. Однако мне хватило короткого отблеска пламени, чтобы понять: этот — настоящий. Из старых. Я сразу окрестил его Охотником. Тем более что и инструмент он имел соответствующий. Карабин я заметил, едва вошел — серьезный ствол, не игрушка. Под стать хозяину — угрюмому матерому бородачу. Единственному, кто на мой вопрос ответил, как полагается:

— Гость в дом — бог в дом! Заходи, добрый человек.

Я стянул обледеневшую шапку, оббил о колено и повесил на гвоздь. Подошел к столу и молча вытащил из рюкзака банку тушенки, пару луковиц и полбулки хлеба. Подвинул все это в сторону с интересом за мной наблюдающего Охотника. Тот кивнул, схватил заскорузлой ладонью луковицы и принялся деловито чистить, сбрасывая шелуху на разложенные возле буржуйки дрова.

— К молодым садись, — бросил он через плечо. — У них еще местечко найдется.

И дальше, уже себе под нос:

— В тесноте, да не в обиде.

Как-то само собой узналось, что Туристов зовут Вика и Женька, Охотника кличут Михалычем, а Фотограф назвался Иваном. Я сидел на нарах, чувствуя, как отогреваются заледеневшие ноги, как тает иней на бровях и ресницах, а по избушке растекался сказочный аромат чего-то, чему нет названия ни в одной поваренной книге мира — какой-то фантастической похлебки, приготовленной из того, что каждый кинул в общий котел...

* * *

После еды стало жарко и как-то по-домашнему уютно. Фотограф вытирал бороду и с довольным видом вымакивал хлебом остатки варева в тарелке. Охотник откинулся, привалился к стене и, не спрашивая разрешения, задымил «Приму». Я сморщился, но деваться было некуда, так как Туристы тоже закурили. Что-то гораздо более легкое, но не менее вонючее. Оставалось лишь приоткрыть дверь и подпереть ее рюкзаком.

Посмотрев на всех, Фотограф тоже зашарил у себя в рюкзаке. Похоже, некурящим здесь был только я. Правда Фотограф достал не сигареты, а трубочку и кисет с табаком. Немногим, но все же лучше. Турист Женька вновь откинулся на колени Туристки Вики. Подтянул гитару, принялся наигрывать что-то ритмичное, какую-то то ли сказку, то ли балладу, тихонько подпевая:

Измученный дорогой, я выбился из сил
И в доме лесника я — ночлега попросил.

И что-то дальше, про вероломного Лесничего, про ружье, про голодных волков. Песня слушалась легко

и непринужденно. Была, как это принято говорить у более юного поколения, «в тему».

Друзья хотят покушать, пойдем, приятель, в лес!

Отыграв песню, Женька некоторое время оглядывал нас, довольный произведенным эффектом. После чего отложил гитару, перевернулся на бок и, тряхнув длинными патлами, отрапортовал:

— «Король и Шут», «Лесник»!

Охотник и я с умным видом покивали головами. Фотограф вновь углубился в недра своего цифрового монстра. Туристка Вика все так же молча перебирала Женькины вихры.

— Слушай, отец! — непоседливый Турист перевернулся на живот и теперь смотрел на Охотника из-под свесившейся челки. — А тут волки водятся?

Охотник помолчал, неопределенно хмыкнул себе в бороду, дотянул сигарету. Затем открыл печь и щелчком отправил окурок в огонь.

— А правда, что полярный волк с теленка размером? — не унимался Женька.

— Правда, — Михалыч усмехнулся в бороду и хмуро добавил: — А питаются они Туристами!

Женька снова перевернулся на спину, поудобнее устроил гитару и, бренча на трех аккордах, дурашливо пропел:

— Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк...

Охотник только с улыбкой покачал головой. Все-таки позитивный мальчишка — этот Женька. А вот спутница его, Туристка Вика, с момента моего появления так и не произнесла ни слова. Только улыбалась тихонько. Я даже начал подозревать, что говорить она не умеет вовсе.

— Конечно, не страшен, — Михалыч запалил очередную папиросу и глубоко затянулся. — Нет здесь волков. Тем более полярных.

— Позвольте! — неожиданно встрял в беседу Фотограф. — Как так нет?

— Молча, — Охотник посмотрел на него снисходительно. — Выбили всех. Уж лет двадцать как выбили. На сто километров от города — ничего крупнее песка.

— Значит, не всех выбили-то! — низко наклонившись, Фотограф принялся колдовать над камерой.

— Извольте... — он протянул фотоаппарат Михалычу.

Охотник принял камеру обеими руками бережно, как ребенка. Щурясь, уставился на фото, выведенное в небольшое окошко. Смотрел долго. Когда экран погас, попросил Фотографа включить «чертову машину» снова. После чего опять задумчиво рассматривал снимок. Качал головой, восхищенно цокал языком. Удовлетворившись, передал фотоаппарат Туристам.

— Давно? — спросил он Фотографа.

— Два дня назад, — Иван ответил не задумываясь и, предвосхищая следующий вопрос Охотника, добавил: — Километров сорок отсюда, к горам ближе.

Охотник недоверчиво покачал головой и подбросил в «буржуйку» полено. Туристы, более сведущие в современной технике, чем дремучий Михалыч, перелистывали снимки, увеличивали, надолго приникали к окошку просмотра. Вика молчала. Женька то и дело издавал удивленные возгласы. Наконец, вспомнив о моем существовании, протянули фотоаппарат мне. Я поудобнее устроил его в ладони и нажал кнопку с зеленым треугольником. На экране появилась зернистая картинка. Несмотря на маленький, прямо-таки крошечный экран, можно было разглядеть обычный северный пейзаж: в наступающей темноте редкие го-

лые деревья, обглоданные зимней стужей тонкие кусты, растопырившие из-под снега корявые пальцы и... Зверь.

Зверь бежал, взрывая сугробы, взметая в воздух пласты слежавшегося снега. Казалось, он несется прямо на того, кто спрятался в момент съемки за камерой, в надежде, что эта хлипкая защита сможет уберечь его от невероятной мощи, которая так и перла от здорового волка. Белого, с лохматой лобастой головой, пастью, полной острых, как ножи клыков, и зрачками, желтыми, как «материковская» луна в ясную ночь.

Я перелистал фотографии назад, затем снова вперед. В основном на снимках были зарисовки природы (не слишком удачные, на мой взгляд) и люди, похожие на Фотографа: то ли геологи, то ли просто старые туристы. На остальных же двадцати — огромный белый волк. Сначала зверь попал в кадр боком, но постепенно, разворачиваясь мордой, приближался и уже прямо-таки летел, словно разгневанная «звезда», недовольная назойливым папарацци.

Большинству кадров не хватало четкости: фигура зверя получилась размытой, будто волк несся на задних лапах, очень низко наклоняясь. Самой удачной показалась та фотография, что я увидел первой. Первобытная мощь, ярость, независимость — все в одном застывшем, безумно красивом прыжке, в одном только оскале. А на последнем кадре была Туристка Вика. Сидевшая вполоборота, задумчивая и тихая. И невероятно красивая. Она явно не знала, что ее снимают.

Видимо, я слишком увлекся, потому что даже не почувствовал, как ко мне наклонился Фотограф. Заметив, какой снимок я разглядываю, он нервно выхватил фотоаппарат, покраснел и, пробормотав «это личное», забрался обратно на свой стул.

Некоторое время все сидели молча, словно переваривая увиденное. Было в этих снимках нечто, составляющее замирать сердце. Что-то такое, отчего хотелось завывать в голос. И услышать в ответ вой родной стаи.

А потом Женька затыкнул себе под нос, тоскливо, протяжно. Так тихо, что даже мне приходилось напрягать слух, чтобы разобрать слова:

Вы холодные, снежные звери,
Неисчислимы ваши потери,
Гибнете сотнями в утреннем свете,
И жизнь ваша длится лишь до рассвета...

Струны звенели перебором. В «буржуйке» трещал, пожирая полусырые дрова, огонь. Охотник крикнул и, повернувшись к Ивану, недоверчиво спросил:

— Километров сорок, говоришь?

— Сорок — сорок пять, — уверенно ответил Фотограф. — Я за два дня на лыжах больше не осилю.

— Знатная зверюга, — уважительно пробормотал Охотник. — Кто-то из твоих завалил?

— Да какой там «завалил»? — недовольно отозвался Фотограф. — Так, отогнал, напугал. Подранил, правда...

— И? — Михалыч слушал с живым интересом, даже пододвинулся к Фотографу.

— И-и-и-и?! — передразнил тот. — Пошли по следу, да метель поднялась. Побоялись. Решили не рисковать, в лагерь вернулись.

Фотограф разочарованно вздохнул, словно осуждая осторожность товарищей.

— Знатная зверюга, — повторил Михалыч, качая головой. — Матерая. Тридцать лет здесь охочусь — никогда таких не видел.

— Красивый.

Я уже начал думать, что Вика совсем не умеет говорить. Голос у нее тоже оказался красивым — чистым и звонким. Правда говорила она с нездоровым жаром, с какой-то даже агрессией, не скрывая неприязни к неряшливому Фотографу.

— Он — красивый, свободный! А вы? Сейчас вы смелый! А ведь если бы не ваш товарищ с ружьем, — запальчиво бросила она, — где бы вы были сейчас?

— Где? — нелепо переспросил не ожидавший такого яростного нападения Фотограф.

Видя его растерянность, Вика несколько сбавила напор, но голос по-прежнему звенел напряжением.

— Там, — она мотнула головой куда-то за пределы избушки, в холодную северную ночь. — На снегу, с разорванным горлом. Он бы вас убил.

Резко и противно тренькнули струны. Женька, отложив гитару и перевернувшись на бок, удивленно заглядывал Вике в лицо. Снова повисла тишина. Но в этот раз ее необходимо было заполнить. Сломать. Разорвать. Уже давно.

— Нет, не убил бы.

Фотограф, да и все остальные, с удивлением повернулись в мою сторону.

— Помял бы слегка, камеру бы поломал, но не убил. Он не убийца.

Я чувствовал, как голос мой звенит от напряжения. Как растет тщательно подавляемая до поры злость.

— Убийцами становятся из слабости, по необходимости, по глупости, — я смотрел Фотографу прямо в глаза, чувствуя, как тот сжимается, как бледнеет. — Посмотрите на фото — он силен, умен и явно не голодает. Он не убийца.

Ненависть вспыхнула, перегорела. Оставила после себя ярость, пылающую багровыми углями, но холодную, как температура за дверью избушки.

— А вы — убийца, Иван. Убийца — по глупости. Своим безрассудством и абсолютным нежеланием думать, сопоставлять факты вы убили этих людей...

Охотник первым понял, в чем дело. И единственный не растерялся. Он метнулся к ружью, надеясь проскочить мимо меня, зная, что не успеет, и все равно пытаюсь. Мне не хотелось его убивать, очень не хотелось, но начавшая трансформацию рука уже обзавелась кривыми когтями и удар, который должен был просто отбросить Охотника назад, взорвался фонтаном черной крови, брызнувшей в потолок и стены. Михалыч бессильно рухнул на нары к Туристам, несколько мгновений еще цеплялся за толстые доски, за разложенные спальные, затем глухо клопоча разорванным горлом, повалился на пол.

Вика тонко вскрикнула и, закатив зрачки, рухнула на нары. Залитый кровью Женька оторвал ошарашенные глаза от мертвого Михалыча, в ужасе перевел их на меня и заскулил. Пожалуй, на его месте я бы тоже заскулил. Тело мое стремительно деформировалось. Куртка треснула вдоль спины, освобождая огромный горб, из которого лезла длинная, густая белая шерсть. Измененные конечности уже ничем не напоминали руки — только когтистые волчьи лапы, невероятно большие и мощные. Но главное — лицо, кости которого, ломаясь и срастаясь вновь, стремительно превращали его в волчью морду, оскаленную и жуткую. С пастью, полной острых, как ножи, клыков и зрачками, желтыми, как «материковская» луна в ясную ночь...

* * *

Отбросив в сторону поломанное Женькино тело, я обернулся к Фотографу. Он по-прежнему сидел на стуле, съежившийся, трясущийся. Жалкий. Я нахло-

нился к нему, заглядывая в глаза, в надежде увидеть там раскаяние, но увидел только страх. Животный, первобытный страх.

— Вот видите, что вы натворили, Иван? — хотел сказать я, но из горла вырвался только низкий, глухой рык разочарования.

Я обхватил его трясущуюся шею огромной когтистой лапой и резким движением сломал позвонки. Подхватил выпавший из мертвых пальцев фотоаппарат, вытащил карту памяти, бросил ее на пол и тщательно растоптал каблуком туристского ботинка. Как раз вовремя — меняющиеся пальцы ног резко вытянулись, рванулись, превратив хорошую обувь в ворох кожаных ошметков. Вожак должен заботиться о своей стае. Чем меньше знают о нас люди, тем больше шансов, что у меня будет о ком заботиться.

Я толкнул ногой «буржуйку». Печь завалилась на бок. Из открывшейся дверцы на волю выскочили пылающие поленья и багрово-красные угольки. Избушка занялась почти мгновенно. Это было красиво и зловеще. Пламя плясало на полу, злобно шипя вокруг луж крови, ловко карабкалось вверх по нарам, подпрыгивало от нетерпения, стараясь достать бороду Фотографа. Становилось ощутимо жарко. Подхватив на руки обмякшее тело Вики, я выскочил на улицу. Не люблю запах паленой шерсти.

Бережно положив девушку на снег шагах в двадцати от пылающего домика, присел рядом. Стройная, точеная фигурка, затянута в нелепые туристские шмотки, такие чуждые ей, такие лишние. Милое, симпатичное лицо, обрамленное светлыми волосами, беспорядочно разметавшимися по снежному насту.

Поднимаясь с корточек, я провел огромной лохматой лапой по ее лицу, оставляя глубокую длинную царапину...

Я ошибся, маленькая сестра. Когда вы впустили меня в свое пристанище, я решил, что Охотник — наш, и я был прав. Но еще больше, чем он, нам принадлежишь ты. И я прошу прощения, что не разглядел тебя сразу.

За моей спиной ревел огонь, с треском пожирая остатки неказистой избушки. Огонь — обжора, огонь — сладкоежка. Скоро пища кончится, и он умрет, так и не насытившись.

Лишь рассветет, и белые кости
Под сахарным снегом, как тонкие трости
Вырастут в поле, под музыку вьюги —
Их не разыщут ни волки, ни люди...

Снег укроет тебя, маленькая сестра. И ни люди, ни волки не станут тебя искать. Проснувшись, ты сама решишь: где твой дом и с кем твоя стая. И когда твой вой достигнет луны и устремится вниз в поисках тех, кто способен его услышать, мы будем готовы.

Мы будем ждать тебя...

Ольга НАБЕРЕЖНАЯ
(г. Якутск, РФ)

Самое дорогое

Рассказ

Я иду по дороге, которая становится все у'же и у'же, потом начинает петлять среди заросших по пояс кочек и неожиданно обрывается. Вот тебе на! Ну и куда теперь? Дальше по лесу? Жарко. Заблудился, что ли? Мама говорила, за поворотом свернуть в лес по тропинке. По ней еще метров пятьсот, и должна показаться река. А там вдоль берега — и до деревни рукой подать. Мама дорогая! Куда забрел-то? Где река? Видать, леший водит. Я присел на когда-то могучий, толстенный, а сейчас такой беспомощный и ненужный ствол сосны. Закурил.

Тишина. Ни ветерка, листья замерли — не шелхнутся, птичка не прочирикает, пчелка не прожужжит. Как в театре. Искусственная какая-то тишина. Напрягло. Живность же должна быть в лесу. А тут — вакуум звуковой. Ну да ладно, сидеть бесполезно. Надо двигаться в обратную сторону, пока не стемнело. Скорее всего, не там свернул. Я сделал несколько шагов назад, вглядываясь в травянисто-мшистый ко-

вер. Солнце уже устало светить и по-вечернему лениво болталось на макушках кустов. Пошел дальше, не выбирая уже дороги — на авось.

Остановился передохнуть и замер. Впереди, метрах в пяти, послышался треск. Словно кто-то продирается через заросли тальника мне навстречу. Грибники, наверно, успокоил я себя. А сердце заколотилось, как обезумевшая белка в колесе. Какие грибники?? Начало июня. Сейчас даже поганок нет, снег-то стаял в мае только. Затаился. Тихонько, стараясь не шебуршать курткой, достал складной перочинный ножик, не раз и не два выручавший по лесному делу и на рыбалке. Во рту пересохло. Но я не шевелился. Вдруг в просвете между деревьями мелькнул силуэт, послышалось бормотание. Явно мужик. Вроде немолодой уже, судя по голосу. Бормотание приближалось:

Ой, ды пойду я в лес-лесок, ды погуляю.

Ой, ды поисчу я хворые березыньки.

Ой, ды берестушку я тряпочкой пообмотаю.

А осинушке я лентой шелковой, ды кронушку подвяжу,

Ой, ды не будет кронушка-то к земельке падать.

Что за бред?! Сиплый, словно простуженный голос становился все ближе, и неожиданно прямо передо мной из кустов вывалился дед в нелепом дерюжном балахоне, подпоясанном обыкновенной бечевкой.

— Мать честная! Ой, ешеньки, сердечко-то щас вывалится. Ты хто есть-будешь, мил-человек? — от неожиданности дед схватился за грудь и крепко обнял посох, который норовил завалиться в сторону под тяжестью тела хозяина.

Мне стало смешно. Страх отпустил, я незаметно спрятал ножик в карман. Кто кого напугал еще.

— Заблудился я, деда. Шел в одну сторону, а пришел неизвестно куда. Ты-то местный?

Дед хитро блеснул совсем молодыми, без старческой мутной поволоки глазами из-под кустистых, брежневских бровей.

— Я-то местный. А ты чьих будешь, мил человек? Не смертоубивец, чай? А то смотри, с меня брать-то неча. В одном кармане вошь на аркане, в другом блоха на цепи, — дед хихикнул.

Я тоже улыбнулся, радуясь живой душе в этом заколдованном лесу, будь он неладен.

— Не бойсь, дед. Не обижу. Не разбойник я. В Заречное шел. Там дом мне мать оставила. Вот хотел посмотреть. С детства не был.

— И-и-и-и, а маманька-то померла, стало быть, чо ли? А ты, стало быть, за воспоминаниями отправился? — спросил дед с участием в голосе.

— Ну да. А ты экстрасенс, что ли, местный?

Вот уж не ожидал, что кто-то так запросто озвучит мое неясное желание, которое и самому-то было непонятно: зачем я так внезапно в Заречное собрался.

С серьезным и задумчивым видом дед поскреб за-тылок:

— Ну, как ба он самый. А че — не веришь? Да тут у нас все такие. Я-то с годами силушку подрастерял маненько. Щас больше за лесом смотрю. Ну, и таких, как ты, залетных, вытаскиваю. Работа такая.

— Егерь, что ли? — у меня появилась надежда, что в деревню я сегодня все-таки попаду.

— Ну, типа таво. Считаю, чо так. Ну, пошли, чо ли, гулена. До Заречного седни не доберешься. У меня заночуешь. А утром сведу.

И правда. За разговором я и не заметил, как солнце, покопавшись в осиннике, упало в кустарник и

уютно устроилось там на ночлег. Чтобы поддержать разговор, пока шли к дедовой избе, я спросил:

— А у нас — это где?

— Чиво? — буркнул дед не оборачиваясь.

— Ну, ты сказал — у нас тут все такие. Где это — у вас? В Заречном?

Дед замялся:

— Дык, у нас, в Рассеи. Кто долго живет, тот и знает много.

— Дед, — какая-то мысль не давала мне покоя. Откуда он взялся? Как зовут — не говорит. Где — тоже молчок. Странный какой-то. — Дед, — снова позвал я.

— Аюшки?

Он не останавливался. Наоборот, его шаг набирал скорость, совершенно недопустимую, как мне показалось, для столь преклонных лет. Он будто летел вперед, не касаясь земли, напичканной сучками и корягами.

— Да подожди ты! Чего несешься, как на пожар. Не успеваю я за тобой, здоров ты, дед, по лесам шагать, — дыхание сбилось, я шумно пыхтел, стараясь правильно, толчками, выпускать воздух. Заколело в правой бочине. — А тебя как зовут? А то я все — дед да дед. Неудобно даже, — я старался придумать хоть какую-нибудь причину для передышки, чтобы привести в порядок взбунтовавшиеся, нашпигованные многолетней табачной смолой легкие.

Дед наконец-то остановился:

— Дык меня не надо звать. Завсегда сам прихожу, када невмоготу бывает ужо.

— Это как понимать? Куда приходишь? — опешил я. — Имя-то есть у тебя?

Дед опять как-то лукаво прищурился, пощипывая куцию бороденку.

— Агафоном када-то кликали. Вот и ты так

кличь, — мой спаситель оглядел меня и недовольно поморщился. — Чота ты, паря, совсем запыхтался. Куришь много? — спросил строго.

— Ну да, дед Агафон, курю. Много курю. Иногда самому противно, — неожиданно я разоткровенничался. — Пальцы, вон, желтые стали. Да и дышалка ни к черту — тебя догнать не могу.

— И-и-и-и-и, не переживай. Меня догнать трудно, — Агафон заулыбался. — Солдатская выучка.

— Так ты в солдатах был? Воевал?

Дед помолчал немного, задумавшись. Потом сурово:

— Пошли ужо. Воевал — не воевал. Чо теперь-то. С французиками побарахтались. С ерманцем-то тяжеленько было. С фашистом ишшо пуще... Не отставай давай, оказия ходячая.

У меня волосы на затылке встали дыбом. Какие «французики»? Какие «ерманцы»? Ну, фашистов еще можно по времени принять. Мог и в Отечественную воевать. С натяжкой. Но мог. Но 1812 год! Господи, а дед-то чокнутый! Теперь-то все стало на свои места. Вот оно что! Радовало одно: не буйный и без оружия.

Я послушно шел за дедом, молясь, чтобы он вывел меня к людям. Тьма сгущалась. Тьфу ты, как в кино — «тьма сгущалась». Еще не хватало полной луны и волчьего воя. И тут как по заказу: тучи ретиво растянулись по обе стороны верхушек деревьев, и выползла луна с ленивой усмешкой между жирных щек. Я глянул на небо. Хм, и звезда с звездой говорит. Много их сегодня понатыкано, почти как в августе. И низко так висят. Светят своим синим равнодушным светом... Дед ушагал далеко вперед.

— Дед! — позвал я. — Дед Агафон! — уже громче. — Деда! — завопил уже во весь голос.

— Чо орешь-то, чо урусишь? Тута я, — раздался возле уха знакомый голос.

Не фига не понимаю: он же впереди был. Как рядом-то оказался?! Но в любом случае я был рад сейчас его слышать.

— Дед Агафон, а почему так долго идем-то? Час уже, наверно, плутаем, а жилья не видно.

Неожиданно дед рассердился.

— Это ты плутаешь. А я иду, куда надо. Яйца курицу не учат. Ишь, долго он идет. Али ноженьки притомились? Али рученьки подустали? Али глазоньки измотались? — заерничал он насмешливо гнусавым голосом, а я плелся за ним, как привязанный.

Правда устал я. Хотелось уже чая. Хотелось снять сапоги и увалиться на какую-нибудь лежанку. Хоть из соломы.

— Дед Агафон, ну остановись ты, дай хоть жердину какую сломаю. Тяжело идти-то, — взмолился я.

— Я те сломаю щас, ломака какой нашелси! Вона, скока всяких сучьев валяется. Выбирай любой.

— Дед, так они же высохшие все. Переломятся. Ну будь ты человеком, не беги хоть, не привык я к таким переходам! — заканючил я.

Блин, старый черт! Кочевряжится еще. Защитник леса, елки-палки. Я разозлился. Злость придала силы, и я из последней мочи припустил за своим Сусаниным. И вдруг показалось, что сквозь деревья мелькнул огонек. Присмотрелся. Маленький, не очень близкий, но он горел надеждой, обещая отдых и сон...

Через несколько метров показался просвет, похожий при свете луны на фантастическую дверь в другую реальность. Деревья словно расступились, и мы вышли на большую поляну. Я огляделся. И уже в который раз за день показалось это ненастоящим, каким-то бутафорским. И сама поляна, ровно очер-

ченная кромкой леса, и низкие, немигающие звезды, и приземистая, покосившаяся на один бок избушка, напомнившая кинематографические сказки Роу.

— Ну чо, мил-человек, пришли. Заходь, не стесняйся. Щас вечерять будем чем бог послал, — дед Агафон приветливо распахнул скрипучую дверцу, приглашая войти в темную, пахнущую плесенью и травами пустоту.

Делать нечего — не оставаться же на ночь в лесу. Я шагнул внутрь. Дед ловко протиснулся мимо меня, пошуршал чем-то, и темнота исчезла, поглощенная маленьким свечным пламенем.

— Ну чо встал-то, аки колодина, проходи. Вона на лавку сядай, весчички на пол положь.

Агафон скинул старое, выдавшее виды одеяние, служившее ему плащом. Из угловых потемок, куда не доставал свет, выволок самовар, зашарил по полкам, громко постукивая деревянными плоскими чашками. А я, пока дед хлопотал по хозяйству, не показывая излишнего любопытства, осматривал жилище своего странного знакомого. Так себе избенка. Бревна, почерневшие от времени и копоти, с полуистлевшим мхом в пазах, смотрелись довольно убого, хоть и разукрашены были высохшими пучками всевозможных трав. Грубо сколоченный колченогий стол посреди комнаты, словно наскоряк вытесанные лавки, покрытые где соломой, где скомканным, не знавшим стирку тряпьем. В дальнем углу — печь, похожая на своего хозяина: такая же заброшенная, но с чувством собственного достоинства, прорывавшегося через выщербленную штукатурку и кирпичную кладку. А на полках разные баночки, скляночки, пузырьки с мутной жидкостью, непонятного предназначения кусочки гранита и камни. Незаметно для себя я задремал. Даже сон уже какой-то завлек, как вдруг очнулся от того, что кто-то трясет меня за плечо.

— Эй, паря, проснись. Самовар уже стынет. Давай-ка, чайку попьем и на боковую. Умаялся ты седни.

Я ошарашенно открыл глаза, не сразу поняв, где нахожусь. Поясницу ломило, ноги отказывались двигаться, отчаянно заплетаясь одна о другую. Доковылял до стола. В доме едко пахло еловым дымом. Аж глаза заслезились. Заметив, что я оттираю слезы, Агафон приоткрыл дверь. Пахнуло лесной свежестью.

— Ну, звиняй. Самовар-то как заваривать? Лектричества-то нет, — виновато оправдываясь, дед налил мне кипятку в чашку с вытертым до неузнаваемости узором, плеснул из заварника какой-то пахучей коричневой жидкости и с радушным видом придвинул миску с баранками.

— Дед Агафон, а что, бани-то нет у тебя? Сейчас бы в самый раз в баньку, — спросил я, размачивая прошловековую баранку в чае.

Дед молча придвинул сахарницу с отколотым краем, в которой лежал горкой голубой нарубленный неровными кусками сахар. Сто лет уже такого не видел.

— Ты чего молчишь-то? — я представлял банное блаженство, хотя и не был уверен, что не усну прямо на полке.

— Не мое енто ведомство — баня. Не положено. Озеро там, речка какая. И то еслив договоришься с хозяином.

— А Расскажи-ка, дед, как ты тут живешь-то? Чай у тебя вкусный необыкновенно!

Он благодушно растянулся в улыбке:

— Дык, на травках, мил-человек, на травках чаек-то. Живу-то я ничаво. Нескушно. Особливо летом скучать не приходится. Лучше ты мне Расскажи, чего там в Заречном вспомнить-то хотел? По мамке тоскуешь?

И глянул так, словно душу наизнанку вывернул.

— Понимаешь, дед, мать-то моя не просто так умерла. Не тихо-мирно во сне, как старики уходят. Дом сгорел. И она вместе с ним. Не успела выбраться, понимаешь.

— А где жила-поживала мамаша твоя? — с нескрываемым интересом спросил дед.

— Да в городе. В старой части. Липовая аллея, дом...

Не успел я договорить, как Агафон вдруг вскочил с лавки, заметался по избе, скрючивая худые жилистые руки, запричитал:

— Вот же ж аспид кромешный! Чучело гороховое, ишь, в кудесники подался, ирод сраный. Да кто ж ему силу-то таку доверил?!

Дед не на шутку разволновался. Я не понимал его бормотание. Какой аспид? И что оно натворило это чучело гороховое?

— Дед Агафон, ты чего? Ты про кого так?

Он отмахнулся, как от мухи назойливой. Присел на лавку и задумался, вперив немигающий взгляд в печку. В печке что-то зашуршало, звякнула заслонка, и на пол выкатилось существо, напоминающее трубочиста и карлика одновременно. Елки-палки! Чай! Чай с травами. У меня галлюцинации. Или это еще один сумасшедший, только спящий внутри печки. Мне вдруг стало весело. Интересно, что еще сегодня со мной может приключиться? Русалка на ветвях или кот-баюн, а может, еще и спящая царица где-то здесь валяется под лавкой? Хороший у деда чай...

Пока существо фыркало и отряхивалось, совсем по-кошачьи подергивая всеми конечностями, дед Агафон снял со стены плетъ и, сурово поглядывая на гостя, постукивал ею по ладони. Я наблюдал, все еще не веря в происходящее. Точно, чай виноват.

— Че звал-то, Агафонюшка?

Пришелец был заметно напуган. Чумазное, заляпанное сажей личико перекошилось от страха.

— Ты иво мамашу пошто извел? Те, паршивец, хто дозволение дал людев губить? Сидишь в печке и сиди тихохонько, — Агафон грозно нахмурился.

Я уже вообще перестал пытаться что-либо понять. Фантасмагория какая-то. По мотивам русского фольклора.

— Дык, Агафонушка, она сама, маманька-то евоная, помирать собралась. Так мне и сказала. Мол, не хочу в больничке помереть, дома хочу. А я, знаешь, намедни замешкался возля печки-то у нее в избе. Ну понимаешь жи, телевизирь такую шикарную историю показывала. Про любовь, между прочим, вот я и не успел схорониться, — печных дел мастер вздохнул. — Хорошая кина была.

Он неожиданно встрепенулся:

— А ты откудава узнал, Агафонушка? Я вроде аккуратненько все обстряпал. Али доложил кто?

— А ты, дурья башка, сам не знаешь? Рази он ко мне попал, — дед кивнул в мою сторону. — Значица, не зря.

Я насторожился. О какой мамаше идет речь? И при чем здесь больница? Медленно, но уверенно вползала мысль, совершенно дикая и нелепая.

— Э-э, любезнейший, а вы не про Марию Алексеевну Перегудову говорите? Это мама моя, если что, — я подался вперед.

Мужичонка утер нос, расправил плечи и с готовностью ответил:

— Ну да. На Липовой аллее, да, жила? Она самая. Смею доложить, ваша мамаша чудной женцинкой была. Понимающей. Завсегда сахарку мне на столе оставляла. Эх-х, жаль бедолажку. Не уберегли-и-и-и...

Театрально подвывая, мужичонка начал утирать несуществующие слезы.

Все. Мозги отказались работать на таких оборотах, и сознание погрузилось в туман. Как сквозь вату слышал голоса, чувствовал, как костяным черенком ножа разжимают челюсти и вливают пахучую жидкость.

— Ну ты совсем дурак, Игнатка. Кто ж так в лоб-то сразу? Мамаша жи.

— А я чо? Я ж ничо. Ты спросил, я ответил. Не сердчай, Агафонюшка.

Постепенно туман рассеялся, и я увидел два склоненных надо мной встревоженных лица. Смешные они все-таки, нечисти эти. То, что это нечисть, я уже догадался.

— Ох, очнулси голубчик, очнулси касатик, — запричитал печкин житель.

А дед Агафон, пристально глядя на меня, спросил:

— Правду знать хочешь?

Я облизнул пересохшие губы:

— Да. Хочу.

— Говори, Игнатка.

— А чо говорить-то? Ну я и говорю. Мадам больны оченно были. Смертная какая-то болесть с ней приключилася. Знала, чо помирает. А беспокоить никаво не хотела. Четкая дамочка была, — он расслабился, вальяжно закинул ногу на ногу.

— А ты чо, знал и молчал? — опять засерьезнел дед Агафон.

— А чо я-то опять? Я с им чо, говорить, чо ле, должон был? Мог бы и сам заметить, чо мамаше худо со всем. А им жи все некогда. У них жи работы важные. Где им до мамашин-то дела взять? Приедет, колбасы сунет, в щечку чмокнет и поминай как звали, — мужичонка неодобрительно, даже с осуждением посмотрел на меня.

Под его взглядом стало неловко. Да что греха таить — так и было на самом деле. Проглядел...

Помолчали.

— Ей не больно было? — робко спросил я.

— Тю-ю-ю, нет, канешна. Уснула и всех делов-то. Дыма угарного дыхнула. Зато как хотела. Дома у себя, не в больничке.

В носу защипало, а в горло вкатился ком, который я судорожно пытался проглотить. Мама... Что ж ты так берегла-то меня? Почему не захотела болью своей поделиться?..

— Ну ладно. Прощевай покуда, Игнатка. И смари у меня. Не балуй! — дед Агафон тяжело поднялся с лавки и стал медленно собирать со стола, словно думу тягостную соображал.

— Так ить, я побежал? — мужичонка с готовностью подскочил к печке.

— Шуруй ужо, чучело, — отмахнулся Агафон не оборачиваясь.

— Ну чо, мил-человек, оправился? — он подсел ко мне на лавку.

— Да вроде. Только свербит вот здесь, — я приложил руку к левой стороне груди.

— Ничо, паря, ничо. Пройдет. Это хорошо, что свербит. Живой значица, не заледенелый, — дед положил ладонь мне на затылок, тихонько пошевелил волосы поглаживая. Почти как мама в детстве.

— Деда, а ты что там про воспоминания говорил? — я вдруг встрепенулся под его ласковой рукой.

— Дык забудь. Ничо не говорил я, — Агафон пересел за стол, отодвинул ближе к оконцу свечу, потом соскочил, схватил самовар и поволок в угол.

— Дед, ну ты же можешь. Ну верни меня в детство, хоть на минуточку...

Я уже ясно осознавал, что мне нужно. Немного нужно. Просто еще раз окунуться в мамино тепло и

уют. Которые я так и не научился ценить в сознательном возрасте.

— Могу. Но у нас все не так просто. Чета взамен нужно взять, — Агафон потупил глаза в дощатый, нескребанный пол.

— Душу, что ли? — я усмехнулся.

— Дык на фига мне твоя душа сдалася? Со своей бы справиться. А с чужими — маета одна. Пристраивать же нужно. Не, другие условия.

— Какие? Что нужно-то? — я был заинтригован. Даже ноющая боль в сердце отступила.

Дед Агафон, продолжая выискивать щербины в полу, тяжко вздохнул:

— Да иди ты лесом! Самое дорогое. Понимашь? Самое дорогое, чо у тебя есть. Ну окромя жизни и здоровья. Ента валюта у нас не в почете

Сердито запыхтев, дед достал из-за камушков на полке пачку «Мальборо». Ну не фига себе!

— Ты че, куришь, что ли? А меня-то ругал, — я в недоумении уставился на бело-красную пачку.

— Дык не куру я. Тока балуюся иногда, када заволнуюсь сильно, — буркнул Агафон в ответ.

— Дай мне тоже. Закончились мои. Не рассчитал на такой дальний забег.

Дед молча протянул мне сигарету. Закурили. Сизый дымок потянулся к щербатому оконцу...

— Дед Агафон, а у тебя есть это — самое дорогое? Что для тебя самое важное в жизни?

— А нету у меня жизни, мил-человек. Так себе, одно название. И потому — ничо мне не важно, окромя леса, — он в задумчивости затянулся, закашлялся и с досадой раздавил окурок в плошке. — Тьфу ты, зараза какая. Не приведи, Господи, — сплюнул в ведро и зажурчал самоваром.

Я мысленно улыбнулся. Надо же, сам языческий

персонаж, а бога поминает... Время наверняка перевалило за полночь. Сказывался тяжелый день, проведенный в ходьбе и волнениях. Спать хотелось смертельно.

— Дед!

— Аюшки, — Агафон расстилал тряпье на лавке, собираясь лечь.

— Дед, можешь хоть сон мне какой-нибудь навеять? Ну чтобы мама там была, детство мое, дом в Заречном.

— Иди ложись ужо. Утро вечера мудренее. Путешественник, итишь твой дух. Выбрал то, с чем готов расстаться?

Я улегся на лавку, вытянул гудящие ноги.

— Не знаю, дед. Для меня самое дорогое — жизнь. Без всего остального можно прожить, — сонно, уже почти в дреме ответил я.

Агафон задул свечу. Поерзал на своей лавке, вздохнул прерывисто и замолк. Помолчал с минуту и забормотал:

— Дурак ты, мил-человек. Жизнь без воспоминаний — это не жизнь. Оболочка одна. Человек должен помнить. Где родился, где крестился, где на горшок первый раз сел. Не сам, канешна, фотокарточки жи должны быть...

Бухтел, даже не заморачиваясь, слышу я или нет. А я уже качался на волнах Морфея, и голос Агафона становился все дальше и дальше...

Влада ОЛЬХОВСКАЯ
(Минск, Республика Беларусь)

Холодная вода

Рассказ

Не нужно было сюда соваться. Дурная затея. Но что теперь сожалеть, если заберут его не раньше за-втрашнего вечера?

Максим и приезжать-то не хотел. Он вообще в последнее время ничего не хотел: на душе было муторно, тоскливо, он не знал, куда податься. Вроде и было все — и все не радовало; он чувствовал себя самозванцем, занявшим непонятно чье место. Но самое неприятное, что и рассказать об этом нельзя: если попытаться облечь чувства в слова, сплошное нытье получается. Тут и ответ предсказуем! Соберись, ты ж мужик. Что тебе не нравится? Хуже тебя люди живут — и не жалуется!

От советчиков не будет толку, только хуже станет. Поэтому нужно молчать, ожидая, пока эти странные серые дни пройдут.

Так нет же, Танька заметила, вмешалась! Еще и самую умную строить стала...

— Тебе нужно вернуться к тому, что ты любил раньше, — авторитетно заявила она. — Может, зря бросил; вот к чему тебя тянет?

— По-моему, ты слишком много думаешь над этой ерундой.

— Это не ерунда, когда ты мрачнее тучи! Так жить нельзя.

— Ты людей на улице видела? — усмехнулся Максим. — У нас тут каждый понедельник что ни лицо — туча!

— Им можно. А тебе нельзя.

— Чего это?

— Что миру посылаешь, то от него и получишь! Все рано или поздно вернется к тебе, и недовольство тоже.

— И где ты только подобного набралась?

Ворчать он мог сколько угодно, а задуматься она заставила. Получается, из-за нее повелся! Одолжил фотоаппарат, отправился в этот лес — да не в ближайший, а в чертову даль, где белки в прыжке дохнут от тоски!

Нет, сначала-то все шло хорошо. Это в городе зима серо-рыжая от соли и песка, сопливая и безлика. В лесу она носила боярскую шубу, селилась на вершинах сосен, с которыми не каждый дом сравнится, и смотрела на людей свысока. Милостиво позволяла себя фотографировать — как те модели, с притворным смущением улыбающиеся с обложек журналов. Она даже нравилась Максиму!

Но недолго. Увлеченный моментом, он и не заметил, как погода испортилась, и стало холодно. Если задуматься, его куртка и сапоги не очень-то подходили для такой зимы... Однако он не задумался, приехав сюда: был слишком увлечен, счастлив даже. А потом как-то разом навалилось осознание: замерз, едва чув-

ствуется ноги, а снег уже спелся с дождем и лепит так, что может и фотоаппарат сломать, если чехол подведет.

Ну и что в сухом остатке? Он будет без фото, возможно, без ног, да еще и с долгом за чужой фотоаппарат!

Поэтому теперь Максим брел к своему временному жилищу в куда худшем настроении, чем то, которое мучило его в городе. Развлекаться оставалось только придумыванием проклятий — для Таньки, леса и всей зимы. Но если Таньке было все равно, разве что икалось где-то в теплой квартире, то лес и погода мстили повсюду. Максиму казалось, что по лицу наждачкой скребут, метель усилилась — пришлось закрывать глаза рукой. В завывании ветра слышался злорадный хохот, и желание осталось только одно: поскорее добраться до дома, забаррикадироваться внутри и ждать весны. Или хотя бы машины, которая вернет в уже любимый серый город.

Но не сложилось, не сейчас. Даже ветер не смог заглушить другой голос — высокий, отчаянный и перепуганный. От неожиданности Максим, до этого угрюмо горбившийся, застыл и расправил плечи, прислушиваясь. Показалось, или ребенок плачет?

Не могло здесь быть ребенка. Ведь специально выбрал лес вдали от дорог и деревень — хотелось одиночества. Да, это была плохая идея, и все равно он не забывал, где находится. Не могло тут быть никаких детей! И все же кто-то был, потому что плач повторился... Или ветер просто решил свести с ума?

Выругавшись так, что, кажется, и верхушки сосен услышали, Максим свернул со знакомой дороги в сторону. Идти здесь было тяжело: сухие ветки, острые от мороза, цеплялись за куртку, ноги уходили в снег уже не по колено, а до середины бедра. Сто раз хоте-

лось развернуться и идти своей дорогой — и сто раз он не позволял себе. Потому что раздражение было не так сильно, как волнение: а вдруг действительно ребенок? Тут же малой больше часа не продержится!

Он не знал, как это понимать, что его ждет. А когда увидел, почувствовал себя еще большим идиотом.

Прямо перед ним в снежной целине зияла яма, образовавшаяся на месте корней выкорчеванного осенней грозой дерева. Из ямы и доносились отчаянные вопли, вот только издавал их не ребенок. Там, внизу, среди грязи и непонятно откуда взявшейся мутной воды, металось что-то маленькое, серое, испуганное до полусмерти. Подняться самостоятельно зверек не мог: края ямы были слишком крутыми да еще и обледеневшими. Ему только и оставалось, что держаться подальше от воды, стекшей в середину ямы. Потому что если бы вымок, это была бы верная смерть!

И откуда там только вода?.. Не должно быть в такой мороз!

Максим осторожно опустился на одно колено, чтобы получше рассмотреть зверька.

— Что ты за хрень такая? — задумчиво спросил он. — Лисенок, что ли? Да, кажется, лисенок...

Услышав голос, зверек замер и посмотрел наверх. Мордочка была залеплена грязью, различить удавалось только глаза, блестевшие ярко, как два уголька из угасающего костра. Дикому зверенышу по идее полагалось шарахнуть от человека, а он бросился к тому краю, над которым оставался Максим. Да еще с таким воем, будто сама мать-лисица за ним пришла!

— Э-э, брат, да ты бешеный! — нахмурился Максим. — Понятно, почему тебя свои бросили!

Но лисенок, видимо, не желал признавать, что бешеный. Он не рычал — он скулил, как щенок. Максим раньше слабо представлял, какие звуки вообще изда-

ют лисы. Теперь вот узнал, что похожие на человеческий плач...

Нужно было уйти. Метель крепчала, и он замерзал. Да еще и зверек точно больной! И яма слишком глубокая... Не соваться же туда! Но черные глаза смотрели так испуганно, так отчаянно, что отвернуться от них просто не получалось.

— А, черт с тобой, давай попробуем!

Максим опустил на оба колена, одной рукой ухватился за корень, другую протянул вниз. Дотянуться до дна ямы он даже не надеялся, но если лисенок окажется достаточно сообразительным и подпрыгнет, что-то толковое может и получиться.

Лисенок оказался более чем сообразительным — и доверчивым. В его крохотную головенку видно и мысли не приходило, что человек может просто содрать с него шкуру. Он бросился к Максиму охотно, будто давно знал. Это настораживало и забавляло, так что Максим решил не отступать. Рукавица на руке была достаточно толстой: чудик не прокусит, даже если бешеный, зубок не хватит.

С первого раза у лисенка ничего не вышло — не дотянулся. Со второго могло бы, да только Максим почувствовал, что обледеневшая рукавица начинает соскальзывать с корня.

Выбор был невелик: либо падать в яму, либо оттолкнуться руками и остаться на краю. Выбрал второе — он не собирался рисковать из-за безмозглого звереныша. Поэтому когда лисенок прыгнул во второй раз, никакая рука помощи его больше не ждала. Зверек ударился о заледеневшую землю и скатился вниз, угодив передними лапами в мутную воду.

Ну все, конец ему теперь. Мокрый, он там точно долго не протянет. Да и так бы не протянул: приро-

да, у нее всегда так! Сколько дохлых лис под снегом валяется?

Убедив себя, что это не его дело, Максим развернулся и пошел прочь. Оставаться здесь было опасно: ноги не просто замерзли — они болели. Уж точно не хотелось, чтобы его жизнь закончилась столь нелепо, и он не сомневался, что сможет проигнорировать отчаянный, испуганный вой, поднимающийся из ямы к небу.

И почему-то не смог...

На душе становилось все тяжелее. Здравый смысл убеждал, что нельзя останавливаться, еще с десятков шагов — и вой окончательно скроется за песнями ветра. Но в душе впервые появилось нечто большее, чем здравый смысл, сильное, незнакомое... Словно речь шла не о простом животном. Словно оно, грязное, ничтожное и уже обреченное, было важно лично для него. Да, можно пройти этот десяток шагов, но тогда незримые нити, связавшие его с той ямой, вырвутся из-под кожи и потянут обратно.

Проще уж вернуться. Максим по-прежнему считал, что это дурацкий поступок, но теперь все хотя бы происходило на его условиях.

На этот раз он не осторожничал — надоело. А сразу спрыгнул в яму, чудом избежав холодной воды. Лисенок мгновенно прижался к его ногам, и Максим почувствовал, как он дрожит всем своим тщедушным тельцем. Сердце кольнуло — неприятно как-то, больно. Но сейчас не было времени раздумывать, что да почему. Скрутив из широкого шарфа подобие люльки, Максим усадил туда лисенка, чтобы освободить обе руки для подъема. Зверек покорно застыл, и его глазах было что-то странное, почти человеческая благодарность — и почти человеческая обида.

И снова Максим заставил себя не думать. И без

того тяжело! Даже ему, человеку, удалось выбраться из ямы не сразу. А дальше он и вовсе бежал — насколько позволяло замерзшее тело. Наваливались ранние зимние сумерки, будто гнались за ними, не желая отпускать такую редкую добычу. Но Максим все равно успел, добрался до домика, и темнота бесильно клацнула челюстями за закрывшейся дверью.

Тут было легче. Разжечь огонь, кое-как обработать отмороженные ноги, приготовить еду... Стараясь при этом не замечать лисенка, следовавшего за ним, как тень.

— Я тебя все равно не оставлю, — предупредил Максим. — Завтра же сдам леснику, пусть сам решает, что с тобой делать!

Лисенок продолжил смотреть на него так, что у Максима мурашки по коже шли — здесь, в тепле больше, чем в ледяном лесу. Зверек прихрамывал на обе передние лапы, угодившие в воду, однако в остальном казался вполне здоровым. Максим понятия не имел, что будет дальше. Уснул, наблюдая за свернувшимся рядом с ним лисенком.

А утром проблему решать не пришлось — проблемы уже не было. Когда Максим проснулся, лисенка и след простыл. Дверь, которую он вчера так надежно запирали, оказалась приоткрытой, от нее тянуло холодом, а за порогом на свежем снегу начиналась цепочка одиноких маленьких следов.

— Хитрый пацан, — усмехнулся Максим.

Он понятия не имел, как зверь размером с кошку дотянулся до дверной ручки. Да и не хотелось знать. Впервые за много-много дней на душе было легко и светло, и черная пелена, которой он не мог найти объяснения, отступила. Ноги все еще болели, но даже это не могло испортить настроения. Максим чувствовал: все сложилось, как надо.

* * *

Он умрет, точно умрет. А скорее всего, давно умер. Никто уже не сомневался.

Максим знал, что должен что-то изменить, хоть на что-то повлиять, но понятия не имел как. В душу закрадывалось холодное, липкое отчаяние побежденного. Он уже сделал все, что мог, и это ни к чему не привело!

Только и оставалось — надеяться на спасателей, однако они, кажется, тоже перестали верить в чудо.

Ребенок пропал вчера вечером. Он выжил бы, если бы им удалось найти его до наступления темноты. Но ночь почти завершилась, лес становился серебристым от рассвета, а Саши нигде не было. Разве мог пятилетний мальчик пережить осеннюю ночь в самой чаще, один? Нет, конечно. Они найдут только тело... если очень повезет. Но даже понимая это, Максим отказывался принимать такую реальность. Ведь если смириться с тем, что сына больше нет, все рухнет!

Ему было что терять, и жизнь, в какой-то момент казавшаяся безнадежно выцветшей, вдруг снова заиграла красками. Когда он лечился от воспаления легких после той злосчастной поездки в северный лес, то был уверен, что бросит Таньку — это ж была ее дурацкая идея! А когда она пришла к нему, понял, что расстаться с ней просто не сможет. Все равно еще пару лет непонятно зачем мотал нервы ей и себе; по-другому не получалось, и только потом была свадьба.

И появился Саша. Все стало на свои места, все стало правильным... До этого дня.

А ведь Максиму не хотелось сюда ехать! После того, как чуть не замерз насмерть, он старался держаться подальше от глухих лесов. Казалось, будто там на него смотрит кто-то. Он не знал, кто. Да и не хотел знать.

Были ведь еще городские парки, озера, морской

берег! Но Таньку потянуло сюда — друзья на пикник собрались, природы захотелось. Она пообещала Максиму, что они не будут сходить с дорожек, и он согласился. Глупо бояться природы всю жизнь.

Им было весело — настолько, что Максим расслабился, убедил себя, что его страхи ничего не стоят, а потом стало слишком поздно. Никто не заметил, когда Саша ушел, как вообще выбрался с огороженной детской площадки. Он словно растворился в холодном осеннем воздухе!

Сначала его искали своими силами, потом подошли спасатели. Обошли каждый метр леса, заглянули под каждый куст, не упустили ни одну яму, но все было бесполезно. Даже служебные собаки не могли взять след Саши! Максим пытался узнать, что происходит, но кинологи лишь пожимали плечами:

— У таких мест свои правила.

— Вы издеваетесь?!

К утру все устали — и начали понемногу, неохотно признавать неизбежное. Зима еще не вступила в свои права, но ночи уже были холодные. Тут и взрослый не выжил бы, что говорить о маленьком мальчике! Танька могла бы обвинять его, а вместо этого прижималась к мужу, словно ждала чего-то.

Максим не мог больше выносить подобного. Он тоже устал так, что едва стоял на ногах, и все равно двинулся к темной стене деревьев.

— Саша! — крикнул он.

Жена не стала спрашивать, зачем, она словно этого и ждала. Пошла рядом, и ее голос, кажется, летел еще дальше:

— Саша, где ты?

Они не надеялись на ответ — и вдруг получили его, из чащи, из темноты, которую еще не забрал рассвет:

— Мама! Папа! Мама!

Он выбежал к ним сам. Максим глазам не мог поверить: даже сохранив надежду, все равно не думал, что это может быть так просто. Но было же! Их сын сам выбежал навстречу, живой и невредимый, пускай и грязный, промокший до нитки. Первой его подхватила на руки Таня, а Максим уже обнял их обоих. Чувство, что из леса на него смотрит кто-то, вернулось, но теперь он не боялся этого взгляда. Он понятия не имел, почему ему отдали сына... И как странно было думать именно так: отдали, а не нашелся!

Дальше все закружилось, и было не до рассуждений. Прибежали друзья, спасатели, врачи. Маленького Сашу понесли к машине «скорой», родители не решились отойти от него ни на шаг.

— Жить будет, — довольно кивнул пожилой доктор. — Обезоживание, конечно, переутомление, шок... Но переохлаждения нет — вот где повезло! Должно быть, нашел, где укрыться на ночь...

— А с ручками что? — испуганно спросила Таня. — На ручки-то посмотрите!

Кожа на ладонях и пальцах действительно выглядела пугающе: красная, чуть опухшая, с редкими кровавыми трещинами. У Максима от одного взгляда на нее сердце сжалось! И стало только хуже, когда заплаканный Саша наконец заговорил:

— Папа, почему ты долго не приходил?

Он смотрел только на Максима — не на спасателей и даже не на мать. Будто один Максим мог спасти его, но намеренно не спас!

— Шурик, да ты что? — опешил Максим. — Я искал тебя!

— Ты от меня ушел... Но потом пришел!

Спасатели уже смотрели на него с осуждением. Глупость! Максим ни разу не уходил в чащу один, ря-

дом все время оставалась или Таня, или кто-то еще. Он бы никогда не прошел мимо родного сына! Но в глазах ребенка плескалась такая обида, что спорить с ним просто не получалось.

Это шок, должен быть, шок... Ничего, главное, что нашелся, потом все станет на свои места!

Таня, видимо, тоже так считала. Она поцеловала сына и прошептала:

— Сашенька, сыночек, тебе показалось! Мы с папой тебя очень-очень искали, но никак не могли найти! Ты — папино главное сокровище, он бы тебя никогда не оставил там!

Саша всхлипнул, но больше ничего не сказал. Решив, что он успокоился, Таня повернулась к врачу, осматривавшему его ручки:

— Так что с ним?

— Обморожение, но не сильное. Похоже, просто угодил в очень холодную воду обеими руками, бывает! Считайте, легко отделался. В этом лесу многие пропадают; дети и взрослые, а потом никого не находят — ни живых, ни мертвых. — Сообразив, что ляпнул лишнего, врач поспешил добавить: — Но вы не переживайте, вашему-то повезло! Это ж именно удача, не нужно искать, за что и почему... Просто некоторых лес отпускает — и кто его поймет, как он делает выбор!

Владимир СОФИЕНКО
(г. Петрозаводск, РФ)

Небесная кобра

Рассказ

В это замкнутое пространство с удушливым запахом пыли, старых вещей и человеческой плоти она угодила ещё до захода солнца. Казалось, с первыми лучами нового дня выход из него найден, но невидимое препятствие встало на пути, разграничив пустоту, оно не пускало к свету. На мгновение она замерла, будто пытаясь угадать правильное направление. Её усики на голове чуть дрогнули, и она вновь закружилась в изящном танце, словно ощупывая вокруг себя пространство. Сделав заключительный крутой пируэт, оса на мгновение замерла. В нетерпении она взмыла вверх и вот уже в который раз, зло жужжа, врезалась в солнечный свет. Теперь он не был напоен дыханием луговых трав, дурманом цветов и тем нежным приторным ароматом вязкого нектара, который завлёл её в эту западню. Без этих запахов свет казался стерильным. Оса затихла, набираясь сил. Полосатое брюшко небесного убийцы нервно подрагивало на слепой поверхности света, будто пытаясь ужалить не-

видимого врага. Свет манил её, подсказывал направление домой, но правильной дороги оса отыскать не могла.

— Ну, надо же, ещё одна! Откуда только берутся?! Вот уж действительно — мёдом намазано, — дед Семён отложил в сторону очки, аккуратно, чтобы не помять портрет нового «хозяина» Кремля, согнул только что прочитанные «Аргументы» вчетверо — до нужной упругости газетных листов, приоткрыл пошире форточку и, подпихнув под мохнатое брюшко осы газету, смахнул её на улицу. — Надо бы крышки на банках воском залить, а то от этих ос никакого покая.

Дед заглянул под кровать убедиться, хорошо ли вчера расставил банки с мёдом. Кряхтя, выпрямил спину, снова развернул газету, в который раз, рассматривая фото с надписью под ним «Б. Н. Ельцин».

— Да-а, — задумчиво протянул дед Семён, — вот так же и люди; бывает, всё бегают по белу свету, чего-то ищут, мыкаются, будто котята слепые, в поисках своего, с ума сходят; от судьбы своей скрываются... А она вон где, рядом, — он махнул газетой в сторону окошка, — только поширше открой зенки свои — и на свободе.

С недавних пор ему нравилось говорить с самим собой.

Вчера деду Семёну внук привёз бидончик мёда. Деревня Елино, где он жил в сезоны заготовки мёда, находилась в шестидесяти километрах ниже по реке от дедовой деревни Листвянки. Дорога туда даже для уазика прижимистого внука не всегда была «проходимой» — опять же бензин... Виделись они редко.

«Не за зря Стёпка ко мне наведалься, — думал дед Семён, принимая от неожиданного гостя бидончик, — что-то выведать хочет, делец. Неужто бабий трёп уже до Елино дошёл? Может, Алексей чего сболтнул спьяну? — гадал он.

Объектом бабьего, пристального внимания дед Семён стал совсем недавно. Много ходило кривотолков по сибирской деревушке о его походах в тайгу. Одна небылица сменяла другую. Дед всё молчал — только улыбнётся очередной байке, услышанной вполуха. И Лёху, помощника своего, он заподозрил понапрасну — в тайге всегда глаз хватает. В этих краях всем известно: человек и зверь — каждый своею тропкой шагает. Незачем виду показывать, особенно когда человека встретишь, нет зверя страшнее, чем он... Кто ведаёт, что несёт путник в себе? Как тяжела его ноша? На то она и тайга — человек здесь меняется: сбрасывает маски, как змея весной кожу, становится самим собой. Всякого повидала тайга: жадность, трусость, зависть, досаду по утраченным мечтам и обиды прошлого. Прибирала потом за людьми, прятала следы слабости их и злобы, прикрывала хвоей да сучьями, приводила падальщиков на кровавое пиршество. Каких только басен в деревне про деда Семена не плели! Целую историю насочиняли! Судачил в деревне и стар и млад, а было ли, не было, в точности никто не знал. Леха молчал, как партизан. Болтали, будто видел деда охотник один с дальней заимки. Рассказывали, что было это на речке Змеёвке у заброшенной базы «Сибпромохота»...

Всё случилось этой весной. Как только стаял снег, все деревенские отправились в тайгу резать колбу. Уходили на полдня. Самые выносливые возвращались под вечер, волоча на себе рюкзаки, корзинки,

ведра, набитые луком—победным и первым таёжным первоцветом — кандыками и ветреницами. Весной ни один стол сибиряка без колбы не обходится. Её до-
бавляют в окрошку, в салаты, едят просто со смета-
ной, приправляют к шашлыку, солят на зиму, маринуют... Самые предприимчивые ещё успевают продать
ленивым фирмачам пучок-другой, разложив свой не-
хитрый товар вдоль трасс. Молодёжь облюбовывает
пригретые весенним солнцем полянки, и, пока собира-
ется окрест колба «на закусь», в стеклянные банки
бодрой струйкой из полого стебля камыша или об-
ломка шариковой ручки, вставленных в берёзу, сте-
кает сок — «на запивку». У каждого сборщика этой
таёжной травы есть свои заветные места. Было такое
местечко и у Семёна Пантелеймоновича Семёнова —
Семёнчика, как называли его в деревне. Туда и хажив-
вал он так часто, как только ноги носили.

Семёнчик — невысокого роста, жилистый старик
с не по летам еще сильными мозолистыми руками.
Старуха его умерла пять лет назад. После её смерти
потемнело его прежде улыбчивое лицо, как-то сразу
расплылись тёмными пятнами веснушки. Плечи опу-
стились, повисли, налились тяжестью руки. Всегда
охочий перемолвиться словом, он теперь по большей
части на людях молчал: пробубнит что-то себе под
нос на приветствие — даже не взглянет. Пёс Умка —
и тот приуныл. Давно никто не слышал его звонкого
лая на вечерней переключке дворовых собак. Бывало
выйдет из будки, тявкнет о чём-то своём-собачьем,
громыхнёт цепью и назад — морду высунет да так и
лежит целый день. Уходил Семёнчик в тайгу нена-
долго и всегда старался вернуться засветло. Отвяжет
пританцовывающего Умку, махнет рукой дремлющей
на солнышке соседке, мол, привет Никитична, попра-
вит старенькое ружьё за спиной, закроет на крючок

калитку — и в тайгу. Солнце — в зените, а Семёнчик уже скрипит калиткой: бывай, мол, Никитична...

Дремлющая в дозоре у своего забора соседка встревожилась сразу же, как только в первый вечер не заметила привычного подрагивания электрического света за обтерханнами, посеревшими от времени занавесками в окнах Семёнчика. Пару минут Никитична напряженно всматривалась в тёмную глыбу дома, в глазницы окон с покосившимися разъявленными ставнями. Её подбородок мелко затрясся от тревоги, она с трудом встала и, шамкая впалым ртом, пошаркала к забору. Ухватившись обеими руками за штакетник, Никитична скрипучим голосом покликала в темноту двора:

— Семёнчик, слышь, что ли?

Придерживаясь рукой за забор, она заглянула во двор, пытаясь рассмотреть нежилую сторону дома, куда после смерти своей старухи дед уже не хаживал. Дом молчал. Старуха вернулась к калитке.

Позвала:

— Умка! — Рядом с осиротелой будкой недвижно лежала железная змея цепи.

Старуха снова огляделась — ни души. Когда-то их с Семёнчиком дома стояли в самом центре деревни. Теперь к ним на косогор вела одна-единственная тропка.

Внизу, в струях тумана, заглотившего улицы одну за другой, перемигивались окнами старые приземистые домики, будто передавая друг другу на расстоянии свежие сплетни. В густом, щедром на весенние таёжные запахи воздухе, слышалось жужжание уже проснувшихся ос, мух, покрикивали лесные птицы. Никитична посмотрела на тропку, круто ведущую

вниз, вздохнула. «Может, к внуку своему подался? — подумала она. — Вот и Умки нет». Подул холодный ветерок. Соседка поправила на сгорбленных плечах телогрейку и решила оставить всё как есть до утра.

Утром, когда уже собиралась бежать к участковому, Никитична услышала привычный скрип калитки возле дома напротив. Она хотела было расспросить Семенчика что да как, но, пока обдумывала, как подойти к нелюдимому соседу, крючок с легким дребезжанием упал в ушко на створке. Умка занял пост у будки, а входная дверь в дом гулко хлопнула. С того времени Семёнчик стал часто уходить в тайгу на два — на три дня. Дед сильно изменился — шагал по улице загорелый, подтянутый, на плече — лопата, глядел по сторонам — физиономия рыжей щетиной топорщится. В глазах — огоньки шальные, будто знает чего-то, но уж точно не скажет никому. Рядом Умка голосит — соседских собак дразнит. Что за чудо?!

«К полюбовнице, наверное, шастает на болота», — судачили старухи.

В тот самый день, когда Семёнчик в первый раз не вернулся домой, переполошив Никитичну, он по обыкновению пошёл на своё место собирать колбу. Но, задумавшись о чем-то по дороге, заплутал. Очнулся уже на зимнике. «Тьфу, ты! — в голос ругнулся дед. — Занесла же меня нелёгкая в этакую даль! Ты бы хоть твякнул, что ли, — сердито посмотрел он на вилявшую хвостом собаку. — Теперь домой успеть бы засветло». Но тут Семёнчик вспомнил, что дорога эта вела на заброшенную базу треста «Сибпромохота». Когда-то трест активно занимался сбором ягод и дикорастущих растений. Он помнил, как ещё мальчишками они бегали по этой дороге, чтобы посмо-

треть, как возводятся корпуса. В юности Семёнчик даже успел поработать на ней помощником мастера. В середине восьмидесятых трест обанкротился, а его имущество ушло с молотка. Остались лишь никому не нужные стены конторы и хранилища как памятник Перестройке.

До базы было рукой подать. В том месте речушка Змеевка делала ещё один причудливый поворот. Её так и называли за то, что прямых мест в ней раз-два и обчёлся — кружила она по тайге серебряной змейкой туда-сюда. Звонко бежит между болотцами и озерами, озорно перекачивается по пихтачам и ельникам. Такая речка — беда для путешественников. Держишься её левого берега, глянь — а она уже справа бежит. Наверное, и с дедом Семёном она сыграла недобрую шутку — погруженного в свои мысли, завела его подалее от заветного пихтача, будто жаль стало ей для деда таёжного лука. А ещё как на грех ружьишко своё дома оставил... Поразмыслив, дед решил переждать ночь на старой базе: «Пойдём, Умка. Знать, судьба нам ночевать в тайге. Авось обойдётся!»

Лес кончился неожиданно. На Семёнчика уставилась своими осиротелыми проёмами окон контора треста «Сибпромохота». Солнце уже касалось верхушек деревьев, вечерело, надо было готовиться к ночлегу. По дороге Семёнчик плотно набил рюкзак хворостом и, увидев под ногами подходящую деревину, схватив её за один край, поволок к месту будущего ночлега.

Асфальтовая дорожка, ведущая от решетчатых ворот вдоль покосившегося, наполовину сгнившего забора со следами отколупывающейся зелёной краски, заросла травой. Всюду валялись ржавые железки, болты, гайки, куски труб, согнутая в диковинные клубки проволока и всякий другой хлам, указываю-

щий на полное запустение некогда процветающего предприятия. На первом этаже конторы когда-то находился гараж. Теперь сорванные с петель железные ворота валялись неподалеку от входа. «Черметовцы орудовали, — догадался дед Семён. — Как же они собирались вывести такую громадину? Чудно!» Оставив рюкзак и деревину в гараже, он решил сделать ещё одну ходку за дровами. Острым охотничьим ножом нарезал лапника, поверх уложил толстую сухую ветку, хорошенько стянул один край ремнём, и, ухватив за свободный край, поволок своё будущее лесное ложе в гараж. Уже на самом выходе из тайги, у глухого распада, Семёнчик приметил зелёную щетину колбы. «А вот и ужин!» — довольно думал он, когда аккуратно срезал зелёные побеги и набивал ими карманы куртки. Возле гаража Умка, крутившийся всё время рядом, вдруг насторожился, в глотке у него глухо заклокотало, но в голос не залаял. Он с тревогой смотрел туда, где тёмная лента реки, тянущаяся прямо около километра, делала крутой поворот, скрывалась из виду. Дед Семён знал своего пса — Умка понапрасну тревожиться не станет. «Эх, ружьишко дома оставил...» — пронеслось у него в голове.

Через пару минут и до Семёнчика долетел низкий ровный звук. Что это?.. Из-за облаков вынырнул самолёт и, всё быстрее и быстрее увеличиваясь в размерах, стал приближаться к полуразрушенным постройкам «Сибпромохоты». Умка, приподнявшись на задние лапы, звонко, заливисто залаял. Выйдя из оцепенения, Семёнчик, повинуясь какому-то бессознательному внутреннему порыву, махнул крылатой машине. Темный силуэт самолета развернулся в воздухе и пошел на разворот. Снова зайдя в створ реки, машина стала снижаться. Почти задевая шасси верхушки деревьев, она долетела до начала плато, и, ныр-

нужно вниз, коснулась темно-бурых плит каменной поверхности пляжа, которые тянулись вдоль правого берега речки.

Из-под колёс взметнулось облачко пыли, двигатель надрывно взревел, и, замедлив ход, винтокрылая машина покатила вдоль речки в сторону базы. Забор в том месте уже окончательно сгнил, щерясь в небо редкими столбами пролётов, и Семёнчик мог видеть, как из кабины военного самолёта (именно военного!) вылез лётчик в кожаной куртке и шлеме. Спрыгнув на землю, он жестом подозвал остолбеневшего деда. Семёнчик не сомневался — перед ним стоял военный истребитель времён Второй мировой войны! Уж он-то насмотрелся этой техники на ремонтных площадках! В тот военный год их семья жила в Красноярске. Отец Семёна Пантелеймон был механиком, как говорится, от бога, мать сутками пропадала в госпитале, вот и болтался пятилетний Сёма то в госпитале, то на ремонтной площадке.

Там и приклеилось к нему на всю жизнь ласковое «Семёнчик». Ремонтники то и дело подзывали: «Семёнчик, принеси это! Семёнчик, подай то!»

Тогда основной американской машиной, идущей на фронт, был истребитель «Aircobra», или просто «кобра», как её называли лётчики. Самолёт неплохо себя зарекомендовал в бою, но к русским морозам был совсем не готов. Вот и приходилось ремонтникам в Красноярске адаптировать машину к российским широтам: меняли непригодную для студёной погоды резину, заморские антиобледенители на наши — морозостойчивые да трубки покрепче ставили... Некоторые лючки на «кобре» были настолько малы, что в рукавице только детская ручонка и могла пролезть, а без рукавиц работать было невозможно — пальцы на

морозе мигом деревенели. Вот и намёрзся тогда маленький Сёма, помогая взрослым, чем мог.

Именно туда по красноярской воздушной трассе Уэлькаль — Сеймчан — Якутск — Киренск — Красноярск перегоняли американские самолёты наши пилоты по договору союзных государств. Там в короткие минуты отдыха механики передавали услышанные от летчиков истории об опасных, а подчас и гибельных перелётах через Чербский и Верхоянский хребты, Оймякон, где самым страшным врагом наших асов были лютые морозы. Рассказывали, к примеру, про летчика Терентьева, как-то у Верхоянского хребта у его «кобры» отказал двигатель. Так вот он сумел посадить машину в непроходимой тайге прямо на речку. Говорят, если бы не олениводы — так замёрз бы. Накрепко засела в памяти маленького Семенчика услышанная история, часто он представлял себе этого Терентьева, а по ночам и сам вместе с ним героически сажал «кобру» в лесу и встречался с олениводами.

Чего только ни передумал, чего только ни припомнил дед Семёнчик, пока приближался к истребителю, заодно и себя в очередной раз поругивал, что оставил дома ружьё. Потом и вовсе успокаивал себя, что самолёт дескать принадлежит какому-нибудь историко-патриотическому клубу да неопытный пилот заблудился. Дед не раз видел телепередачи с такими игровыми баталиями, когда участники, переодевшись в форму солдат разных эпох, а то и вовсе облачившись в латы, ходили стенка на стенку. Ну, дети детьми! Чем только народ себя ни развлекает! Их бы удаль да на сенокосе... А самолет-то с каждым шагом становился всё ближе и ближе — пилота уже разглядеть можно. Что-то подсказывало деду: всё, чем он себя только что успокаивал, — выдумки. Настороженная поза,

расстегнутая кобура, нервно поддрагивающие кончики пальцев у рукояти пистолета, подозрительный взгляд усталых цепких глаз выдавали сильное напряжение человека.

Как ни старался Семёнчик идти твёрдо, колени его предательски поддрагивали. Чую недоброе, вытянув вперед смолянистую морду с белым «бланшем» под правым глазом, будто перед ним добыча, рядом опасно шёл Умка. Истребитель картинкой из далёкого военного детства лачил глаза свежей краской. Нос самолёта опирался на длинную тоненькую стойку и в сгущающихся сумерках напоминал неуклюжего гигантского таёжного комара, впившегося жалом в камень.

— Лейтенант Терентьев, лётчик, — первым представился пилот.

— Дед Семён, танкист, — вспомнил Семёнчик былые армейские годы и даже как-то приободрился.

— Шутник ты, отец, — чуть улыбнулся лейтенант, — в русско-японскую танков еще не было.

После крепкого рукопожатия он как-то сразу обмяк — усталость взяла своё, снял шлем, обтер рукавом взмокший лоб.

— Совсем вымотал меня Верхоянский, двигатель забарахлил, думал всё — конец. А тут гляжу — полосочка вдоль речки что надо — ровная, гладкая. У этого коня чуть что — нога передняя подламывается, а сейчас ничего, выдержал. — Лейтенант ласково посмотрел на «комариное жало».

— Населённый пункт далеко?

— Да как сказать? — замялся Семёнчик. — Если вдоль реки — одно дело. Напрямки, через чащу — другое.

— По карте показать сможешь?

— Чего же не смочь. — Нижняя губа Семёна обидчиво оттопырилась.

Лейтенант снял планшет, развернул карту.

— Вот здесь, — дед уверенно ткнул пальцем и, немного поколебавшись, заглянул лётчику в глаза:

— А ты откуда, сынок? — от былой настороженности деда, казалось, не осталось и следа.

— Бдительность проявляешь, отец? Правильно. Время сейчас такое. Посветить есть чем? — Лётчик зачем-то расстегнул нагрудный карман.

— Я сейчас костёр налажу — холодно уже, — засуетился дед.

— И то верно, заодно поужинаем. Как тут у вас с продуктами?

Да есть маленько. — Семёнчик вспомнил о краюхе хлеба на дне рюкзака и душистом сале, предусмотрительно захваченных на всякий случай. С колбой это уже деликатес! Он в предвкушении вытащил из кармана добрый пучок таежного лука.

Ничего, отец, — увлажнившиеся глаза лейтенанта вдруг загорелись ненавистью.

Он смотрел, как на западе зарево цвета киновари уже залило своим огнём пики вековых деревьев, и отблески этого пожара трепетали в его глазах.

— Разобьём фашистов — заживём! — всё больше распаялся пилот. — За всё ответят сволочи! За товарищей, что в тайге лежат, за то, что вы тут травой питаетесь, за всё! — Пилот сжал кулак и угрожающе потряс им в воздухе.

«Нет, на любителя не похож, — подумал дед, — слишком натурально играет».

— Тебе там сверху виднее, сынок, когда войне-то конец? — решил подыграть дед, чтобы мысленно выдать окончательный диагноз заигравшемуся «лейтенанту».

— Скоро, отец, скоро. От американских лётчиков я слышал, что вот-вот второй фронт откроется.

Дед почесал затылок. Глянул на новенький истребитель, потом на лётчика, задержал взгляд на Умке и махнул рукой:

— Шут с ним, пойдём ужинать, — и про себя добавил: «Поедим — увидим».

— Ради такого дела отвеедем «второго фронта», — лётчик подмигнул, запрыгнул на крыло и, перегнувшись в кабину машины, покопался в своих вещах.

— Держи, дед! Чёрт с ним — с этим НЗ. — Он кинул вниз какой-то темный предмет.

Семён ловко поймал его и обомлел. В лучах заходящего солнца ещё можно было разглядеть на поблескивающей желтоватой поверхности жестяной банки надпись: «Свиная тушенка», ниже шли какие-то письма на английском. Семёнчик их не понял, а в самом низу, возле самого доньшка банки — уж никак не ошибиться — было выбито: New York, N. Y. ... Семёнчик узнал её: точно такую же банку американской тушенки он как-то получил в свой день рождения от одного летчика-истребителя на ремонтной площадке в Красноярске зимой сорок третьего года. Он уже не помнил, какая на вкус была тушенка, но блестящая банка с надписями на русском и английском языках ещё долго стояла на полке, напоминая ему о военном детстве. Дед зачарованно смотрел на банку. Лейтенант что-то эмоционально рассказывал, шагая взад-вперед рядом с оглушенным таким совпадением Семёнчиком, но тот его будто бы и не слышал.

— ...Скажи там у вас в сельсовете, так, мол, и так, пусть людьми обеспечат, — потряс его за плечо пилот.

— Что? — встрепенулся Семёнчик.

— Я говорю: людей бы сюда, чтобы пляжную полосу подровняли. Мало ли что. Мне вот повезло — при-

землился. А я своим доложу, что есть на экстренный случай запасная полоса. Ну, договорились?

— Угу.

— Хворост имеется? — лётчик потряс коробком со спичками.

— Угу, — задумчиво ответил дед и вытряхнул из рюкзака хворост. Он взял протянутый в темноте коробок — на этикетке нарисованный истребитель с красными звездами преследовал горящий самолёт со свастикой. Привычным движением Семёнчик достал спичку и чиркнул о шероховатую поверхность серы. Спичка вспыхнула. Вдруг порыв ветра загасил огонь. Дед, наконец, решился: он чиркнул снова и полуласково, участливо спросил:

— А скажи-ка, мил человек, какой сегодня, потвоему, год?

Семёнчик поднял спичку так, чтобы в сумерках можно было разглядеть лицо напротив. Никого не было. Дед вышел из гаража, огляделся — никого.

— Что за чертовщина?! — прошептал он пересохшими губами.

— Солдатик! — жалобно позвал он в темноту.

Тишина.

Он глянул на речку, и неприятный холодок пробежал у него по спине. В наступившей темноте ещё можно было разглядеть, что никакого самолёта там не было — даже следов. Речка была, черная стена тайги по-прежнему прикрывала пляж, где еще недавно стоял истребитель, но сама машина как в воду канула. Семёнчик, в глубине души сожалея о своём партийном прошлом, три раза выразительно перекрестился:

— Царица небесная, спаси и сохрани!

Всю ночь дед не сомкнул глаз. Полная луна присматривала за Семёном огромным жёлтым глазом, заливая серебром ровную дорожку пляжа. А дед палил

деревину, и ему мерещилась всякая нечисть: то тень отделится от деревьев на том берегу реки, то сама река вдруг оживет причудливыми тварями, то вскрикнет в тайге кто-то жалобно. Умка тоже не спал. Отойдёт от костра недалеко, прислушается, мордой поводит — запахов тревожных соберет и — назад, к огню, под защиту хозяина. С первыми лучами Семен засобирался в обратный путь. Только дома, плотно закрыв за собой дверь и зашторив окна, он заглянул в рюкзак. Вынуть банку сразу не решился, всё ощупывал, рассматривал в темной утробе рюкзака, словно не верил холодку под пальцами, а потом, вытащив банку с тушенкой на свет божий, постановил по центру стола и долго глядел на нее.

— Хорошо, — сказал он, наконец, сам себе, — посмотрим.

На следующее утро Семёнчик был во всеоружии. В рюкзаке уже лежала нехитрая снедь с расчетом на три дня, коробка с патронами, тёплый свитер и другие нужные в тайге вещи. Задержавшись в сених, дед выхватил из груды сложенных в углу огородных инструментов лопату, возле крыльца отвязал радостно прыгающего Умку.

— Где пропадал, Семёнчик? Я вчера уж хотела к участковому идтить, — окликнула возле калитки соседка Никитична.

— Ты лучше приставь его к Лёхе, внуку своему. Опять рулады ночью под окнами выводил, — отрезал дед, пресекая расспросы.

Крючок на калитке брякнул, и хозяин, не обращившись, поспешил в сторону леса — Умка не отставал. Теперь дед шёл короткой дорогой и к полудню был на месте. Набрал хвороста, наломал ещё лапника, оборудовал место для ночлега и стал ждать. Самолёт

появился неожиданно, как и накануне. Махнув звёздными крыльями, пошёл на посадку. Притулив в угол ружьё, Семёнчик теперь сам вышел навстречу лётчику.

— Лейтенант Терентьев, лётчик, — первым снова представился пилот, будто и не виделись они вчера.

Тот же тревожный взгляд, нервные пальцы у кобуры...

Семёнчик тоже представился.

— Что за строения? — поинтересовался лётчик.

— Да вот... Охраняю, — уклончиво сказал дед.

Пошли к кострищу, разговорились: «Вот — второй фронт... Надо бы полосу подготовить... Хворост есть?» Семенчик добросовестно отвечал на все вечерашние вопросы, внимательно слушал будто заученную речь пилота о пригодности полосы. А в полночь сказочной Золушкой снова исчезли и лётчик, и самолёт.

К середине июня в кухне на столе у Семёнчика красовались пятнадцать банок американской тушенки и пятнадцать неполных коробков спичек. Дед Семён всё так же исправно ходил в тайгу, счищал лопатой мох с каменистой поверхности пляжа, срезал кусты, встречал самолёт. Он давно перестал терзать себя вопросами и разными думами: что за самолёт, откуда он берётся, кто такой этот лётчик Терентьев? Всё равно ничего не надумаешь. Работы было много, и дед, как когда-то маленький Сёма, так же помогал своим. Вновь после смерти своей старухи он радовался жизни, ему нравилось встречать самолёт, «удивляться» второму фронту и даже слушать заезженную речь пилота. Дед как-то попытался сменить тему разговора, но лётчик, словно не слышал Семёна, гнул своё: надо, мол, полосу делать — и всё тут. И Семёнчик делал. Только вот силы у него были уже не те. Это

раньше, в молодости, он мог на себе целые небольшие стволы деревьев таскать. Теперь же ему нужен был помощник, чтобы свалить пару пихт. Работника следовало подобрать неболтливого и в руках чтобы сила была — не на прогулку идти. После недолгих раздумий выбор пал на Лёху-десантника — внука Никитичны. Было ему под тридцать. Лёха этот после армии в город подался, в деревне говорили, что там на него то ли братки наехали, то ли он сам в братках ходил. В общем, сбежал он из города от кого-то — может, от властей, а может, от бандитов. История тёмная, но Семёнчика не это заботило. Лёха сильно пил. Бывало вечером начнёт песни орать — спасу нет. Утром ходит по дворам — работу ищет, где за деньги, где за поллитру, а вечером снова заводит «Ан двенадцать набирает высоту», и под конец песни какой-то паренёк, «не найдя купола над головой», в очередной раз разбивался насмерть. Последний куплет всегда шел вперемишку рыданиями Лёхи и диким воем Буяна, собаки Никитичны.

— Ну что, пихту завалить сможешь? — спросил дед Лёху.

— Для тебя, дед, хоть слона завалю, — Лёха возвращался с халтуры и был навеселе. — Я, Семёнчик, всегда правофланговым был. — Двухметровый детина самодовольно улынулся и сильнее заломил на голове замазанный голубой берет.

— Ты сегодня свою шарманку не заводил бы...

— Какую еще шарманку? — мутные глаза Лёхи подозрительно уставились на соседа.

— Ту, из-за которой десантник всё падает да никак разбиться не может. Выспаться надо. Пойдём спозаранок.

Наутро изрядно помятый Лёха зашёл к Семёнчику.

— Дед, аванец бы мне...

— Какой ещё «аванец»? — сурово поднял бровь Семёнчик.

— Грамм сто...

— Ничего, на месте опохмелишься, гвардеец. Жди меня во дворе, — дед был непреклонен.

Перед выходом Семёнчик открыл шкаф в спальне, извлёк из-под всякого тряпичного хлама огромную бутылку с коричневатой жидкостью, с усилием вытащил пробку, поморщился от самогонных паров, ударивших в нос и, наполнив жидкостью поллитровку, сунул её в рюкзак.

Всю дорогу Лёха молчал. На его красном от ночного веселья, взмокшем лице были видны следы похмельных страданий. Он плёлся, плохо разбирая дорогу, тяжело дышал перегаром в спину Семёнчику. К базе вышли, как говорится, по графику — как планировал дед.

— Не томи, Семёнчик, — заскулил Лёха, мешком рухнув на лапник в гараже, и жалобно поглядел на деда.

Тот неторопливо развязал рюкзак, достал бутылку.

— Смотри, Лёша, — деловито предупредил дед, кивая на пузырь, — эта штука очень сурьёзная — я сам гнал и на травках нужных выстаивал. От неё таких правофланговых вытягивало, не чета тебе.

— Не переживай. Здесь всего тридцать три «булька». Я и не столько держал. — Лёха с силой дунул в гранёный стакан и честно, бульками отмерил сто грамм.

— Смотри, как бы к вечеру к тебе твой «десантник» не прилетел. — Семёнчик хитро улыбнулся: кто поверит пьяному Лёхе, что он самолет видел в тайге?!

Дело заспорилось. Лёхин тельник мелькал повсюду: хворост собрать, дров нарубить, пихту завалить, кусты кое-где подрезать. К вечеру всё было готово. Каменистое плато теперь было не узнать — снова ровная, как доска, полоса.

— Семёнчик, для чего тебе это? — Лёха махнул свободной от стакана рукой в сторону полосы.

— Пил бы ты меньше, Лёша, — переменял тему дед, избегая объяснений.

Лёха опрокинул в глотку содержимое стакана, крикнул и потянулся к закуске. В то же мгновение над тайгой появился самолёт. Лёхина рука так и застыла в воздухе, не дотянувшись до куска сала. Махнув крылом, «кобра» пошла на второй круг. Лёха, сидя с открытым ртом, ткнул пальцем в самолёт, только что севший на полосу, и что-то промывчал.

— Я предупреждал тебя, Алексей, — строго сказал Семёнчик и направился к самолёту.

Поздоровались. Дед получил очередной гостинец. Пошли к гаражу. Всё как обычно, да не совсем. Вдруг пилот сказал Семёнчику:

— Хорошая полоса получилась, спасибо, отец. Может, и к награде тебя представят. Теперь можно садиться.

— Кому садиться? — дед, надеясь, что сейчас ему скажут что-то важное, затаил дыхание, ловя каждое слово.

Лётчик тряхнул головой, словно сбрасывая с себя какое-то оцепенение, но вместо ответа дед услышал:

— Хворост имеется? — И очередной коробок лег в грязноватую мозолистую ладонь Семёнчика.

В сторонке, затаившись, на куче мусора сидел Лёха, сверкая из темного угла белками глаз. Он с недоумением уставился на человека в кожаной куртке,

а тот, в свою очередь, сурово зыркнув на верзилу в изодранной тельняшке, ткнул в него пальцем, словно с плаката времён Отечественной войны, и грозно спросил:

— Дезертир?

— Контуженный он на всю голову, — беззаботно махнул рукой дед на Лёху и опустил глаза, — комиссовали недавно. Вот вожусь теперь.

По тому, как Лёха удивленно вскрикнул, закрывая лицо руками, будто защищаясь от удара, Семёнчик понял, что пилот снова растворился в воздухе.

— Налить ещё? — ухмыляясь, улыбнулся дед, протягивая на четверть наполненную бутылку.

Лёха испуганно замычал.

— А я тебя предупрежда-ал — сурьёзная штука! — назидательно протянул дед, а затем опытным глазом отмерил в стакан сто грамм и залпом выпил. Семёнчик был доволен. И не сколько его радовало, что лётчик посулил ему награду (зачем она ему?), сколько радостно было от того, что он смог помочь своим, как в детстве, когда в замерзших ладошках держал стылый инструмент, когда бежал встречать каждый самолёт, с завистью глядя на усталые, но счастливые лица пилотов; радовался, что здесь, в этом укромном таёжном месте, как и раньше, люди живут вместе, когда человек человеку друг, и что всё, как и в детстве, по-честному — здесь не было дельцов и бандитов, ожиревших банкиров и лохов. Там, на западе, был враг — и он будет разбит! Так было всегда, когда они играли с ребятами в войнушку.

Дед сел у костра, смахнул со щеки счастливую слезу и во все горло грянул:

Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны,

В строю стоят советские танкисты,
Своей великой Родины сыны.

На следующий день Семёнчик доставил притихшего Лёху домой. Рядом с дедовой избой стоял уазик Степана. У внука был свой кооператив в городе. С ранней весны ездил он по деревням, договаривался с пасечниками о ценах на мёд. У старика он был редким и недокучливым гостем. И никогда не заезжал в разгар заготовки мёда, а тут — случай неординарный, прикатил в июле. Дед любил своего внука, но занятие его никак не мог принять. Вот и сейчас начал внуку мораль читать:

— Тебе, Степан, твоё богатство глаза застило. А человек он для того и есть, чтобы внутрь себя заглянуть, понять, кто он таков и для чего чадит на свете белом. Вот если поймёт он это, тогда каждый божий день будет для него дороже злата-серебра...

Так и уехал Степан, не выведая, чего это дед в тайгу с лопатой шастает.

А на следующий день Семёнчик слёг. Вытянула тайга силы из деда, забрала сырыми ночами. Не знай Никитична новую привычку своего соседа уходить надолго в тайгу, наведалась бы к старику, но случилось так, что деда поздно хватились. А виной всему гражданский самолёт, что с начальством из области как снег на голову сел на дедову полосу. Много шума наделала эта аварийная посадка. Самолёт тот в город летел, когда в пути что-то случилось с двигателем. Пилот АН-28-го сразу смекнул — кто-то приводил в порядок пляж у речки. «Сесть негде — тайга. Гляжу: речка чёрточкой блестит и пляж — ни кустика, ни деревца, чистый ровный, как подгадал кто! Я на круг, а потом на глиссаду», — рассказывал он потом журналистам.

Не случись этого, не спас бы он ни машины, ни пассажиров, что летели этим рейсом. В деревню репортёры из города понаехали. Местные газетчики подняли шум: что да как, кто герой? Тут Леха про деда Семёна и вспомнил.

Очнувшись от горячки, дед удивлённо поглядел на скопление народа вокруг него, казалось, лопнет его изба от такого количества людей. У кровати хлопотали врачи в белых халатах, репортёры с фототехникой, чиновники в строгих костюмах, деревенские... Но пуще всего он удивился человеку в лётной форме, что сидел напротив, и его тревожным, цепким глазам. Эти глаза он узнал бы из тысячи других, когда-либо виденных им за всю его долгую жизнь. С каким нетерпением каждый раз он ждал, когда этот усталый недоверчивый взгляд серых глаз из-под лётного кожного шлема засветится приветливо и хриплый голос весело скажет: «Ради такого дела — отдаём второго фронта».

— Терентьев? — слабый голос Семёна был едва слышен.

— Терентьев, — в свою очередь, удивленно пробашил пилот. — Откуда известна моя фамилия, дедушка?

Семён окинул потухшим взглядом комнату, стараясь не пропустить ни чьего лица, посмотрел на Лёху, репортёров. Вдруг глаза деда осветились догадкой.

— Посадил? — одними губами спросил он пилота.

— Посадил, дедушка, посадил! Скольких людей вы спасли!

— Мы спасли, — шептали губы, — и ещё, дед твой — лейтенант Терентьев.

— Вы знали его? — от удивления пилот даже встал со стула.

— Знавал, — слова давались Семёну с трудом, — он тебе гостинца передал: второй фронт. Там, на столе...

Деда увезли в районную больницу. После врачи говорили, что на день бы раньше... «Кто ж знал?» — разводила руками Никитична, утирая кончиком платка накатившую слезу. Сердобольная соседка хотела взять к себе Умку, но пёс куда-то пропал. Как-то осенью охотник, тот, что с дальней заимки, рассказывал: в тайге, аккурат на той речке, где самолет недавно сел, видел он черного пса с белым «бланшем» под правым глазом — бока впалые, одна кожа да кости. Тощий пёс сидел недвижно. Вытянув вперед черную как смоль морду, прислушивался. Будто ждал чего-то...

Владимир ШПАКОВ
(г. Санкт-Петербург, РФ)

В облаке пара

Рассказ

Пройдет немало времени, пока болезни отступят, облако в парадной исчезнет, и я увижу новый памятник Петру воочию. Петропавловский шпиль был виден из окна (в полдень оно вздрагивало от выстрела), однако близкое нередко делается далеким; а еще зима, которая свистела сквозняками, принося простуды и отодвигая установленный Шемякиным монумент куда-то на Луну.

Знакомство с новым Петром началось с журнала, где читателям предлагали угадать: памятник какому политику сфотографирован с затылка? Затылок был мясистый, макушка — гладкой, как бильярдный шар, и я подумал: Хрущев. Оказалось — Петр в исполнении современного скульптора. Анфас этого антипода величавого Медного Всадника тоже был карикатурен, разве что посмертная маска работы Растрелли придавала серьезность голенастому, как цапля, монарху.

Впрочем, это были чужие впечатления: я не добрался до крепости ни летом, ни осенью — зимой же

свалился в болезни. По утрам дворник долбил лед, что для воспаленного мозга было пыткой: лежа в полудреме, я старался расслышать пушку, но ее глушили резкие, как выстрел, удары лома. Казалось, крепость молчала, покоровшись новому начальнику, который сел напротив собора в царское кресло и сразу подчинил пространство.

«Ништ шиссен!» — сказал царь, и обслуживающие пушку солдатики взяли под козырек: «Есть ништ шиссен, ваше императорское величество!»

Однако дворнику царь приказать не мог; да и на дырявые трубопроводы его власть, увы, не распространялась.

«Может, в крепости ты и начальник, — думал я вяло, — но остановить пар из трубы не можешь!»

Пар захватывал парадную коварно, вытекая из подвальной дыры безобидной тоненькой струйкой, чтобы затем смешаться с холодным воздухом из двери, загустеть и наглым образом превратиться в облако. Задержав дыхание, жильцы ныряли в него, как самолеты на взлете-посадке; когда же выныривали, отряхивали с одежды капли конденсата. По стенам струилась вода, проводка искрилась, а жильцы разделились на два лагеря: живущих в «парилке» и выше нее.

Первые осаждали жилконттору, призывали подписать письмо в мэрию, однако выше критической черты на призывы реагировали вяло. Энергично отреагировал только отставник Красин с четвертого этажа, заявив живущему на первом доценту Бутырскому: в этом, мол, проявляется историческая диалектика! Кто начинал перемены в стране и в нашей колыбели революции? Интеллигенция; а тогда — жуйте плоды ваших трудов! Отловив меня вечером на границе двух стихий, Бутырский горячо задышал в ухо:

— Здесь ничего нельзя сделать! Социальная не-

терпимость плюс люмпенизация населения ставят палки в колеса переменам! На третьем этаже свили гнездо наркоманы, на пятом — умирает в муках за-служенная работница фабрики «Большевичка»! А господин, точнее товарищ Красин, нагнетает ситуацию! Может, классик был прав? Этот туман, то есть пар поглотит наш проклятый город, а когда рассеется, среди болота останется, так сказать, для красы — бронзовый всадник?

Я сморкался, мыча, мол, останется еще один — который в Петропавловке.

— О, да! Этот шемякинский Голем тоже останется! И они будут на пару гулять по финскому болоту, как известные персонажи из сказки про Нильса! Знаете, кстати, что наш дворник умер?

— Умер?! — я перестал сморкаться. — Нет, не знаю...

— Единственный, кто здесь что-то делал — умер! Маразм, одним словом, крепчает. Коммунальное хозяйство в развале, а они памятники, понимаете ли, ставят!

И верно: уже второй день я не слышал яростных ударов лома, из-за чего ледяной панцирь во дворе явно прибавил в толщине. Наш дворник боролся со льдом иступленно, уничтожая его, как Георгий Победоносец змея; и с палой листвой он боролся так же, и с мусором. Если переполненные контейнеры не вывозились, жильцы вываливали ведра рядом, дворник же аккуратно сгребал кучки и утрамбовывал в ящик. А когда на помойку выносили строительные отходы, во дворе стоял треск: стропила, наличники, даже двери руками ломались на части, чтобы также исчезнуть в контейнере.

«Лежит! — отмечал я теперь горы мусора. — И лед намерзает, потому что у нас все держится на одном

человеке! От силы — на десяти, как в Новом Эрмитаже, поэтому на каждом перекрестке нужно устанавливать памятники атлантам, а не царям!»

Огромный, на голову выше меня, наш «атлант» в два счета мог внушить уважение к санитарным нормам, но он лишь мрачно усмеялся, глядя на творящийся бардак, и с угрюмой энергией спасал двор от запустения. Откуда он взялся, никто не знал — просто в один из вечеров в окна подвальной жилконторской квартирki зажегся свет, а в шесть утра жильцы услышали шарканье метлы под окнами. Работал он один, напивался тоже в одиночку, после чего в квартирке что-то гремело, и дворничиха убежала ночевать к работнице «Большевички». Лишь раз я увидел на мрачной физиономии растерянность, причем связано это было со злополучным паром. Дворник первым полез в подвал, где замотал трубу, из которой хлестал кипяток. Через час из трубы опять задымило; он слазил вторично, но пар вновь нашел лазейку, заставив этого верзилу в бессилии опустить руки, а к вечеру — смертельно напиться.

— От водки умер! — резюмировал отставник. — Он же пил, как лось!

А поклонники анаши, облюбовавшие нашу парадную, чуть ли не праздник устроили, дико хохоча в промозглом густом тумане, который поднимался все выше и выше.

— Эй, Витек! — орал один. — Приколись, здесь даже спичка гаснет!

— У меня круче прикол: представь, что горит поле конопли и мы стоим в дыму!

Увы, тот, кого они боялись, уже не мог вскинуть метлу, заставляя обкуренную публику в панике нестись к спасительному чердачному люку. Лицо двор-

ника при этом дергалось, сведенное судорогой, и было красноречивее любых слов и жестов.

— Когда он лицом дергает, — рассказывала дворничиха заслуженной работнице, — я ноги в руки, и из дому! Он же дверь одним ударом вышибает, бугай! Как-то участкового вызвала, так даже тот оробел: стоял перед ним, как новобранец перед генералом! Короче, до ручки дошла: памятнику молиться стала! Ну, новому, что в Петропавловской крепости поставили!

— А там новый памятник? — шелестел голос работницы. — Я не знала...

— Новый, новый! Тоже Петр, только другой! У него мизинец на правой руке такой оттопыренный, и если за него подержишься и желание загадаешь, то оно сбудется! Ну, народ в толпе так говорил. А какое у меня желание? Чтоб мой не пил, конечно!

В эти дни вдова мелькала в тумане безликой тенью, нажимала кнопки звонков и, запинаясь, просила «на похороны». Бутырский дал десятку, Красин ничего не дал, зато безнадежно больная работница отстегнула чуть ли не треть пенсии — наверное, за то, что дворничиха бегала ей за продуктами. Потом я наблюдал, как вдова робко заглядывает в глаза владельцу расположенного по соседству бара «Амстердам», в котором подрабатывал покойный. Он расставлял столы и зонтики на мощенной плиткой площадке, а после дождя сливал воду из тента: приподняв его, обрушивал на тротуар водопад, после чего получал кружку пива «на вынос». Однако денег на похороны, судя по лицу вдовы, «вынесли» не густо.

А пар уже колыхался у моей двери, то есть был завоеван последний этаж.

«Чертов государь! — думал я. — Это ведь парит болото, которое ты хотел победить! А в итоге — оно победило тебя!»

Однажды мне приснилось, как бронзовый всадник, оставшийся «для красоты», скачет посреди болота, неистово храпя и брызгая грязью из-под могучих копыт.

— Эй, строитель чудотворный! — орали откуда-то взявшиеся наркоманы. — Приколись: твой город — пропал!

Конь вставал на дыбы, ронял пену изо рта, наездник же выкатывал в ярости глаза: как пропал?! Согнать народ, построить заново! Что?! Нет слова «не могу», есть слово — «надо»! Всадник пришпоривал коня, вихрем проносясь над трясиной, и, казалось, нет той силы, которая могла бы остановить этого кентавра.

Впрочем, явь была не лучше: стоило спуститься на пролет, как ступени делались склизкими, силуэты расплывались, а хохочущие в белесой мгле наркоманы представлялись болотными кикиморами. Вскоре я увидел их ботинки, исчезающие в чердачном люке (он с трудом просматривался в молочном тумане); затем я свалился с температурой, придя в себя только после визита неотложки.

Потрогав лоб, врач полез в саквояж и вытащил старинный стетоскоп, рассчитанный на одно ухо.

«Мода на ретро? — подумал я недовольно. — Наши где модничать...»

Меня слушали, осматривали зрачки, после чего влили в рот ложку вонючей микстуры и написали рецепт. Стандартного бланка у врача не было (даже бланка!), так что мысли приняли понятный оборот:

«У нас все держится... Непонятно, кстати, на ком? И держится ли вообще?!»

Визит вроде закончился, но врач не уходил: крихтел, поглядывая на часы на цепочке, которые выни-

мал из кармана, и всем видом показывал, будто чего-то ждет.

«Денег ждет! — догадался я. — Ну и ну: неотложку уже платной сделали! Лекарство выписывает на подтирочной бумаге, а деньги вынь да положь! Теперь понятно, откуда этот «брегет» работы Буре!»

— Лекарство у Пеля купите, — сказал врач, сунув купюры в карман.

Я же разглядывал рецепт: он был каким-то странным, но почему — непонятно.

— А отчего наш дворник умер? — неожиданно спросил я. — От пьянства?

Врач пожал плечами, пробормотав, мол, такими больными Мариинская больница занимается. Распахнутая дверь впустила облачко пара, но не успела она закрыться, как опять застучали. Кого еще несет?! Ага, дворничиха маячит на лестничной клетке, приглашает на похороны, причем таким приказным тоном, что хочется сразу послать подальше и ее, и покойного. Как, прямо сейчас идти?!

— Сейчас! — сказала она надменно и повернулась, будто ни секунды не сомневалась в том, что я двинусь следом.

Что-то, однако, заставило подчиниться и отправиться за ней. Дворничиха спускалась стремительно — я же двигался на ощупь, поскользываясь, и то и дело цеплялся за перила.

— А Красина позвали? — спросил я, когда оказались перед дверью отставника.

— Всех позвали, — донесся голос снизу.

На двери красовался старинный звонок с ручкой и надписью «Прошу повернуть!», которой я раньше не замечал. А справа на стене проступило граффити, насколько я помнил, звучавшее так: «Спартак» — фуфло! «Зенит» — чемпион!

Где же «Спартак»? А «Зенит» куда делся? Надпись была неровной, кое-где обрывалась, так что я успел разобрать лишь: «... нас осталось двое: я и мама. У нас нет еды. Мы умираем». Иногда двери открывались, и оттуда появлялись молчаливые фигуры, чтобы присоединиться к нам.

Позвали действительно всех; и самое удивительное, что подвальная квартирка эту публику вместила! Представшее глазам помещение могло именоваться «залой»: просторное, с высоким потолком, оно было настолько огромным, что противоположная стена терялась вдалеке.

«Вон, оказывается, чем привлекает кадры жилконтора!» — с обидой вспомнилось мое малогабаритное жилье.

Свет был приглушенный, народ жался к стенам, и только дворничиха, войдя, встала у изголовья огромного гроба в центре «залы».

— Вот, извольте радоваться: унавозил собой будущую гармонию! А как иначе? Ведь этот город не разбирает чинов, он же — умышленный!

— Бутырский, вы?! — обернулся я.

Отрастивший длинную редкую бородку (когда успел?), доцент мял в руках папиросу:

— Прикурить не дадите? Нервы, знаете ли... Да, все это настолько пошло и прозаично, что граничит почти с фантастическим! Вон те недоучки, к примеру, — бомбистами сделались!

Одетые в серые длиннополые сюртуки, наркоманы перешептывались, с холодным презрением поглядывая на остальных.

— Вы что — вернулись с чердака? — тупо спросил я.

— Нет, это просто нестерпимо! — вскинулся один. — Мы не собираемся прятаться по чердакам!!

Мы, конечно, не можем объявить открытую борьбу, но террор — будет беспощадным!!

Кажется, надо мной решили подшутить. Похожий на Достоевского доцент, нелепые сюртуки наркоманов, а вот и товарищ Красин: новенькая кожанка, сбоку — маузер, а в глазах плещет классовая ненависть. Кто я такой? Литератором вроде числюсь. Чей попутчик?! Знаете, мы не на допросе, и вообще — прекратите маскарад! Пробормотав что-то типа: до тебя очередь еще дойдет, Красин решительно направился к человеку в белом переднике.

— Национализация, и точка! — залаял привычный к свисту пуль комиссарский голос. — Завтра же придем матросов, они тебя быстро к ногтю прижмут! И никаких буржуйских «Амстердамов» — пивную назовем: «Красная Голландия»!

Владелец бара угодливо кивал, с испугом поглядывая на юных бомбистов. За сюртуками маячил чей-то котелок, еще дальше покачивались кивера, цилиндры, будто наши жильцы (откуда их столько?!), ограбили костюмерную «Ленфильма», на время превратившись в гигантскую эклектичную массовку.

Но где тогда камеры? Где режиссер?! Новоявленный комиссар уже размахивал маузером перед лицом следующего буржуя, но поймав строгий взгляд дворничихи, стушевался.

«Нашел место!» — говорили глаза той, кто заменил и режиссера, и оператора.

Она была центром, она царила над массовкой, застыв у гроба в скорбной и в то же время исполненной достоинства позе. Какое, однако, на ней платье! А прическа! Главное же, все чувствовали, что ей доверили главную роль: дуэлянты в цилиндрах сунули шпаги в ножны, котелки прекратили шелестеть банк-

нотами; оставила свое занятие и заслуженная работница, что-то выведившая на стене.

— В парадной — тоже ваша надпись? — тихо спросил я.

— Моя. Думалось, кто-нибудь прочтет и поможет. Надо же было пережить блокаду — хотя бы ради будущих детей!

А я вспоминал, как ее сын, прожженный алкаш, отбирал у матери пенсию. Она укладывала деньги под матрас, прижимала их телом — сынок же засовывал туда руку и шарил, матюгаясь, за что однажды пришлось спустить его с лестницы. Стоило ли мучиться в блокаду ради таких детей? Да и весь этот чудовищный маскарад — нужен ли был? Три столетия массовка бурлила в этих декорациях, шикарных снаружи, гнилых — внутри; она меняла бороды на парики, устраивала перевороты, загибалась от голода и холода, строила баррикады, а в итоге? Свистящий из трубы пар?

— Я, конечно, упустила Васичку, — вымученно улыбалась работница, — но не думаю, что все было зря. Это было надо, понимаете?

— И это — надо? — кивнул я на гроб. — Денег, что ли, нашей дворничихе некуда... — но тут к губам приложили палец: какая дворничиха?! Присмотритесь, это же совсем другая вдова, так сказать, порфиноносная!

Желание рассмеяться и покинуть собрание сумасшедших перебил нащупанный в кармане листок. «У Пеля — это на Васильевском, — лихорадочно думал я. — Но теперь-то заведение стало обычной аптекой номер тринадцать...» Ну, точно: рецепт с ятями, твердыми знаками, и эта каллиграфическая вязь читалась как «мене, текел, упарсин». Я тоже отсюда, мне не вырваться! Незримая воля собрала нас ради непо-

нятного действия, которым командует эта «порфиросная»; а тогда: черт с вами, начинайте!

Когда ударил выстрел из крепости, все замолкли. Вначале работница, затем остальные двинулись к центру, чтобы совершить прощальный круг, коснувшись, как положено, краешка гроба. Тут, однако, ритуал был другой: каждый брал усопшего за мизинец, что-то бормотал и уступал место следующему. Я с дрожью представлял, как прикоснусь к холодному трупу, и тут увидел: маска Растрелли! Вот почему гроб из красного дерева, и бархат, и позументы на царском облачении... Огромный царь (дворник?!), едва умещался в гробу, будто его засунули в сшитый не по росту мундир. «Даже похоронить, как следует, не можем!» — мелькнуло, и вдруг показалось: маска вот-вот исказится, задергается в судороге, и на идущих мимо обрушится монарший гнев.

Взявшись за нелепо отогнутый палец, я не успел загадать желание, а в спину уже толкали, мол, поторапливайся, другим тоже надо! Люди шли и шли, опускали руку в царскую «домовину», шевелили губами, и эта очередь была бесконечной. Она еще не кончилась, когда по сигналу вдовы гроб накрыли крышкой, подхватили на руки и двинулись наружу. Двор, улица, свернули к Неве, и вот уже под ногами трещит ноздреватый серый лед, заставляя в ужасе сжиматься сердце. Но лед не проваливался, хотя на него вышли тысячи людей.

Каждый время от времени подставлял плечо, нес гроб, затем его меняли. Бомбисты, Бутырский, Красин, и вот уже мне машут: давай, мол! Над ледяной пустыней нависало темное небо, свистел ветер, но черная вереница людей упорно двигалась в направлении Стрелки: вот громада Большого дома, вот вмерз-

ший в лед революционный крейсер, а вот и Дворцовая набережная. Никак добрались?

Шедшая впереди вдова остановилась возле чего-то темного, в клубах пара. Это дымилась на морозе полынья, делая зыбким абрис Петропавловской звонницы: казалось, шпиль изгибается, наклоняется, и собор сейчас рухнет, чтобы окончательно похоронить останки российских царей. Приблизившись к полынье, я глядел на гроб, на собор, и с губ само собой сорвалось: мол, настоящая-то могила — она же...

— Здесь! — сказала вдова. Хоронить, правда, не спешили, будто чего-то ждали: жались друг к другу, поднимали воротники, закрываясь от пронизывающего ветра, и с надеждой поглядывали в сторону Дворцового моста.

— Должен показаться... — долетали сквозь ветер реплики. — Зря мы, что ли, сюда тащились?

Силуэт проявился тенью, какую отбрасывает человек, если его снизу освещают прожектором: огромная фигура на длинных ногах скользила по стенам домов, выстроенных вдоль Адмиралтейства. Лысая голова была в задумчивости наклонена, в руке болтался повод, а сзади такой же гигантской тенью плыл всадник на коне. Преодолев мост, тени проехали по колоннаде Биржи, накрыли поочередно Ростральные колонны, когда, наконец, толпу отпустило оцепенение.

— Он укротил его! Он его увел! — донеслись возгласы. — Теперь можно хоронить!

Гроб опустили на лед, осторожно столкнули в полынью, и он закачался на волне, как лодка. Люди молча смотрели на то, как он скрывается в облаке пара, который и здесь царил, будто главная стихия этого города.

— Он успокоится... — бормотала работница. — Теперь он успокоится!

А пар сгущался, вползал под одежду, и силуэты людей таяли, и окрестности пропадали в белесой мгле...

Ближе к весне в подвале засияли молнии от сварки, и пар куда-то исчез. Дни стали длиннее, на улицах заблестели лужи, и я, выбравшись в крепость, наконец-то увидел его — голенастого, нелепого, с оттопыренным пальцем, отполированным до бронзового блеска тысячами прикосновений. Груз бесчисленных желаний отпечатался судорогой на лице; и на секунду будто потянуло ледяным сквозняком, и та зимняя ночь — опять ожила. Я ведь знаю: дворника не опускали в польню, а сожгли в крематории. Чтобы не утратить жилплощадь, дворничиха заменила его и теперь каждое утро шаркает метлой по асфальту. Но иногда она провожает меня странным взглядом, будто хочет что-то напомнить, и я инстинктивно сую руки в карманы. А вдруг схватит за палец?

Александр МОРОЗОВ
(*пос. Октябрьский, Республика Беларусь*)

Постоянный клиент

Рассказ

Меня разбудил стук в дверь. Негромко ругнувшись, я встал с кровати, негнущимися руками натянул штаны и побрел на звук. Настенные часы показывали 9:44.

Мужчина, стоявший на пороге, выглядел невзрачно. На вид ему было около сорока: смуглый, с залысинами на лбу и глубокими морщинками в уголках рта. Его взгляд источал учтивость, а на длинном носу висела мерзкого вида капля. В одной руке он держал небольшой саквояж, а во второй сжимал потрепанную шляпу. Секунду-другую мы молчали, после чего до меня дошло.

— Извините, ничего не нужно! — выпалил я, отступив назад, и попытался закрыть дверь.

— Нет, нет, нет, нет, — залопотал мужчина и, шагнув вперед, ловко вклинил башмак между дверью и косяком. — Вы меня не так поняли... Я не хочу продать, я хочу купить!

Несколько раз потянув на себя дверь и не добив-

шись никакого результата (если не считать побелевшего лица коммивояжера и едва слышного хруста), я ослабил хватку и раздраженно прошипел:

— Мне что, вызвать полицию, черт возьми?! Что вы себе позволяете?!

— Прошу вас, — мужчина едва не плакал от отчаяния, — позвольте обсудить с вами предложение нашей компании. Уверю, оно чрезвычайно любопытно.

Изловчившись, я с силой наступил на ботинок коммивояжера, заставив его убрать ногу. Наконец-то мне удалось закрыть дверь. Какое-то время я слушал приглушенные ругательства, однако они вскоре стихли.

Откуда-то из-под двери раздался негромкий шорох. Незванный гость не собирался так легко сдаваться. Ему даже удалось просунуть в щель между дверью и порогом (о существовании которой я и не догадывался раньше) буклет и визитку.

— Ну что ты будешь делать? — риторический вопрос вздохом вырвался из моей груди. Вчерашнее застолье загудело в голове набатом, и мне с большим трудом удалось побороть приступ тошноты.

Наклонившись, я подобрал бумаги с пола, намереваясь немедленно их выбросить. Взгляд произвольно зацепился за витиеватую надпись:

ЗАО «ДРАГТУ»

Гурд Окил

консультант

тел. 444-49-49

«У меня такой макулатуры целый почтовый ящик», — хмыкнул я и перевернул визитку. И тут же застыл на месте, не веря своим глазам. Слоган компании был очень уж необычным:

**Скупим все ваши страдания!
Дорого! Выгодно! Честно!**

«Что за?..» — подумал я, переведя взгляд на буклет.

На фоне безмятежного синего неба с прослойками облаков ярко горел слоган с визитки. Следующая страница была предназначена для увлечения потенциального клиента в водоворот маркетинговых помоев:

Всегда вам рады!

*ЗАО «ДРАГТУ» — пионер в области
ментальной торговли! Именно нашу компанию
ставят в пример как идеал ответственного
и честного партнера. Мы всегда рады
новым клиентам и готовы предложить
максимально выгодные условия,
которые придутся вам по душе!*

Широкий спектр услуг!

*Наша компания постоянно развивается и совершенствуется!
Прямо сейчас мы готовы купить ваши страдания
по цене неизмеримо большей, чем вы можете представить.
Надоело раскаиваться, грустить, ненавидеть?
Звоните нам, и мы избавим вас от хлопот раз и навсегда!*

Всего один шаг на пути к выгодной сделке!

*Чувствуете, что отчаялись и готовы свести счеты с жизнью?
У нас есть отличная новость — мы можем вам помочь!
Просто позвоните и перестаньте беспокоиться!
Впустите в свой мир гармонию и покой!*

Дальше шли восторженные отзывы клиентов, но меня они не заинтересовали. Смяв бумаги, я забросил их в мусорную корзину и пошел умываться.

«Нужно подышать свежим воздухом, — подумалось мне, когда струя холодной воды ударила по виску, — что-то совсем тошно стало».

* * *

Выйдя из дома, я не смог удержаться от нецензурного возгласа. Утренний гость направлялся ко мне с широкой улыбкой и разведенными в стороны, будто для объятий, руками.

— Наконец-то вы появились! — донесся его восторженный голос. В ушах зашумело, а голову накрыло новой волной боли.

Что-то буркнув в ответ, я пошел вперед, оттолкнув надоедливого коммивояжера. Возможно, если не обращать на него внимания, он исчезнет? Нет. Он был тут, кидался под ноги, заглядывал в глаза, хватал за рукав.

Наконец я не выдержал:

— Какого черта вам от меня нужно?

Консультант радостно выдохнул и расплылся в улыбке.

— Господин, — прошептал он, — не желаете ли продать мне свои печали?

* * *

Сидя за столом в офисе, я задумчиво крутил в руках визитку, которую коммивояжер сумел всучить мне на улице. Что-то было в его словах... Что-то настолько необычное, что просто не могло быть ложью.

Возможно ли?.. А, к черту это все! Самое лучшее, что можно сделать — это отправить визитку в шредер.

Раздалось негромкое покашливание, и надо мной нависло бледное лицо коллеги.

— Антон, зайди к шефу. Что-то он сегодня не в духе...

* * *

Придя домой, я какое-то время неподвижно сидел на кровати, сжимая в руках трудовую книжку и приказ об увольнении.

«Не может быть. Просто не может быть... — перед моим мысленным взором снова и снова проносился разговор с шефом. — Как он об этом узнал? Мне ведь совсем немного нужно было! Да и вернул бы все рано или поздно!»

Теперь оставалось только дожидаться суда, на котором меня, скорее всего, признают виновным в растрате. Хорошо, хоть в полицию пока не определили.

Нужно было куда-то звонить, что-то делать, искать адвоката. Но мне не удавалось побороть апатию.

«Воистину, страдание — величайшее зло...» — пробормотал я и почти физически ощутил, как в голове щелкнул переключатель.

Страдание... А ведь визитка все еще была на кухне, в мусорном ведре...

* * *

— Немедленно к вам подъеду! — до моего уха донесся немного искаженный, но легко узнаваемый голос.

— Может, лучше я заскочу к вам в офис?

— Нет, нет, нет! Дорога займет всего пять минут, не беспокойтесь! Скоро буду!

Из трубки раздались короткие гудки, и вдруг почувствовалось, будто я угодил в какой-то странный гротескный фильм. Ощущение абсурдности происходящего становилось все сильнее. Так продолжалось до тех пор, пока дверной звонок не привел меня в чувство, вернув на место серость и мглу реальности.

— Ну-ка, откройте рот! — командовал тот самый консультант, назвавшийся Гурдом. В руках у него поблескивали инструменты не самого приятного вида. — А теперь кашляйте!

— Возможно, произошло недоразумение... — пробормотал я, осторожно покашливая, в то время как Гурд удовлетворенно кивнул и начал прятать инструменты в саквояж. — Но мне казалось, что вы пришли за покупкой, а вместо этого мы целый час занимаемся ерундой!

Глаза Гурда округлились и стали похожи на бильярдные шары. Шумно сглотнув, консультант натянуто улыбнулся, однако в его глазах плескалась обида.

— Наша компания чрезвычайно дорожит своей репутацией, — чеканя каждое слово, произнес Гурд. — Именно поэтому мы с такой тщательностью выбираем партнеров. Нужно быть уверенным в качестве скупаемого материала, чтобы не нанести ущерба доброму имени компании. Я поэтому и сделал на вас ставку. И почти не сомневался, что у вас есть все задатки идеального поставщика. Однако следует соблюдать инструкции.

Закрыв саквояж, Гурд поднял взгляд и, похоже, оттаял:

— Но теперь все в порядке! Думаю, ваши страдания вполне можно оценить в... Скажем, такую сумму.

С этими словами он подал мне сложенную вчетверо салфетку. Развернув ее, я замер, открыв рот:

— Вы шутите? Платить такие деньги за то, что даже потрогать нельзя?

— О... Вы даже не представляете, сколько на свете людей, любящих страдать... Они готовы платить очень и очень хорошо, — ухмыльнулся Гурд, пересчитывая толстую пачку зеленоватых купюр. — Кстати, вы еще не слышали про нашу программу лояльности. Мы рады предложить очень хорошие бонусы постоянным клиентам...

Протянув деньги, он склонил голову набок и просительно посмотрел на меня:

— Не передумали?

Мгновение поколебавшись, я мотнул головой и сунул деньги себе в карман.

— Отлично! А теперь распишитесь здесь и здесь! — улыбка на лице консультанта стала еще шире. Дождавшись, пока я поставлю подпись в стандартном договоре купли-продажи, коммивояжер внезапно подмигнул: — Всего наилучшего.

Развернувшись, Гурд направился к выходу, однако перед самой дверью остановился.

— Ах да, — пробормотал он, неловко сутулясь, — из побочных эффектов возможны: головная боль, потеря памяти, тошнота, рвота и диарея. Если у вас появится еще что-то на продажу — звоните, буду рад помочь.

И прежде, чем я успел что-то сказать, гость выскользнул из квартиры, захлопнув за собой дверь.

* * *

Голова и вправду начинала болеть. Однако пачка банкнот в кармане помогала лучше цитрамона. Стало вдруг невыносимо легко, и я засмеялся, все еще не в силах поверить в произошедшее.

Телефонный звонок тяжелым рокотом разнесся по квартире. Звонил мой теперь уже бывший шеф.

«Господи, опять?!» — пронеслось в голове, но на душе было все так же легко. Мой палец прикоснулся к экрану.

— Алло, Антон? — я с трудом узнал голос начальника. Казалось, что он был чем-то очень взволнован. — Слушай, ты чего сегодня на работу не пришел-то? Все в порядке?

— Да, все нормально, Арсений Петрович... — протянул я, немного обалдев.

Мысли лихорадочно сменяли друг друга, и вдруг захотелось подыграть: замок заклинило, слесаря ждал, а телефон разрядился, позвонить не мог... Черт, что за бред...

— Да... Ну ничего, Антон, мы уж сегодня без тебя продержались, но смотри мне, завтра чтобы как штык!

Распровавшись с начальником, я влетел в спальню и открыл тумбочку, в которую днем положил документы. Но увидел лишь светлое фанерное дно. Вот тогда-то со мной едва не приключилась истерика.

* * *

Вы пробовали когда-нибудь страдать намеренно? Это чертовски сложно!

На работе царили мир и покой, меня даже повысили. Шеф при встрече улыбался словно старому приятелю, а пачка денег, лежащая в ящике стола, оставалась по-прежнему увесистой. Но все-таки очень хотелось убедиться, что все произошедшее было взаправду. Увы, но на каждый мой вызов неизменно вежливый автоответчик Гурда отвечал предложением перезвонить в «более подходящее время».

Однажды вечером, выйдя на балкон, я заметил

на расстоянии вытянутой руки упитанную рыжую морду.

— Здорово, Перс!

Соседский кот, которому предназначалось приветствие, никак на меня не отреагировал. Тогда я предпринял еще одну попытку наладить диалог:

— Не боишься высоты?

Кот окинул меня холодным, как Баренцево море взглядом, и не ответил. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга. Затем кот прикрыл глаза.

И тут заорал мой мобильник. Кот дернулся, накрепился, начал неуклюже, словно в замедленной съемке, перебирать лапами, стараясь сохранить равновесие. И не сумел...

Глядя на мчащуюся к земле рыжую точку, я ни о чем не думал. Машинально открыв дверь, вернулся в комнату и сел на диван. На душе было паршиво.

Вынув телефон из кармана, посмотрел список пропущенных. Как ни странно, мне звонил Гурд.

«На ловца и зверь...» — подумал я и грустно усмехнулся.

Оставалось только перезвонить.

* * *

Все было в точности, как и в прошлый раз, правда денег было ощутимо меньше, а Гурд выглядел не слишком довольным. Едва я открыл рот, чтобы задать пару вопросов, он прервал меня, с досадой покачав головой. Но все-же на прощание одарил меня вежливой улыбкой и выразил надежду, что наше сотрудничество станет постоянным, а качество товара со временем улучшится.

Заперев дверь и кинув деньги в тумбочку, я вышел на балкон. На улице совсем стемнело, на душе было

спокойно, а на соседских перилах невозмутимо восседал огненно-рыжий кот...

* * *

В следующий раз мы с Гурдом пересеклись, когда какой-то вандал порезал колеса и разбил лобовое стекло моего автомобиля. Самое странное, что произошло это на охраняемой стоянке возле дома. Камеры наблюдения оказались бутафорией, а сторож мирно проспал всю ночь. И хотя охранная компания пообещала возместить ущерб, на душе осталось гаденькое послевкусие, которое заметно усилилось после поездки в метро. На работе все было тихо и спокойно, однако раздражение нарастало как снежный ком.

Ехать домой на общественном транспорте не хотелось. Да и зачем, ведь нужно лишь позвонить — и все уладится...

* * *

Мы встретились во дворике возле моего офиса. Присев на лавочку, Гурд повторил обычные процедуры, после чего, как мне кажется, слегка повеселел. Вынув деньги, он протянул их мне, но я не стал торопиться.

— Скажите, куда деваются купленные у меня чувства? И как вам удалось вернуть кота с того света? — со стороны, наверное, это звучало как бред.

Гурд посерьезнел, однако не перестал улыбаться:

— Спрос рождает предложение, знаете ли. У вас мы покупаем, кто-то покупает у нас. Мы добропорядочные посредники. И поэтому я не стану раскрывать вам все сферы деятельности компании. Коммерческая тайна, знаете ли. А насчет кота... Наша фирма

может позволить себе некоторые научные исследования. Не стану утруждать вас подробностями, но это связано с квантовыми флюктуациями, теорией относительности и принципом неопределенности... Так ли это важно на самом деле?

Я оторопело пожал плечами. Гурд положил пачку денег на скамейку рядом со мной и коснулся шляпы:

— До скорой встречи, надеюсь. Кстати, рекомендую вам обновить сигнализацию. Во второй раз нас это не заинтересует...

Кивнув, я перевел взгляд на то место, где обычно оставлял автомобиль. И даже не удивился, когда увидел там свою машину без единой царапины.

На мгновение стало очень страшно...

* * *

Спустя несколько дней меня разбудил телефонный звонок. С трудом разлепив глаза, я взглянул на сияющий экран телефона. 4:40. И зачем это мама звонит в такую рань?

— Сынок... — голос ее был непривычно грустным. — У папы инсульт... Он в коме...

Наскоро одевшись, я выскочил в подъезд, на ходу набирая номер Гурда. Мне ответили почти мгновенно и, судя по голосу, консультант уже давно проснулся. Или вовсе не ложился.

— Гурд! — проорал я в трубку, прижатую к плечу, стараясь вставить ключ в замок зажигания. — У меня есть отличный товар!

— Да, слышу, — коммивояжер был как всегда вежлив, — если вам удобно, я скоро буду.

— Нет времени, — кричал я, выжимая газ и заставляя машину с ревом нестись по улице. — Возможно, мне будет удобнее заскочить к вам в офис и...

— В этом нет необходимости! — резко оборвал меня консультант.

Какое-то время не было слышно ни звука, кроме лошадей, несущихся галопом под крышкой капота. Затем Гурд снова заговорил:

— В качестве исключения я согласен оценить вашу боль дистанционно. Для этого вам придется ответить на несколько вопросов. Вознаграждение будет перечислено на указанный в договоре счет. Вы согласны?

— Да, да, согласен! — заорал я в трубку, чувствуя всепоглощающее облегчение.

— Что ж, приступим...

* * *

В окнах родительского дома не горел свет. Подойдя к крыльцу, я какое-то время просто стоял, переминаясь с ноги на ногу и боясь постучать. Затем решился.

Дверь долго не открывалась. Наконец на пороге появилась заспанная мать, одетая в потрепанный цветастый халат. На ее лице сперва отразилось недоумение, а затем испуг.

— Сынок, ты чего в такую рань-то приехал? — спросила она осипшим спросонья голосом и посторонилась, приглашая войти.

— С папой все хорошо? — я шагнул в дом, в котором не был, казалось, лет сто.

— Да что с ним станется! А почему ты спрашиваешь?

Я слегка пожал плечами и улыбнулся. На душе было спокойно и радостно:

— Да так, приснилось просто чего-то...

Прошло чуть больше месяца с начала моего сотрудничества с ЗАО «ДРАГТУ». После случая с отцом я им не звонил, да и Гурд не выказывал желания общаться со мной. О нем напоминали лишь деньги и странное, пьянящее спокойствие, ставшее моим неизменным спутником.

Однако в то утро я был на взводе. Сперва не услышал будильник, затем долго не мог найти ключи от машины. В общем, на работу я чертовски опаздывал.

Паркуя машину, я заметил три полицейских автомобиля, стоящих напротив офиса. Меня это почему-то взволновало. Не до конца понимая, что делаю, я набрал номер коллеги.

— Ну, Антоха, у нас тут и дела... — донесся из трубки возбужденный шепот. — По офису менты целое утро рыщут, шеф бледный бегаёт туда-сюда. Кричит что-то про растрату. Про тебя говорили, я слышал. Будто бы твою квартиру сейчас обыскивают, деньги какие-то нашли. Шеф на весь офис орал, что тебя сегодня же уволят... Алло! Алло! Антоха, ты там?

Грудь скрутило, и я с трудом заставил себя вдохнуть.

«Мне ведь удалось все вернуть! Неужели заметили?!»

Паника накатывала волнами. Не осознавая до конца своих действий, я повернул ключ зажигания и неторопливо поехал прочь от офиса.

— Куда мне теперь? — пробормотал я, вцепившись в руль. — Деньги они нашли... Гурд...

«Перезвоните в более подходящее время», — ответил елейный женский голос, заставив в сердцах отбросить телефон.

Внезапно до меня дошло, что я подъезжаю к соб-

ственному подъезду, возле которого припарковались несколько одинаковых машин.

В следующий момент что-то огромное, рыжее упало на лобовое стекло, разукрасив его сеткой мелких морщин, и на меня уставились остекленевшие, налившиеся кровью глаза соседского кота.

— Твою ж!.. — рывкнул я и судорожно нажал на газ, подсознательно надеясь, что резкий старт сбросит труп с бампера.

Увы, голова кота умудрилась пробить стекло и крепко застрять, поэтому пришлось выталкивать его прямо на ходу.

«Перезвоните в более подходящее время...»

— Да сейчас как раз самое подходящее, дура! — заорал я в трубку.

Нужно было что-то придумать, но на ум приходил лишь один вариант. Набирая номер, я чувствовал, как растет напряжение, и когда наконец ответили, едва не расплакался.

— Алло, пап?! К вам сегодня никто не приезжал? — услышав отрицательный ответ, я слегка приободрился. — Можно мне к вам заехать? Нет, нет, ничего не случилось. Просто поболтать. Лады?

* * *

До поселка, в котором жили родители, от города всего двадцать минут. За это время я сумел немного успокоиться и привести мысли в порядок. Ситуация представлялась достаточно странной. Казалось, что все мои несчастья внезапно вернулись с удвоенной силой. Возможно, не стоило прилетать родителей? Но было поздно об этом думать, поскольку машина уже выехала на знакомую с детства улицу. От одного из заборов отделилась фигура и подошла к дороге,

приветливо помахав рукой. А в следующий миг лопнули колеса машины. Меня отбросило в сторону, и словно в замедленной съемке я увидел приближающегося отца, его открытый в изумлении рот и едва рождающийся испуг в глазах. Потом удар и хруст...

С трудом отогнав от глаз багровую пелену, я сумел отцепить ремень безопасности и выползти из машины. Отец лежал метрах в пяти, неестественно выгнув спину. Преодолевая боль, я пополз к нему, кусая губы и чувствуя во рту привкус крови. Выбившись из сил, протянул руку и коснулся шеи. Жив, но без сознания. Или в коме...

Откуда-то издали доносились голоса. Но мне было плевать. Нужно только дозвониться Гурду. Он все уладит.

— Слушаю вас! — раздался голос консультанта, и лишь спустя несколько секунд я понял, что доносится он не из телефонной трубки: Гурд стоял возле меня, глядя сверху вниз огромными печальными глазами.

— Гурд, что происходит?! — прохрипел я, схватив его за штанину. — Все, что вы купили, вернулось, и даже больше! Что за дела?!

На лице консультанта отразилась досада. Наклонившись, он без усилий разжал мои пальцы, отступив при этом на шаг назад:

— Видите ли, Антон, наша фирма позиционирует себя как добропорядочного партнера. Поэтому наши клиенты вправе вернуть товар, если он их не устроит. Признаюсь, иногда им просто надоедает страдать. Но что ж поделать, «Закон о правах потребителя», черт бы его побрал... Деньги, кстати, возвращать не нужно. Считайте, что вам просто не повезло...

Какое-то мгновение я обдумывал его слова, затем меня осенило:

— Купите сейчас! Видит Бог, у меня есть первоклассный товар!

На лице консультанта появилась сочувствующая улыбка:

— Прошу простить, но это невозможно. Я не смогу сделать вам достойное предложение, поскольку ваши нынешние страдания — бесценны! Мне очень жаль...

С этими словами он приподнял шляпу, прощаясь, и зашагал прочь. Я смотрел ему вслед, чувствуя внутри себя пустоту.

А спустя мгновение мир укутала багровая мгла...

Александр ШУШЕНЬКОВ
(г. Воронеж, РФ)

Запечник

Рассказ

Петрозаводский художник Виктор Сергеевич Чижев после развода купил дешево в глубинке деревенскую избу.

Отчего так поступил?

Душа просила. Даже не просила — требовала!

Тринадцать лет прожил с любимой женой, а так и не нашел с ней общего языка. Не понимала Танюша, что кроме денег, шмотья и машины, есть другие ценности.

Вечные.

Духовные.

Витю с детских лет тянуло в искусство: рисунок нарисовать, динозавра из пластилина слепить, песню про Деда Мороза исполнить, в школьном спектакле роль сыграть, стишок сочинить...

Да мало ли!

Хотел после школы в архитектурный институт поступить, но завалил проклятую математику, и пришлось идти на завод. Потом — армия. А в армии, бла-

годаря своим способностям, стал оформлять наглядную агитацию: лозунги писать, плакаты рисовать, стенгазеты выпускать...

Так самостоятельно освоил изобразительное ремесло.

После армии позанимался в изостудии Дворца культуры, да и оказался волею судьбы на должности заводского художника.

Женился на молодой и красивой бухгалтерше. Была она в искусстве неопытной, а в быту — молчаливой. Поначалу...

Постепенно набрался Чижов художественного опыта и мастерства. И — созрел! Ощутил, что пора самому что-то эпохальное сказать в искусстве. Нравились ему и Микеланджело, и Куинджи, и Айвазовский, и Мане, и Дали, и Босх... А поскольку был Виктор Сергеевич самородком, никакие академические условности, школы и течения его не давили, чувствовал он себя раскованно, мыслил нешаблонно. К чему это привело? Кроме заводских заказов на темы перевыполнения плана и укрепления трудовой дисциплины стал для души работать над собственными полотнами.

Первая масляная картина «Очередь за бриллиантами в Кандалакше» приглянулась Танюше, хотя и вызвала с ее стороны в дополнение к нелепым дилетантским вопросам зачатки мечтаний о богатстве.

— А почему они так выглядят? — спросила она мужа. — Вместо рук — клешни рачьи? И лица зеленого цвета?

— Аллегория, — пояснил Чижов. — Люди превращаются в животных при виде богатства. Понимаешь? Бриллианты — это кандалы. Поэтому очередь — в Кандалакше...

— А-а, вот оно как, — протянула супруга. — Да уж.

У нас на работе ходит одна в платье от Кардена. Да какой «Карден», когда даже на Юдашкина не тянет? Типичная зеленая жаба, только что без клешней и кандалов. А у меня — ни одного брюлика. Кошмар! И за сколько мы эту картинку загоним?

Вот так и проявляется меркантильность!

Продавать полотно было жалко, но жена нашла покупателя, и тот — мерзавец! — столько предложил, что пришлось с «Очередью» расстаться.

Так и пошло: что Чижов не нарисует — всё находит клиентов. Денежных.

Техника у него, конечно, была слабоватая, зато темы абсолютно необычные: «Вставай, поднимайся!», «Птеродактили прилетели» (по Саврасову), «Зябрь», «Чаепитие с полонием вприкуску» (по Перову), «Тьма тем», «Иван Грозный убивает Петра Первого» (по Репину), «Странствующие осины»...

Одним словом, художественный примитивизм высочайшего уровня, этакий северный Магрит напололам с Пиросмани!

Жена постепенно брала инициативу в свои руки. После смерти чижовской матери и доставшегося ему в наследства автомобиля «Жигули» четвертой модели Татьяна стала мечтать о «Мерседесе». Ее абсолютно не заботили творческие искания Виктора Сергеевича — только деньги, деньги, деньги!

А дети? А любовь? Да была ли она у нее? У него-то была: о сыне мечтал, а эта даже детей не хотела. Вот, блин, и красавица, Рубенс тебе под хвост!

Потом испарилось вдохновение. Или кризис среднего возраста наступил?

Картины покупать перестали; следом пошли ругань, вопли, визги, сопли и слезы.

Развелись.

И оказался Чижов один на один с чувством глу-

бокого внутреннего неудовлетворения. Непонятым и тоскующим. Эх, Танюша...

Так вот и купил в конце апреля у одинокой бабки домишко с огородиком. Типа дачи для творчества. Место выбрал случайно, когда проезжал в тоске вдоль западного берега Уницкой губы. Думал тогда для восстановления духовной потенции рыбалкой заняться: даже проконсультировался со знакомым рыбаком Костей Евгеньевым о методах легальной ловли и снасти по его совету купил.

Приехал на Онежское озеро, осмотрелся...

Лепота!

Берега высокие, лес елками да разными прочими деревьями глаз радует, воздух чистый. А небо-то какое! Бесконечные облака разным цветом играют: то солнце закроют, и пейзаж становится этаким серовато-нестеровским, можно даже сказать, саврасовским; а то откроют солнце, лучи его осветят окрестности — и идут уже поленовские теплые тона, Шишкиным да Левитаном отдает...

И повело на лирику.

На кой она нужна, эта рыбалка? Вот здесь бы дачку занять для творчества! Может, купить домишко у кого из местных?

Проехал вдоль берега и обнаружил деревеньку. Похоже, заброшенную... Несколько больших избух-развалюх без признаков жизни, а над одной — дымок поднимается.

Подъехал.

Хозяйка — мелкорослая древняя бабка; горбатая, редкозубая, с жилистыми ручищами и щетинистой физиономией в бесчисленных морщинах.

Разговорились и — вот так удача! — выяснилось, что она как раз собирается съезжать из своей халупы, но покупателя найти никак не может. Бабья жад-

ность — понятное дело... И жена бывшая за копейку готова была удавиться!

— Места у нас тут хорошие, жалко, что народ поразъехался. Давно уже все в город подались, — шамкала старуха. — А тут столько ягод и грибков растет! И недорого возьму, милоч.

Художнику место запало в сердце. И часовенка старинная на небольшом мыске стоит... Ну, просто — отдохновение от сердечных мук! Волшебный край. Как говорится, «У Лукоморья дуб зеленый...»

Здесь на природе, вдали от городской суеты такого можно наваять — Тициан позавидует!

* * *

— В монастырь ухожу, — объяснила ему владелица напоследок. — На Валааме грехи отмаливать пора. Я ведь с Жихарькой согрешила, милоч. Он попервоначалу-то был добрым. Конечно, маленький, зато нрава веселого. Дите родила. И брагу гнала, ох, гнала, проклятую! До сих пор в погребке остатки стоят. Пока народ, значит, в деревне жил, многие нуждались. У меня ведь и рецепт был особенный: с клюквой да брусникой. Деньги, вишь, нужны были: пенсия наша маленькая, что твой нос. А голбешнику моему это не нравилось. Сам он — из непьющих. Серчал. Так вот счастье наше и кончилось. Шибко нервным он стал. А дочка вся в него: меня не любит да ругает.

И здесь та же проблема, подумал художник. Ушла любовь, увяли помидоры!

В избе пахло мышами, кислой капустой, сушеными травами и еще чем-то специфическим и деревенским.

Старуха дальше несла едва различимый вздор, а Чижев рассеянно слушал, погруженный в грустные размышления о трудной доле истинного творца.

Жил был художник один...

И скучно, и грустно, и некому руку подать...

Устал я греться у чужого огня...

— Скотина-то у тебя есть? — спросила бабка. — Свины, куры? Может, корова?

— Что? — переспросил Чижов, возвращаясь в реальность. — Ах, корова. Нет, коровы нет.

— Он лошадей любит, — пояснила бабка. — Чистоту и порядок поддерживай, не лентяйничай — этого он не выносит. Может наказать.

Тут она снова пустилась в нелепейшие рассуждения о ком-то (вероятно, имея в виду покойного мужа), кто не любит, если его не уважают.

Старческий маразм, известное дело!

— Будет стучать дверьми да окнами, кидать тарелки, надписи на стенках писать, может кошку сбросить с печки, пряжу попутать, — бормотала бабка, ковьяля из кухни в сени. — Не гневи, милоч, дедку. Он ведь ночью может наваливаться, и пойдут у тебя потом перемены жизненные, али нездоровье приключится. На Троицу сплети веноч и повесь в сенях. Избушка у меня справная, дрова ещё с прошлого года возле печки остались...

Чижов машинально кивал.

— Когда каравай испекешь, горбушку отрежь, посоли и забрось под печь, — напутствовала бабка Чижова напоследок.

С тем и расстались.

* * *

Отпуск Чижов взял в начале июня.

Природа цвела и благоухала, погода благоприятствовала, боль от разлуки с Татьяной постепенно рассасывалась; пора было приступать к новым творе-

ниям, начинать этакий «розовый период» — как у Пикассо, например.

Он набил салон машины художественными альбомами, холстами, красками, растворителями, кистями, а также запасами еды и питья, решив полностью отделиться от старого мира и цивилизации.

Месяц в деревне!

В конце концов, ему уже тридцать пять; в эти годы все классики достигли высот, а Рафаэль даже успел умереть!

Еще взял с собой магнитолу и кучу компакт-дисков для вдохновения, а также несколько фотографий бывшей жены. Эх, милая, и чего тебе не хватало?!

* * *

День выдался жарким.

Заброшенный огород густо покрывали высокие желтоголовые сорняки, между которыми проглядывали также широченные лопушиные листья. Над огородными растениями порхали бабочки и пчелы; слышался стрекот кузнечиков и частые восклицания невидимых птиц; петух сидел на заборе; ящерица грелась на тропинке, ведущей в уборную...

Замечательная атмосфера для ваяния шедевров!

Чижев установил мольберт в тени березы, что росла посреди огорода, сел на стульчик и приступил к работе.

Сюжет в голове уже сложился. «Кающаяся Татьяна». Композиция, естественно, с известного полотна Тициана, а вместо Магдалины — портрет экс-супруги.

Укрепил рядом с мольбертом крупную копию плаката тициановской картины и стал широкими мазками срисовывать первичный фон. Сначала — грубые формы: темные скалы с левой стороны холста, синее

небо по правой стороне... Тут, кстати, можно и с настоящего неба дерануть: день-то какой солнечный! Ни облачка! Одиннадцать часов, а уже этакая жарница...

Может, оголиться для прохлады, подумал внезапно Чижев. Все равно деревня заброшенная, никого вокруг нет. Это же не город! Вон, лишь петух одичавший ходит по мусорной куче да таращится на картину. Первый зритель, так сказать. Ну, что ж, петюня, считай, что тебе повезло: присутствуешь при рождении шедевра!

Через полчаса, закончив с фоном, он решил: сбросил одежду и, почувствовав оттого легкость, душевно повеселел. Эх, Танюша, еще привезу тебя сюда! Все у нас наладится! А пока... Надо бы сделать перерывчик небольшой. Нарзанчику попить.

Кстати...

А почему, собственно говоря, только нарзанчику? Бабка же говорила, помнится, про брагу, что осталась в погребе? С клюквой и брусникой.

Говорила.

Отчего бы не попробовать? День-то — просто чудо! Песня!

Нормальные художники всегда для вдохновения принимали. Взять хоть Ван Гога, например. Хлопнул полбутылки — и нарисовал «Подсолнухи». А тут такая природа вокруг! Запросто удастся хоть десять «Подсолнухов» залудонить! Тем более никто не мешает, не отвлекает.

Надо еще будет музыку для полного кайфа включить. Георга Отса, например.

Чижев отошел от холста на несколько шагов и придиричиво посмотрел на начало творения. Нормально! Процесс идет в правильном направлении.

Уста-а-а-ал я гре-е-е-еться у чужого огня-я-я-я-я-я-я...

Что там у бабки в погребце?

* * *

С брагой да под музыку работа пошла значительно продуктивнее...

Очнулся уже ночью. Первой мыслью было: где это я? Затем: как тут оказался?

Почти ничего не было видно, так как лежал на полу. Было жестко, холодно, и очень хотелось пить.

Во мраке чей-то тонкий голос пропищал:

— Всё равно он мне нравится. Замуж желаю.

— Дура! — прогундосил кто-то глухо. — Он же не из наших.

— Зато красивый. И это — большое!

— Кто здесь? — испуганно спросил в темноту Чи-
жов.

Голоса оборвались, наступила тишина.

Чижев приподнялся и ошупью нашел выключатель. В кухне стало чуть светлее.

Ага, значит, я у себя, понял Чижев. На своей даче, стало быть.

Правильно: я же картину рисовал.

Помнится, жарко было...

А-а, потому я и голый. То-то холод забирает!

А где одежда?

Постепенно, фрагментами он вспоминал события дня.

Значит, вначале все шло своим чередом. Приступил к творчеству. Сделал фон. Было жарко, да. Пришлось раздеться. Вот! Значит, одежда — на улице. На огороде, видимо, осталась.

Шатаясь, он выбрался из избушки и побрел на огород.

Вон и погреб.

Эх, бабушка, бабушка...

В свете белой ночи он легко нашел разбросанные свои вещи. Мольберт почему-то валялся на земле, рядом обнаружилась магнитола с порванным шнуром от электропереноски, россыпь компакт-дисков, измятый плакат-картина «Кающаяся Магдалина», куски хлеба, давленные огурцы-помидоры, обертки от плавленых сырков, обглоданные куриные кости, огромная бутылка с темной жидкостью, нож, кружка...

Да, крепко зелье у старухи, подумал сокрушенно Чижев, ох, крепко. Видно, выдержка большая!

От холода била сильная дрожь, и он бегом вернулся в избушку. Все ж таки Север это не южный берег Крыма! Надо затопить печку; дровишки-то старушачьи, вот они, лежат.

А как ей пользоваться?

Эх, не спросил у ведьмы!

Тут надо пояснить, что Чижев — так уж получилось — отродясь не имел дела с печками. Вырос в городе, где сплошное центральное отопление; в армии тоже все было цивилизовано.

Просто напихать поленьев в нее и поджечь?

А куда пихать?

Он осмотрел печку. Занятое сооруженьеце. Но нужное! Какая-то заслонка...

Отодвинув заслонку, обнаружил огромный да темный широченный зев. Вероятно, сюда?

Снял заслонку и стал швырять в зев поленья. Побольше накидать, чтоб стало жарко, как в бане!

— Эй, полегче! — внезапно раздался из темного зева гнусавый вопль.

Дрова стали вылетать назад, а за ними вылез...

Чижев моментально забыл про холод и жажду.

Ну и тип!

Рост — меньше метра. Бородища — почти до пола, да и сама рожа — вся в волосьях. Длинная подпоясанная красная рубаха, синие штаны; из штанов торчат ноги, покрытые густейшей шерстью — как у животного какого. Когти огромнейшие...

А уши — кошачьи! Ничего себе, котик!

Под глазом у типа стремительно рос синяк.

— Ты что, скотина, безобразишь! — заорал бородач, уставив в Чижова когтистый палец. — Ты меня бревном чуть ока не лишил!

— Позвольте, — залепетал Чижов, — но я же не знал, что...

— Надо знать, пропойца! Почему на мусорной куче валялся, почему спать лег, не поужинав?

Обращение «пропойца» обидело Чижова.

— Попрошу без оскорблений, уважаемый, — попробовал он урезонить краснорубашечника. — Меня даже наш главный инженер по отчеству называет. И потом какое вам дело, лежал я на мусорной куче или нет? Где хочу, там и отдыхаю!

В печке хихикнуло.

— Да я же здесь обычаи блюсти поставлен, пропойца! — снова оскорбительно закричал карлик. — Прасковья нас бросила, так ведь она ж тебя предупреждала о традициях?! Я же слышал, как она говорила, мол, уважай дедку!

Претензии карлика стали раздражать Чижова. Кто он такой, что права качает в чужом доме? Залез в печку и думает, ему все можно?

Нахал!

Может, беглый лилипут из цирка?

— Вы по какому такому праву в мой дом забрались? — заговорил художник строгим тоном. — Грабануть решили? На «Жигули» позарились? На магнитолау?

— Шельмец! — совершенно вышел из себя бородач и от ярости так засучил ногами, что скрежет его когтей вызвал на спине Чижова дрожь. — «Твой дом»? Накось-выкуси! Что, никогда про голбешников не слыхал? Печь никогда не топил?!

Господи, что он несет, подумал художник. Вот аферюга, так аферюга!

— Вы мне, гражданин, не вешайте лапшу! Коли лилипут цирковой, так думаете, вам все позволено? А если я полицию вызову?

— Тьфу! — плюнул злобно карлик. — Какие еще лилипуты цирковые? Сказано же тебе: до-мо-вой! Почему вещи на огороде расшвырял, пропойца? Забыл про порядок? Под березой лужу целую сделал, пьянчуга! А уборная на что?

— Я не обязан знать про всяких домовых, — медленно стал пугаться Чижев.

Что-то было в карлике уж слишком зловещее. Ноги с когтями, уши кошачьи... И претензии довольно странные. При чем тут уборная?

— Тем более наука доказала, что их нет, — продолжил Чижев миролюбивее. — Стало быть, вы — обычный карлик. Лилипут из цирка. Сбежали из труппы? Ладно, бывает — труд тяжелый, не спорю. Но согласитесь: нехорошо по чужим печкам лазить, дедушка! Могли бы предупредить. И вид у вас, извините... Хоть бы побрились, а то физиономия — как у столетнего кабана!

Карлик побагровел:

— Ах, срамник! Лилипутом заслуженного голбешника обзываешь! Лизуном сделаю поганца! Будешь волосы у детей да шерсть у овец зализывать!

— Не надо папаша, — пропищало из печи. — Лучше жени его на мне! Пусть запечником будет! Мы тебе внуков наплодим!

Тут уже настоящий ужас овладел Чижовым. Точно, подумал он, этот бандит не из цирка! Да еще и не один. Сколько их в печку забралось? Банда карликов! Из лагеря рванули? Сумасшедший уголовник... Запросто ножом пырнет!

Чижов почувствовал в организме чудовищную слабость. В горле совсем пересохло.

— А могу и пастенем сделать, и будешь, скотина, тенью на стене, — усилил напор карлик и страшно впился своими недвижимыми буркалами в глаза Виктора Сергеевича.

Он еще и гипнотизер, мелькнуло у Чижова. Похлеще Кашпировского будет, Вий проклятый!

— Не надо, папаша! — снова провизжал бабий голос из печной утробы. — Нравится он мне. Детей хочу от него!

— Да он в печках ничего не соображает! Какой из него будет домовой? Уж лучше в петуха превращу, потом суп сварим!

Господи, да неужто такое возможно, заколотило Чижова. Неужто этот и в самом деле — домовой? И тут он вспомнил старушечьи рассказы. Вот оно что! Это, значит, она про него плела? Не гневи, говорит, дедку, а то навалится... А почему бы и нет? Человеком-то его назвать с такими когтями на ногах язык не повернется... Вот и навалился! В петуха обратиться хочет... Ничего себе! Вместо рисования картин — в кастрюлю!

Все эти мысли жутким вихрем пронеслись в мозг Чижова и нашли неожиданный выход в судорожном возгласе:

— Не губи, папаша! Виноват, исправлюсь! Только — не в петуха!

— А печку изучишь?

— Богом клянусь!

— Тогда женю! Будешь знать, куда дрова кидать, сынок! — прокричал карлик, и тут нечто подняло Чиждова и бросило с размаху в темное нутро печи. Там обхватили его незнакомые жаркие руки, и сделалось ему и тепло, и беззаботно...

А вот про Татьяну он тотчас же забыл!

* * *

С некоторых пор объявился в Заонежье умелец в подпоясанной красной рубахе и синих штанах. Ходит он по окрестным деревням и дачам да предлагает бесплатно поставить или выправить жителям печь. Он не пьет и не курит, от денег категорически отказывается, проповедует экологию, порядок и семейные ценности, особенно упирая на любовь.

— Неважно, — говорит вдохновенно мастер, — как выглядит твоя избранница; красавица ли она писаная, или — наоборот, меньше метра в высоту. Главное — душевная чуткость и понимание. Никогда не надо ссориться и пить алкоголь. Если жена ценит мужа, а не деньги, если любит его всей душой, так она для него — и Венера, и — Магдалина в одном лице! Я вот, например, раньше только на внешность смотрел, а потом понял — нет, не в ней дело! И представьте себе, нашел-таки свое счастье! Деньги ей не нужны, и бриллиантов не просит; а зато как печёт пирожки в нашей печке! И тесть у меня замечательный, хоть и не носит обуви. Деток рожаем помаленьку. Нет некрасивых женщин — есть слепые мужчины!

Иногда мастер даже исполняет на прощанье арию Мистера «Х».

Работы выполняет идеально да вдобавок украшает печки картинками на сказочно-любовные темы: Ивана-царевича с Василисой Прекрасной рисует,

Царевну-Лебедь с князем Гвидоном, Царевну-Лягушку в подвенечном платье — рядом со счастливым Иваном...

А ещё обязательно рассказывает, как печью пользоваться и чем горнило отличается от борова, под — от свода, а подпечье — от порожка.

Печки его не только греют отменно: по ночам к спящим на них людям прилетают высокохудожественные сны с сюжетами от Левитана, Поленова, Шишкина, Куинджи, Рериха, Васнецова и прочих гигантов живописи.

Лицом мастер напоминает бывшего петрозаводского художника Виктора Сергеевича Чижова, только — с длинной бородой...

* * *

Чуть севернее заброшенной деревни, где присмотрел домик Чижов, имеется заповедная стоянка древних обитателей Карелии с десятками оставшихся после них артефактов да петроглифов. Исходит оттуда таинственная сила, и — по мнению самых авторитетных домоведов — именно духи тех мезолито-энеолитных людей превратились в гнеток, лизунов, стеной-пастеней, голбешников и прочих подлинных хозяев наших жилищ.

Обычно это — незаметные добродушные шутники, которые не желают никому зла. Все, что требуется, чтобы жить с ними в согласии: при строительстве нового дома положить в подпол монетку (а лучше — четыре по углам), да еще от первого испеченного каравая отрезать горбушку, посолить и забросить под печь. Ну и, естественно, соблюдать в доме порядок.

Рена АРЗУМАНОВА
(г. Мариетта, США)

Федя-соловей

Рассказ

На самом деле то, что произошло с Федей, самого его не взволновало. И окружающие люди не заметили никаких изменений. Работал Федя крановщиком. По долгу службы с людьми общался мало, а в обеденный перерыв, забывая с мужиками «козла», и вовсе лишь жевал принесенные из дома бутерброды. Так что мог бы он со своей проблемой спокойно жить и дальше, вот только жена... Тоня всегда отличалась особой въедливостью, хотя совсем уж скверным ее характер не назовешь.

Все началось с того, что в одно прекрасное воскресенье утро Федя перестал разговаривать. Вернее, начал заливаться соловьем. Вместо слов — трель.

Вообще-то он и так был нелюдимым и не очень-то разговорчивым. Утром молча завтракал, привычно целовал жену и уходил на работу. Вечером, во время ужина супруги перекидывались парой слов, после чего Федя ложился на диван с газетой. Всякие прочие обязанности выполнял также молча, но обстоятельно.

Считал, не мужское это дело — тратить силы и время на болтовню. Поэтому жена не сразу и заметила, что происходит. А заметив — ахнула. Она всегда ахала в те моменты, когда не знала, что сказать.

Весь день она, всхлипывая, слушала эти трели, пока Федя играл на компьютере, потом когда смотрел футбол. Вечером зачем-то измерила мужу давление и температуру и, не найдя никаких поводов для беспокойства с этой стороны, дала ему сильнодействующее снотворное. Тоня справедливо полагала, что здоровый сон творит чудеса. Сама же выпила рюмку хорошего коньяка, который берегла для особых случаев и прятала от мужа по причине того, что у него этих особых случаев было не в пример больше. Спать легла отдельно: во-первых, чтобы не раздражать мужа запахом коньяка, во-вторых — а вдруг как болезнь разная?

Федя храпел так, что никаких сомнений в крепком сне не оставалось. Но чуда на утро не произошло: на вопрос жены о самочувствии муж в ответ разлился бодрой трелью. Судя по всему, его ничего не беспокоило.

Тоня позвонила на работу и взяла отгул. Потом, немного поколебавшись, позвонила на работу мужа и сказала, что тому пришлось срочно уехать сроком на неделю. Следующий звонок — верной подруге. Верка — женщина с образованием, работает ветеринаром и, как справедливо решила Тоня, разберется.

Подруга не заставила себя долго ждать и уже через полчаса сидела на кухне за обильно накрытым к завтраку столом и внимательно слушала Федины трели.

— Ну?! — не вытерпела Тоня.

— Что тут скажешь... — Верка развела руками. — Поет хорошо. И голову к плечу наклоняет — точь-в-точь соловей.

— И что нам делать? — всхлипнула Тоня.

— А что тут сделаешь? — Вера посмотрела на подругу и тоже всхлипнула. — Э-эх, а я бы не отказалась, если бы и мой зачирикал. А то все «дура» да «пошла»...

— Может, его терапевту показать?

— Можно показать, конечно.

Глядя на заливающегося соловьем Федю, Вера сделала удивительной покладистой. Прежде в ней этой покладистости не наблюдалось...

* * *

В кабинете терапевта Тоня от всхлипов перешла к плачу. Федя щебетал на все лады.

— На самом деле, я особой проблемы не вижу. — Доктор, не глядя в глаза пациенту, делала записи в карте. Давление в норме, живот мягкий, пульс хорошо прослушивается. Случай, конечно, интересный, но не мой.

— А чей? — сквозь слезы поинтересовалась Тоня.

— Не понимаю, что вас тревожит, — терапевт, наконец, оторвалась от карты и посмотрела на Тонию: — Муж здоров, потерей аппетита, с ваших слов, не страдает, прямой угрозы здоровью я не заметила. Пусть поет.

— Что значит — пусть поет?

Тоня расстегнула верхнюю пуговицу жакета. Федя нахохлился и еще больше склонил голову к плечу. Он хорошо знал, что расстегнутая верхняя пуговица — не к добру. После пуговицы жена может начать рукоприкладствовать.

— У меня в жизни, может, единственная радость и осталась, что с мужем поговорить. А вы меня этой радости лишаете.

— Я-то тут при чем? — терапевт позволила себе повысить голос — Это, знаете ли, не мой муж запел соловьем.

— И что мне теперь делать?

— Слушайте! Наслаждайтесь пением. Вы же раньше не часто мужа баловали тем, что внимательно слушали.

— Выпишите таблетки! — Тоня стукнула ладонью по столу. — На флюорографию его отправьте, в конце концов.

— Единственно, что я могу вам предложить, это направление к психиатру. — Терапевт захлопнула карту, тем самым давая понять, что ее ждут другие пациенты.

* * *

В кабинете психиатра на специальном столике стояла клетка. В клетке беззаботно щебетала канарейка. Федя сидел на стуле, склонив голову к плечу, и безостановочно пересвистывался с птицей.

Доктор внимательно наблюдал за поведенческими реакциями пациента. Убедившись, что ни агрессии, никакой другой угрозы от Феди не исходит, с улыбкой перевел взгляд на Тоню:

— А что вас, собственно говоря, беспокоит?

Тоня показала подбородком на мужа и залилась слезами.

Взяв изящный металлический молоточек, доктор поводил им перед глазами пациента, затем постучал по коленям. Вернулся за стол и недоуменно пожал плечами.

— Что скажете? — не выдержала Тоня.

— А что тут скажешь? Поет красиво. Я бы тоже так хотел.

Тоня расстегнула верхнюю пуговицу плаща. Федя испуганно зачирикал. Канарейка слетела с жердочки и забила в угол клетки.

— Могу предложить эксперимент, — сказал доктор. — Платный.

— Давайте! — моментально согласилась Антонина.

Она очень верила, что платные эксперименты, как и платное лечение, должны окупаться здоровьем.

Доктор вышел из кабинета и вернулся минут через пять:

— Надо подождать. Скоро все доставят.

— Что доставят? — уточнила Тоня и застегнула пуговицу.

— Все необходимого для эксперимента.

Канарейка вернулась на жердочку и что-то прочирикала — Федор с готовностью ответил.

Через какое-то время в дверь постучали, и в кабинет вошел парень с пакетами в руках. Положил их на стол и протянул доктору чек. Психиатр передал его Антонине. Та с готовностью достала кошелек и рассчиталась:

— Что это?

— Доставка из ближайшего ресторана. Дороговато, конечно, но быстро.

Доктор начал разворачивать пакеты. Выложил на пластиковую тарелку сочную отбивную с жареной картошкой и кусок сырного пирога. Затем поковырялся в своей тумбочке и достал пакет с кормом для птиц, который высыпал на вторую тарелку. Канарейка беспокойно забила крыльями.

— Угощайтесь, — сказал доктор и пододвинул обе тарелки к пациенту.

Федя не заставил себя долго ждать: взял пластиковую вилку и с аппетитом принялся за отбивную.

— И что нам дал ваш эксперимент? — поинтересо-

валась Тоня после того, как тарелка опустела и Федя залился счастливой трелью.

— С определенной долей уверенности могу заявить, что изменения, произошедшие с вашим мужем, не столь значительны. Птичий корм не вызвал у него никакого интереса. Из чего следует, что на самом деле, не все так страшно, как кажется на первый взгляд.

— Это вам не страшно! А мне страшно! — парировала Тоня. — Как мне теперь с мужем общаться?

— А сходите-ка вы к бабке, — неожиданно предложил доктор. — Я вам и адресок дам. Бабки они, знаете, иногда гораздо продвинутое современной медицины.

— Знахарка? — уточнила Тоня.

— Ну, не то чтобы знахарка, — доктор чуть расслабил узел галстука и заметно засуетился, — но определенные знания у нее есть. Я бы даже сказал — фундаментальные знания в определенной области.

Тоне показалось, что он явно темнит, но другого выбора у нее не оставалось.

* * *

Дорога от электрички к дому знахарки шла через лес. Федя весело пересвистывался с птицами. Тоня плакала. Думала, а вдруг и не надо ничего менять. Какая радость раньше была от разговора с мужем? «Тыр-тыр» да про футбол. А сейчас... Ведь заслушаться можно...

Добротный дом знахарки был обнесен новым забором. Антонина огляделась. Тихо и безлюдно. Как-то ей всегда казалось, что у дома таких бабок-врачевательниц должна стоять очередь из страждущих.

На самом деле никаким знахарством Анна Матвеевна, живущая в этом доме, не занималась. Всю

жизнь до самого выхода на пенсию работала она инспектором в детской комнате милиции и лучшим лекарством всегда считала трудотерапию. Очень доверяла труду, который из обезьяны человека сделал. Но самое главное — приходилась матерью тому самому психиатру, который не смог помочь Феде.

Была у Анны Матвеевны с сыном договоренность: он отсылал ей тех пациентов, что не несли социальной опасности. А уж Анна Матвеевна, не корысти ради, а добрыми чувствами ведомая, как могла помогала. Кто на участке работал, кто по хозяйству, кто мелкий ремонт по дому обеспечивал.

— Труд — он всему голова, — заявила знахарка Тоне, после того, как прослушала несколько трелей Феде.

— Да он вроде как и не бездельник, — заступилась жена за мужа.

— А чего вдруг ерунда такая: взрослый мужик чирикает? Криминала в этом, конечно же, нет, но бороться надо. Мы с вами должны воспитать достойного члена общества.

— Какого такого общества? — удивилась Тоня. — Ни в какое общество я члена своей семьи не отдам. Мне муж и самой нужен.

Неожиданно раздался дробный звук. Федя сразу нахохлился, склонил голову к плечу.

— Дятел завелся, — сообщила Анна Матвеевна. — Нет бы по дереву стучал, а он по дому! Вот его бы к психиатру...

Федя поднялся и высунулся в окно. Затем одним махом перескочил через подоконник и, задрвав голову, уставился на дятла.

— Тук, тук, тук! — неслось сверху.

— Тру-ля-ля-ля! — возмущенно засвистел Федя и, приставив к стене лестницу, полез наверх.

Тоня кинулась следом. Добравшись до последней ступеньки, Федя начал махать рукой, стараясь достать дятла. Спешившая на помощь мужу Тоня уже добралась до середины лестницы, когда дятел, громко захлопал крыльями и перелетел на соседнее дерево. Инстинктивно дернувшись, Федя отклонился назад и потерял равновесие. Лестница оторвалась от стены и с грохотом упала прямо на клумбу, подмяв под себя его, Тоню, астры и гладиолусы. Первой пришла в себя Тоня. Поднявшись на колени, поползла к мужу. Тот не подавал признаков жизни.

— А-а-а-а-а-а... — заголосила Тоня — Ф-е-е-е-едя! Птица ты моя ненаглядная!

Федя открыл глаза и потер ушибленный затылок. То, что он произнес, можно передать сплошным «мля-а-а-а».

— Да-а, — протянула выбежавшая во двор Анна Матвеевна. — Тяжелый случай. Такие обороты речи... Вся надежда на трудотерапию.

— Соловья убил, паршивец! — Тоня заголосила еще громче и, сняв с ноги ботинок, метнула в ненавистного дятла.

Роман КОМАРОВ
(г. Нижний Новгород, РФ)

Кукушка

Рассказ

Инспектор отдела надзора за магами и колдунами города Инска Осип Додонов рысцой бежал по дряблой тропинке в сторону управы. Ночью опять была метель, а под утро со стороны моря на город напал такой мороз, что в окнах затрепали стекла. Осип скользнул на порог, миновал коридор, ворвался в дверь своего кабинета, приник к натопленной буржуйке и растекся по ее теплоте, блаженно закрыв глаза.

— Осип Фомич, вам дурно? — раздался из глубины кабинета голос делопроизводителя Митрюхина.

— Нет, но сейчас станет, — проворчал Осип. — Что у вас?

— Новости, так сказать, с полей, — засуетился Митрюхин, соря мелкими бумажками. — Вот, полюбуйте, сколько накопилось жалоб от населения! Колдуны распоясались, весь честной народ стонет под их гнетом. Ворожат, проклинаят, умерщвляют младенцев в утробе. Доколе ж?..

Митрюхин отличался живым воображением и

даже пописывал стихи. На рождественской вечеринке он зачитал избранные элегии прилюдно, и с тех пор Осип старался его избегать. Чаще всего везло, и он находил пути обхода, но бывали дни, когда Митрюхин выпрыгивал навстречу из засады, брал его за пуговицу и читал, читал, читал. Проходящие мимо следователи только ухмылялись в усы и не спешили на помощь.

— Давайте к делу. Кто конкретно стонет и по какому поводу? — сказал Осип, держась руками за печь.

— Пожалуйте, — Митрюхин извлек из стопки треугольный листок, бывший некогда письмом. — Вдова ассессора Кулебякина рапортует, что на углу Крестовоздвиженки и Кузнецкого переулка неизвестное лицо торгует свиным хрящом, якобы исцеляющим от катара желудка. Госпожа Кулебякина приобрела означенный хрящ и употребила в пищу. С тех пор чувствует недомогание и склонна к обморокам. Просит разобраться.

— Не по моей части, — с облегчением выдохнул Осип. — Передайте Майорову, в следственный отдел. А еще лучше выбросите прямо в урну. Она в углу.

— Ладно, — неуверенно протянул Митрюхин, спрятал листок и вынул следующий. — Тревожные сигналы поступили с Цареградской улицы. Банда малолетних колдунов терроризирует жителей дома номер три. Стучатся в двери ровно в полночь и предлагают купить амулеты для изгнания блох, в противном случае грозят проклятьем всей семьи до седьмого колена.

— И что жители? Покупают?

— Нет. Весь дом проклят, уже зарегистрированы несчастные случаи. Теперь они ждут вас, надеются, вы их спасете. Просили захватить с собой икону Семена Гадюкоборца. Будут прикладываться.

Осип скрипнул зубами:

— Хорошо, я займусь, но не сегодня. Положите в папку «Производство». Дальше!

— У Никольской заставы имел место факт незаконного волхвования и магического оборота. В оных подозревается некий Феофилакт Надёжин из Трудовой слободки, помощник кузнеца.

— Что конкретно он сделал? Провел обряд?

— Хуже. Очевидцы говорят, он средь бела дня превратился в собаку и совершенно загрыз мещанина Голохвастова.

— То есть как загрыз?

— Клыками-с. Они отросли взамен зубов. Желтого оттенка, длиной в три вершка и преострейшие.

Осип задумался. Похоже, наклевывалось нечто любопытное:

— А труп где?

— Нету трупа, — развел руками Митрюхин.

— Постойте, как это нет?

— А так! Оборотень съел жертву целиком, с верхней одеждой. После чего незамедлительно скрылся в проулке.

«Замечательно! — подумал Осип. — Ни трупа, ни подозреваемого, зато имеется горстка перепуганных очевидцев, которые наверняка бабки, несущие круглосуточное дежурство у парадных. Наплетут с три короба от скуки, а потом выяснится, что никто никого не грыз, а подрались две соседские псины, и одна другой оторвала ухо...»

— Ладно, обмозгую. Что-то еще осталось?

Митрюхин кашлянул в кулак:

— Последняя жалоба особая. Требуется деликатности.

Осип искоса посмотрел на Митрюхина, чей взгляд был полон укоризны. Видимо, делопроизводитель за-таил обиду за недослушанные элегии.

— Я весь внимание, — сказал Осип кротко.

— Что ж, — вздохнул Митрюхин. — К вам делегация сирот. — Он открыл дверь и крикнул в коридор: — Эй, где вы там? Инспектор ждет! Шевелитесь!

Семь мальчиков-нунгов, одетых в песцовые шапки и оленьи кухлянки, беззвучно вошли в кабинет и выстроились перед Осипом в два ряда, как церковный хор. Они были похожи между собой: круглолицые, румяные, кареглазые. Младший крутил в руках сухую грушу, не зная, что с ней делать. Откуда он ее взял? Наверняка Лидочка, уборщица, дала. У нее сестра живёт в Корсуни, посылки оттуда раз в полгода шлет. Осипу за красивые глаза тоже однажды перепал деликатес — половинка инжира. Он ее разделил на десять частей и употреблял с вечерним чаем. Хотел попросить еще, как кончилось, да совестно было.

— Митрюхин, какого черта вы творите? — гневно спросил Осип, прячась за стол. — У меня неприятный день. И неприятный час. У меня все сегодня неприятное!

— Дело не терпит отлагательства, — пожал плечами Митрюхин. — Сами видите — малыши-с.

— И чего им надо?

Старший мальчик поднял на Осипа глаза. Его губы беззвучно шевелились. Осип было решил, что он немой, и вдруг услышал в своей голове ясный, звонкий голос: «Мой дом — убогая каморка. Мой последний олень пал прошлым летом. Моя еда — кора и мох. Моя вода — талый снег с огорода. Мой отец погиб, добывая тюленя. Мои братья не ели уже три дня. Мои пимы некому залатать. Мои лыжи сломаны. Мои руки гложет ветер. Мои ноги привели меня сюда».

Голос мальчика звучал в голове Осипа набатом, въедался в череп, подымал дыбом волосы. Чревове-

щание? Телепатия? Инспектор попробовал заткнуть уши — не помогло. Прочь, прочь из моей головы! Оставь меня в покое, проклятый мальчишка! Замолчи!

Внезапно голос стих, и Осип сделал глубокий вдох. Он вспомнил статью в справочнике Инска про нунгов, кочевой народец, пришедший с Орской возвышенности. С виду — обычные северяне, оленеводы и рыболовы. Летом бьют тюленя в заливе, зимой отходят к городу, селятся на выселках, иногда даже снимают квартиры. Между собой говорят на нунгском наречии, пока бесписьменном. Высочайшим соизволением императора ими занялся просветитель, монах Афанасий Кессарийский, но быстро отступил. Креститься не хотят, книгами не интересуются, в обрядах упорны. Вливаться в приличное общество не планируют, торгуют шкурами. В общем и целом, история типичная, ничего примечательного. И только одна деталь настораживала: нунги считали себя потомками Великого шамана севера, и потому все они, вплоть до грудничков, практиковали колдовство, причем наичернейшее. Особенно любили проклинать насмерть. Если верить справочнику, жертва умирала в течение суток.

Осип с опаской посмотрел на мальчишек. Нет, конечно, вряд ли они пришли, чтобы проклясть инспектора — он ведь даже добраться до них еще не успел. Да и не работают проклятия без отравы. Обычно ведь как делается? Колдун вручает заказчику мешочек с ядом и листок с магической формулой — мол, зачитай при полной луне на перекрестке трех дорог, наступив на хвост черной кошке левой ногой. Но главное-то яд! Без него ничего не сбудется.

Митрюхин тем временем уговаривал юных нунгов изложить суть дела.

-
- Мама, — наконец вымолвил младший мальчик.
И все они разом загомонили:
— Мама! Мама! Мама!
— Она жива? — спросил Осип.

Мальчики переглянулись и дружно соединили в кольцо указательные и большие пальцы. У нунгов этот жест значил то же, что у жителей Империи пожатие плечами.

— То есть вы не знаете, что с вашей матерью? Она заболела? Пострадала от действий колдуна? Что произошло?

«Она улетела», — раздался голос в голове.

Митрюхин, стоявший поодаль, сосредоточенно изучал бумаги. На лице его царило умиротворение и спокойствие. Неужели он ничего не слышит? Стало быть, нет, раз не удивлен.

«Как улетела? На чем?» — с досадой спросил про себя Осип, надеясь, что мальчик догадается прочесть его мысли.

«Сама улетела. Вернуть надо. Ты идешь с нами. Помогашь. Ты великий колдун. А не сможешь — будет тебе черная смерть от оленьего волоса», — заявил мальчик, и в его глазах сверкнула молния.

Он вырвал из кухлянки остевой волос и со значительным видом продемонстрировал его всем собравшимся. Митрюхин непонимающе заморгал.

«Волоса я не боюсь, — усмехнулся Осип. — И не колдун я вовсе, ты ошибся. Но помогу, так и быть. Хотя и не знаю пока, чем и как».

Осип прощально взглянул на печку и со вздохом натянул тулуп:

- Ведите! И вы, Митрюхин, со мной.
— Как?! — вскричал тот, прижимая к груди бумаги. — У меня дела, у меня письма. Население ропщет.
— Ничего, пусть ропщет, ему полезно. Может, пе-

рестанут оборачивать собаками и поедать друг друга. Быстро берите вещи, и выдвигаемся!

* * *

Мальчики вели Осипа и Митрюхина нечищеными дворами, в валенки то и дело набивался снег, приходилось его выгребать. Нунги в пимах шли ходко и плавно, почти не оставляя следов. В тусклом свете утренних фонарей они казались птицами, слетевшими на минуту с небес к безбрежной глади февральского снега. Митрюхин, отвернувшись от Осипа, что-то бубнил под нос. Серые, печальные дома стояли внаклонку друг к другу, ища тепла. Вдали кукарекнул петух и замолк, словно испугался собственного голоса.

Пройдя квартал, где располагалась управа, нунги взяли севернее и разогнались не на шутку. Инспектор и делопроизводитель задыхались в арьергарде.

— Далеко еще? — прохрипел Осип, вытирая пот варежкой.

На бегу он согрелся, а теперь уже даже перегрелся и силился развязать пуховую шаль, которой плотно умотал шею и подбородок перед дорогой.

«Три раза по сорок шагов и еще три раза по столько же», — произнес голос в голове.

Осип принялся считать: триста шестьдесят шагов, каждый, предположим, по метру, стало быть, они почти на месте. Но видно нунги или понятия не имели о том, что такое шаг, или были склонны к преуменьшениями — прошло не меньше получаса, а мальчики все неслись вперед, не глядя на окрестные дома и дворы. Они немного притормозили перед пустырем, на дальнем конце которого высились двухэтажные грязно-зеленые бараки.

Идти по пустырю было боязно и неприятно.

Снежная целина раскинулась на четыре стороны, разрезанная сбоку цепочкой глубоких следов. Митрюхин принялся ныть о ревматизме в правом колене, о свежей мозоли, натертой валенком, о екающей селезенке, которую необходимо срочно показать доктору. Осип не выдержал и цыкнул на него. Митрюхин ненадолго затих, но потом у него заболело в новом месте, и он опять принялся стонать.

Потихоньку светало. Мальчики сбились плотнее и повернули к западной границе пустыря, удаляясь от бараков.

— Эй, вы куда? — закричал Осип, и снег под его ногами разверзся.

Яма! Он упал, затрепыхался, как лосось на берегу, и вдруг увидел под собой выветренную каменную дорожку. Откуда она здесь? Почему ее не замело? Кто-то подсуетился и расчистил?

— Колдовство, — в ужасе шептал Митрюхин, стараясь наступать только на крупные камни. — Ой, мамочка, святая мать!

Мальчики шли, не оборачиваясь. У ближайшего к дороге барака толпились люди: разновозрастные нунги, бабы с мешками и необъятными корзинами, полными пирожков, мужики с лопатами для снега и несколько подростков, каких обычно встретишь на рынке в лавке мясника или возле кожевенной мастерской.

— Доброго утречка, барин! — сказал мужик, кланяясь Осипу. — Глянь, что делается! Каково!

— Да-да! — подхватили бабы. — Ишь, какая! Ох, прищучит ее господин инспектор, будет знать.

Народ расступился, пропуская Осипа и его свиту в барак. Следом потянулись любопытные. Внутри парадной валялась ветошь, колченогие стулья, облезлые горшки с дырявыми боками, порванные жур-

налы. Остро пахло сырыми шкурами и рыбой. Под лестницей небрежно лежало обглоданное оленьё копыто. Возле него дежурил кот наглой полосатой расцветки. При виде Осипа он зашипел и бросился наутек.

Дверь в одну из квартир на первом этаже была открыта — но не гостеприимно, а хмуро, как будто готовилась шлепнуть входящего по хребту. В жилой комнате на горе из пожелтевших тиковых матрасов сидела, неестественно выпрямив спину, худая женщина, нунчанка. На вид ей было лет сорок, но этих кочевников не разберешь. Она расплела покрытые тюленьим жиром волосы и пыталась приклеить к ним перья, которые вынимала из рваной подушки.

— Полюбуйтесь, господин инспектор! — сказала баба с корытом, по всей видимости, соседка. — Сидит, марафет наводит! А дети — на ветру, голодные. Тьфу, кукушка!

— Кукушка она и есть! — подхватила другая. — Живет здесь, за квартиру не платит, не выселяется. Мальчишки у нее под моей дверью вечно трутся. Я им вынесу помоев — так прямо из ведра хлебают. А ей хоть бы что! Бегают в дранье, спят на полу. Подушку им дала, а она вон что удумала — рвать.

Мальчишки подошли к матери и встали, не раздеваясь, позади нее. Старший сжал руки в кулаки, готовясь броситься на обидчиков.

— Что здесь происходит? — сухо спросил Осип у нунчанки. — Это ваши дети?

Женщина с неохотой посмотрела на Осипа.

«Да», — услышал он в своей голове. Голос звучал тихо, ласково, как шелест березы.

— Хорошо. Зачем тогда меня сюда вызвали?

— Не справляется она, — промямлил грузный мужчина в халате, чья порыжелая борода напомина-

ла растрепанный куст. — С материнскими обязанностями.

Женщина продолжала осыпать себя перьями. Мальчики молча сели рядом с ней. Младший все так же мял в руках сухую грушу, ставшую совершенно серой. Осип развернулся к зевакам:

— На контакт не идет. Объясните хоть вы, в чем тут дело. Нет, не все сразу. Кто-нибудь один. Вы!

И он указал на мужика с лопатой, который выглядел самым трезвым.

— Дело было так, — затараторил тот. — Я, Сашка Полуянов и Петька Щучий Дрищ пошли нынче на работы в кабак, крышу расчистить. Взяли лопаты, куда без них. По дороге попалась Дунька с Медвежьего оврага и говорит: переулком не пройдете, завалило. В обход надо. Ну, мы в обход.

— Причем тут это? — занервничал Осип. — Хватит лирики, переходите к делу.

Мужик выразил полнейшее согласие с инспектором:

— Пошли мы, значит, в обход. А там сани стоят — да такие широченные, трое в ряд усядутся. Медвежьей шкурой покрыты. Мы через них перелезли и дальше. Глядь — птица летит. Серая. Большая, как свинья. Ку-ку, кричит, ку-ку. Громко, чуть не оглохли. Мы ее лопатой оглоушили, она и свалилась в снег! Петька подошел, хотел взять, а она его как клюнет! Порх — и дальше полетела. Петька за глаз держится, орет недурихой. Она ему, вишь, бровь расшибла. Мы снег к глазу прижали, а сами за ней.

Мужик неуверенно посмотрел на Осипа, и тот кивком поощрил его продолжать.

— Бежим, значит, навстречу опять Дунька. Отойди, говорю, в сторонку, затопчем. А она за нами увязалась. Кликнула ребят — те вдогонку. Так сюда и добегли.

— Зачем же бежали? — спросил Осип.

— Так изловить хотели. Птицу-то. А она, поганая, шмыг в квартиру и сидит! Глаза тарацит. Оказалось, местная. Мы про то не знали, господин инспектор. А знали бы, лопатой не били. За то извиняемся и просим... это, смилосердствовать.

— Да-да, просим! — раздались голоса парней, сосредоточившихся под окном.

Осип отмахнулся от мужика и опять обратился к нунчанке, уже прилично разворошившей подушку:

— Гражданочка, извольте отвечать на мои вопросы. В противном случае отправитесь в участок, а ваши дети — в приют. Расскажите, как дело было. Почему дети говорят, что вы от них улетели? И бил ли вас этот человек лопатой?

Женщина печально улыбнулась. Сухие губы словно надломились посередине от усилия:

«Заболела я. Слегла. Попросила старшего сына принести мне воды, но не услышал он, убежал. Попросила я среднего сына принести мне воды, но не захотел он, рассмеялся и ушел. Попросила я младшего сына принести мне воды, но не стал он искать кружку. Оборотилась я тогда птицей кукушкой и улетела от них».

— Итак, что мы имеем, — строго сказал Осип, давая знак Митрюхину, чтобы тот составлял протокол. — Из семи детей вы обратились с просьбой только к трем, те ее не выполнили. Остальных просить не стали. После чего решили бросить их на произвол судьбы. На что вы вообще живете? Кто сдает вам квартиру? Где отец детей, другие родственники?

Женщина не шелохнулась. Только перья, подхваченные сквозняком, взвились над полом и медленно осели.

«Полетела я в дальний лес, — тоскливо продол-

жил голос. — А сыновья мои бежали за мной и кричали, чтобы я вернулась. Истерли они ноги в кровь. Там, где остались их следы, мох стал красным. Там, куда упали мои слезы, разлились озера».

— Какой мох? Какие озера? — вскричал Осип, стараясь не обращать внимания на то, что окружающие смотрят на него с удивлением и опаской. — Вы нормально разговаривать будете?

Женщина вынула из подушки крупное перо, осмотрела его и воткнула торчком в колтун на затылке. Толпа неистово зашепталась. Осип, осатанев от гнева, махнул перед лицом нунчанки рукой:

— Да откройте же вы рот! Если не начнете сотрудничать, я передам сведения в опеку. Оставьте в покое подушку! Почему у вас окна разбиты, печь не топленая? Чем вы кормите детей? И последний раз спрашиваю, вас бил лопатой этот гражданин?

«Не бил, — мечтательно сказал голос. — Никто не бил. Я в лес улетела. Села на ветку и закуковала от горя. Так летаю с тех пор одна, гнезда не вью».

Осип почувствовал, что он и сам сейчас закукует. Хотя если выкинуть из этой истории бред про кровавый мох и прочее, картина ясна. Помешавшаяся от голода и лишений нунчанка сбежала из дому, оставив детей. По дороге ей попались пьяные с раннего утра мужики. В сумерках они приняли ее серую камлейку за оперенье, попытались ударить лопатой. Нунчанка испугалась и вернулась домой. Но дети, оставленные матерью, уже направились в управу. Никакого превращения в кукушку не было и в помине! А что до голосов в голове, так это бывает. Осип читал про приборчик, который может звуки на расстоянии передавать. К примеру, в Бурге кто-то скажет «кофей», а в Инске сразу чашку приготовят. Так и с нунгами — общение происходит силой мысли. Кажет-

ся, по-научному это называется месмеризм. Никакой магии! Все объяснимо.

— Граждане, — обратился Осип к собравшейся в комнате толпе. — Семью постигла трагедия, мать оказалась не способна осуществлять уход за детьми в одиночку. Конечно, я могу донести об этом в соответствующий отдел, но давайте вместе подумаем, стоит ли так наказывать бедную женщину, вдову. Каждый может оступить, и наша задача — не добивать, а протянуть руку помощи.

Толпа заколыхалась. Мужик с лопатой сделал уверенный шаг вперед, сосетки наоборот отступили к двери, прикрываясь корытом. Осип оглядел всех, как полководец перед атакой, и воздел руки к потолку:

— Братья и сестры, предлагаю сейчас всем вместе помочь несчастной матери по мере сил и возможностей.

— Что делать-то надо? — высунулся из халата рыжебородый субъект.

— Вы и вы, — распорядился Осип, указывая на ближайших к нему мужиков — принесите дров. Митрюхин, растопите печь. Я знаю, у вас к этому талант. Вы, да, вы, там с корытом, приведите в порядок помещение, соберите мусор. Вы, граждане, сходите на рынок и купите хлеба. Вот вам на это пятак. Сдачу отдать детям до копейки, слышите? А вы, вы и вы пройдите по окрестным домам, соберите теплые вещи, одежды. Может, и грушки кто найдет.

Народ кинулся выполнять поручение. Мальчишки нунги прижались к матери, держась за ее камлейку — вдруг улетит? Только младший подошел к Осипу и сунул ему в ладонь сухую грушу. Не инжир, конечно, но тоже ничего.

Как только все разошлись, Осип подошел к нунчанке и спросил:

— А теперь скажите, где взять воды? Вы ведь пить хотели?

Она вручила ему перо и затянула на одной ноте: «С пригорка в ямку, из ямки в овраг, из оврага по тропинке, с тропинки к колодцу. Не достать до воды. Глубоко вода. Крепок лед».

«Чертова сказочница, — разозлился Осип. — Ни слова в простоте!»

— Эй, Митрюхин, останьтесь здесь и проследите, чтобы она никуда не делась. Начнет чудить, вяжите!

— Чем вязать? — испугался Митрюхин.

Действительно, было нечем. Тряпье выглядело старым, на веревки не годилось.

— Хорошо, разрешаю прижать матрасом. Только не сильно, а то задохнется, — и Осип, схватив бидон, вышел во двор.

Поплутав по окрестности, он вскоре нашел колодец, из которого здешний народ брал воду. Тяжелое дубовое ведро, окованное железом, с грохотом повалилось вниз, бешено разматывая цепь. Лед треснул, раздался плеск воды. Осип чуть не надорвался, затаскивая ведро обратно. Хорошо, хоть Митрюхина за водой не послал — его бы, хилого, точно в колодец утянуло.

Осип перелил воду в бидон и утиной походкой побрел к бараку.

Он боялся, что нунчанка попытается сбежать от детей еще раз, но в доме все было мирно. Мальчишки разложили матрасы вдоль стен, каждый сел на свой и занялся делом: старший вытачивал фигурку из кости, другие пытались сшить толстой иглой куски шкуры, младший уснул.

Митрюхин сидел на корточках у печи, открывая и закрывая коробок спичек. Огонь уже занялся и требовал то газетки, то полешка. Разбитые окна кто-то

заботливо заткнул ветошью из коридора. В комнате заметно потеплело.

Осип подошел к нунчанке, так и не расставшейся с подушкой, встал перед ней на колени и подал кружку воды.

«Пей, мама!» — мысленно сказал он, сам себе безмерно удивившись.

Нунчанка приняла кружку, сделала глоток, и вдруг ее рябое лицо начало стремительно белеть. Она обвела глазами детей и заплакала.

Осип встал.

— Митрюхин, на выход! — сказал он. — Нам здесь больше делать нечего.

* * *

Рассвело. Опухшее от туч небо стеснительно втягивало брюхо, ветер дул лениво, с перерывами. Где-то далеко петух, почувствовав себя уверенней, то и дело подавал голос.

Мужик во дворе истоиво рубил дрова, как будто их существование в нерасколоте виде причиняло ему мучительную боль.

«Вот тебе и элегия из трех катренов, — думал Осип, поглядывая на Митрюхина. — Доставай, дружок, семистопные ямбы, расскажи всем про сиротскую тоску, озера слез и лопату».

— Осип Фомич, — вдруг сказал Митрюхин. — А что если она опять бросит детей?

— Обещала, что возьмется за ум, — успокоил его Осип. — Да что вы разнюнились, Митрюхин? Кочевники, темнота!

— Жалко-с.

— А вы бы им целковый оставили на разживу.

— Так я и оставил.

Осипу стало стыдно. До самой управы он не сказал Митрюхину ни слова. Войдя в кабинет, закрылся изнутри на ключ и еще раз открыл справочник Инска. На странице, где описывались обычаи нунгов, была нарисована кукушка. Подпись гласила: «богиня леса, тотем племени».

Осип закрыл глаза и вдруг отчетливо услышал в голове: «Ку-ку!»

Дмитрий ПЕТРОВ
(г. Озерск, РФ)

Огрызок

Рассказ

— Валентин, ты откусил яблоко?

— Нет не я, отстаньте! Это Адам и Ева попробовали на том конце.

— В камеру ты клал объект? Ты! Зачем надкусил яблоко! Надоели нам твои шуточки!

Василий Степанович Горюнов заметно занервничал. Впервые эксперимент по телепортации объекта прошел успешно. Три года работа вытягивала у людей все силы, лишала отпусков целый научный отдел, разрушила две семьи и вот теперь полетела известному животному под одно место от обычной шутки. Валентин — хороший сотрудник, голова у парня на месте, не без искры в глазах, постоянно шутит на работе. Горюнов понимал, что это от нервов, что разрядка не мешает, да и сам не раз смеялся над его шутками, но сегодня! С другой стороны, кто знал, что улыбнется удача? Был объект в камере — и исчез. А потом вернулся, только, увы, не в целостности и сохранности.

— Где этот кадр? — спросил Василий Степанович

подошедшую Анну, лаборантку, в грязном белом халате с большой дыркой на накладном кармане, которую даже не перекрывал бейдж.

— В комнате для отдыха. Обиделся, похоже.

«Странно, — подумал Горюнов, — Валентин не из таких. Конечно, некоторые его шутки вызывали обиды, даже стычки: понятно, в напряженной обстановке не без этого; но чтобы обиделся сам генератор шуток? Нонсенс, однако».

— Позови-ка его ко мне.

— Сейчас, придет. — Анна убрала смартфон в карман.

Услышав за спиной шаги Валентина, Горюнов крутанулся в кресле — и не узнал шутника.

Из-под лохматой черной шевелюры настороженно выглядывают два голубых глаза, руки в карманах сжаты в кулаки, желваки напряжены, воротник халата поднят. И главное, ни тени улыбки.

— Рассказывай, Валя.

— Степаныч, клянусь, не я!

— Тогда кто? Кто позавчера засунул в камеру плюшевого хорька?

— Хорька я подкинул. Зато яблоко положил в аппарат целое! Специально осмотрел со всех сторон.

— Значит, его надкусили там, откуда оно вернулось? Ты это хочешь сказать?

— Да, там. У меня мурашки по всему телу, мне страшно.

— Где это яблоко раздора? — Василий Степанович закрутил головой. — Куда его дели?

— На бактериологической экспертизе. Вы же сами распорядились отправить. Проверка уже закончилась, я схожу за результатами. — Анна скользнула за стеклянную перегородку и через минуту появилась с листком бумаги.

— Если верить полученным данным, все в норме. Есть небольшое повышение радиации, но в пределах допустимого. Яблоко можно даже кушать.

— Тогда несите его сюда.

— Хорошо, Василий Степанович, одну секунду. — Анна вновь скрылась в лаборатории.

— Валентин, есть ли у нас еще яблоки?.. Отлично, тогда надо сегодня же повторить эксперимент. А вот и Аня, спасибо. Подойди-ка сюда, шутник, ближе-ближе, рот открой.

Горюнов приложил яблоко ко рту Валентина, затем внимательно всмотрелся в повреждение на плоде и знаком подозвал лаборантку.

— Так, Валя, прикус не явно твой. Анна, слепок сделай-ка. Да, именно гипсовый слепок. — Лаборантка ловко поймала яблоко.

— Валентин, позови народ, пожалуйста.

* * *

За длинным столом собралось несколько человек. Все были в белых халатах, многие принесли с собой кофе и чай. Возбуждение чувствовалось в разговорах, в нервном разжевывании печенья и сухек.

— Ребята, похоже, мы попали в точку! — торжественно начал Горюнов. Сотрудники затихли. — Не хочу говорить про исторический момент, это банально. Просто сообщаю, что на той стороне кто-то есть. А вон и Аня, и, судя по улыбке, у нее для нас хорошая новость. Ага, поглядите. Это точно не Валя.

Слепок пошел по рукам, его мерили линейкой, гладили, даже нюхали. Действительно, прикус не маленький — Валентин со своим до него явно не дотягивал.

— Валя, ты приготовил новое яблоко? Спиртом

протер? Отлично. Пройдемте к машине. Нам необходимо повторить эксперимент. Надеюсь, Валентин его опять не покусает. Да пошутил я, пошутил, не смотри на меня так.

— Предлагаю положить вместе с яблоком черешню, как вы на это смотрите? — Между большим и указательным пальцами Валентина рубином блеснула черешня.

— Согласны? — обратился к коллегам Василий Степанович.

Все утвердительно закивали, потом одни начали рассаживаться за свои столы, другие подошли к камере.

Горюнов сам положил яблоко и черешню. Завинтил камеру, посмотрел в окошечко, улыбнулся. Лаборатория начала наполняться звуком: заработали силовые установки, зашумели ящики управления.

— Внимание, начинаем отчет. Василий, ты координаты те же забил?.. Отлично.

— Антон Сергеевич, будьте добры, отчет от десятки.

— Начинаю, до нуля, — худощавый мужчина с черными кудрями принялся отчитывать и когда дошел до нуля, то откинул предохранительную крышку и щелкнул тумблером. В камере вспыхнул электрический разряд, и яблоко исчезло.

— Антон Сергеевич, теперь отсчет до десяти.

— Начинаю, до десяти...

По окончании счета, он щелкнул тем же самым тумблером.

Камеру снова прошел электрический разряд, повисло испарение. Яблоко лежало надкушенным с двух сторон, а рядом — косточка от черешни. Вокруг камеры собрались сотрудники.

— Беру свои слова обратно. — Горюнов хлопнул Валентина по спине.

— Степаныч, обратите внимание, с двух сторон, — заметил тот. — Адам и Ева, как я и говорил.

— Тебе, Валентин, жениться надо. Причем как можно скорее.

— Прямо завтра, Василий Степанович, на царевне-лягушке. Только стрелу телепортируем.

Кто-то принес шампанское, оставшееся с Нового года. Начали разливать по кружкам и мензуркам. Анна все это время стояла около камеры телепортации и наблюдала, как оседают на стенках капельки пара.

— Коллеги, а нам, похоже, кое-что на закуску послали. — И она по-детски показала пальцем на стекло камеры.

Александр КУЗНЕЦОВ

г. Новороссийск, РФ

Королева

Рассказ

Королева Азмун была умна и красива той природной красотой, которая сводит с ума особей мужского пола. Она сидела на троне, задумчиво поглядывая по сторонам. Сегодня очередной ежегодный приём глав кланов. Что он ей принесёт? Какова будет дальнейшая судьба королевства?

Задумчивое созерцание прервал первый советник Аттик, бывший военачальник, прославившийся своим умением выстраивать эшелонированную оборону на подступах к королевству. Также он был хорошим тактиком и стратегом, но после тяжёлого ранения в одном из боёв еле выжил, и королева назначила его первым советником.

— Госпожа, начало приёма через полчаса, вы готовы?

— Да, Аттик, присаживайся подле меня.

Он с трудом прошаркал к трону. Ранение сильно повлияло на здоровье, но не на отточенный, острый ум:

— Благодарю вас, королева.

Через некоторое время зазвучали фанфары. Первыми в тронный зал вступили глава клана Строителей со свитой. Поклонились, оставили подарки у трона и отошли в сторону. Опять зазвучали фанфары, и один за другим стали появляться главы кланов Воинов со свитой, клана Пастухов, клана Рабочих, высокопоставленные придворные. Все церемонно кланялись и оставляли подарки — королева с благосклонной улыбкой кивала в ответ.

Когда церемония закончилась, поднялся первый советник и объявил:

— Уважаемые подданные королевства, нам предстоит обсудить несколько вопросов: укрепление наших рубежей, экономическое положение в стране и предстоящую войну с агрессивным соседом, на границе с которым участились стычки и провокации. А также самый важный вопрос — выбор жениха на этот год для нашей королевы.

Начались споры и выступления глав кланов, сановников, растянувшиеся до поздней ночи. Наконец все вопросы были улажены, и первый советник объявил:

— Прием окончен, всем спасибо.

Уставшая Королева поднялась на самый верхний балкон замка, всмотрелась в ночное небо в поисках знакомых созвездий, потом глянула вниз — на копошащихся строителей, не прекращавших работу даже ночью; на марширующие колонны солдат, вздохнула, раздвинула жвалы на голове и, пошевелив усиками, произнесла:

— Хорошо-то как!

И отправилась к себе в покои, где уже дожидался новоявленный жених.

Анна ЛУЖБИНА

(г. Москва, РФ)

Сердоболь

Рассказ

Сортавала — спящий город. Медленно вздымается во сне его мощная грудь, бьется под снежным одеялом каменное сердце. Город словно спит на спине, беззаботно раскинув ноги и руки, а его голова уходит под темные воды Ладоги. Вместе с движением волн развеваются длинные седые волосы, вода затекает под закрытые веки и в уши. Ладога убаюкивает город, словно свое дитя. Суровая, черная. Оберегающая.

Серафима сидит на подоконнике. Умещается на нем вся целиком, с ногами, и тоже смотрит на свой город, зажмурив левый глаз. Смотрит через запотевшее от дыхания стекло, словно в калейдоскоп. Расплывчатая линия одинаковых деревянных домов и движущиеся тени пешеходов сливаются с дымчатым городским фоном. Тени снуют туда-сюда. Зимние люди. Летом они другие. Зимой же людей мало, и все они снуют... а детей и того меньше.

Серафима смотрит в окно внимательно, как в прицел. Две тени увеличиваются, подходят ближе. Тень

повыше, тень поменьше, с рыжей макушкой. Серафима улыбается, бежит открывать дверь, кричит:

— Мама-а-а! Венечка с дедом пришли!

Венечка — друг. Единственный друг, да и тот тремя годами старше. Венечка живет напротив, и дом его выглядит так же, как дом Серафимы, с той только разницей, что занавески у него белые, а у нее — голубые. Живет с дедом, вдвоем. Когда они приходят — мама Серафимы достает с дальней полочки варенье из морошки, разливает по небольшим чашечкам чай, и дед рассказывает свои истории. Такие истории, что рамки Сортавалы стираются, пространство дома расплывается и наполняется цветом, поддаваясь волшебной силе слова. И на сцену выходят совсем другие герои: гномы, ведьмы, злые и добрые духи. У каждого из них есть свое имя, дело, свое призвание, свой знак отличия: хороший или плохой.

Серафима открывает дверь, и Веня вбегает в дом, за ним тянется мокрая линия снежных следов. Сегодня дед оставляет Венечку с Серафимой, а сам уходит по своим делам, расплывается все той же неясной тенью. Значит, без сказок. Серафима расстраивается, расспрашивает Веню: почему дед ушел, не остался? Венечка делается серьезным. К деду, говорит, пришли его друзья. Говорит — водку будут пить. Мама стоит рядом и на этих словах тихо вздыхает, всплескивает руками

— Все пьют. Только и делать здесь зимой, что пить. Веня, пойдем, налью тебе чаю.

Пьют чай, и незаметно подкрадывается вечер. Темнота зимой приходит рано, рано хочется спать. Серафима смотрит в окно, изучает дом напротив. Одно из окон подсвечивается, словно янтарь, но плотно зашторены белые занавески, а за ними гуляют неясные тени. Тени вытянутые и извивающиеся, словно водоросли. И что там творится, за этими шторами?

Глаза начинают чесаться. Серафима целует маму, идет в свою спальню. Венечку укладывают на кухне. Из-под лоскутного одеяла торчит его рыжая, веснушчатая голова и смотрит по сторонам. Серафима знает: Веня так просто не уснет. Как только закрывается дверь маминой комнаты, он тихо пробирается к Серафиме — шептаться.

— Давай рассказывать друг другу интересные вещи, — говорит он с хитрой улыбкой.

Серафима всегда засыпает быстро. Вот и сейчас тело будто бы растекается по кровати, становится тягучее с каждой минутой. Греет мамин поцелуй перед сном. Свет ночника ползет по обоям, ласково лезет под сомкнутые веки, и в голове Серафимы хаотично переплетаются мысли, глупые фразы из пережитого днем. Каша остывает, ешь скорее, до лета еще полгода, но там же комары, лучше осень, но там ведь скоро зима. Паркет скрипит, но что с него взять, снимешь паркет вместе со всем полом...

— Не хочу совсем, Венечка. Хочу спать, — сквозь дрему произносит она.

Веня не сдается. Он прошел голыми пятками по холодному полу, а сейчас уселся, поджав ноги, в уютное кресло и слезать ему неохота.

— Ты знаешь какие-нибудь интересные приметы? Ну, например, если домой возвращаешься — в зеркало нужно посмотреть. Знаешь такую?

Серафиму насильно тащат из раковины. Держат, словно за волосы, и тащат. Паркет скрипит, так может под ним живут другие маленькие человечки, вот он и скрипит...

— Знаю примету, что ночью спать нужно...

Венечка затихает на какое-то время.

— А вот еще интересная штука! Дед рассказал. Говорят, что если перо в подушке тебя в щеку уколёт, то скоро беда случится.

Серафима открывает глаза и смотрит в потолок. Дед — это правда. Не верить ему нельзя, так как все, что он рассказывает — интересно. А что интересно, должно быть. Но когда речь идет о бедах — хочется сопротивляться. Даже во время сказок, если неспешное дедово повествование касается злых героев, Серафима всегда сердится, берет невидимую палку, пытается запугать, размахивает ей, словно саблей...

Серафима садится в кровати, в темноте ее глаза блестят. Белой полосой комнату делит луна:

— А вот это ты уже выдумал! Чего это беда случится?

Венечка счастлив: Серафима проснулась.

— А вот и не выдумал! Это добрый дух сна колет перышком, предупреждает, что старуха Лоухи собирается гадости творить! Если уколет, значит можно еще беду предотвратить. Если не обратить внимания, то все, беде не миновать.

Страшно.

— Не верю в твои сказки! Отстань от меня! Выкинуть все подушки и не будет ничего колотиться!

— Нет, ты тогда про беду просто не узнаешь. А случится она все равно!

Веня смотрит жестоко, победоносно. Словно специально дожидался, когда она начнет засыпать, чтобы выдать эту страшную историю, зная, как велика Серафимины перьевая подушка, в половину ее роста...

Страшно. Сколько раз кололи ее перышки? От усталости и страха Серафима начинает плакать. Венечка, немного опешивший от такого отклика, сначала вроде бы и хочет ее успокоить, но затем решает смыться. Девчонки часто режут просто так, без причины, и быстро успокаиваются.

Сон вытек вместе со слезами. На улице — глубокая черная ночь. Разные оттенки черного цвета, и

будто бы даже с синим отблеском. Кажется, что темнота вокруг дома сгущается, спешит пролезть сквозь щели в их ненадежном доме. Страшно. Серафима сидит какое-то время, но не выдерживает и идет к маме. Стучится в дверь (говорят, всегда надо стучать), наконец надавливает на ручку, заходит. Залезает к маме на руки, тонет в ее тепле и мягкости. Мама гладит Серафиму по кудрявой голове, шепчет ласковые слова. Затем на сильных руках относит в детскую комнату. Укладывает в кровать с ажурными бортиками, закрывает тяжелым одеялом до самого носа.

Глаза тут же слипаются, и под веками появляются картинки. Яркие, размытые пятна формируются в бессмысленные сюжеты, затем успокаиваются, оседают. По замерзшей воде, как по полю, идет старуха, и ветер рвет на ней лохмотья. Снег летит крупными колючими звездами ей в лицо, но старуха не обращает внимания. Переступая ногами в огромных сапожках, она смотрит вперед злым, уверенным взглядом. Вьюга развеивает ее редкие волосы, а с длинного носа, словно с крыши, свисает заостренная сосулька...

Просыпается Серафима с непривычной тяжестью в голове. Тянет сон, что оказался куда тяжелее обычной мысли или воспоминания. Серафима жмурится, трясет головой и идет завтракать. Вкусно пахнут оладья, сладкий воздух стоит во всем доме, им пропитываются стены. На кухонном диванчике — ком лоскутного одеяла, сам Веня уже за столом. Рыжая голова, а весь рот измазан белой сметаной. Серафима улыбается. Страшный сон легчает.

Серафиму и Венечку отпускают гулять. Несмотря на начало зимы, укутывают так тепло, что торчат одни глаза. Дети выбегают из дома, на узкие улочки, где неровными рядами, словно старческие зубы, топорщатся похожие друг на друга деревянные домики.

Играть несутся к Ладоге. Вода только готовится к зиме. Дальше, через километры воды, начинается другой мир, с тысячей островов, с витиеватым оже-рельем шхер, проливов и скал. Еще дальше, у ледя-ных земель, незамерзшая вода дымится, иней покры-вает спящие деревья. Каменные берега, серое тяжелое небо, скальные массивы с острыми выступами, где от мороза чудовищами застыли волны... Места, о кото-рых Серафима знает столько историй, что рассказы-вать их можно бесконечно.

У города незамерзшая вода еще бьется о берег, но от нее веет холодом так же, как от костра веет жаром. Замерзает Ладога беспокойно, словно сопротивляется. Черная вода нежно покусывает берег.

Дети лепят снежки и кидают их в воду. Обсужда-ют важные вещи. Если идти по Ладоге долго-долго, дойдешь ли до Петербурга? А до Петрозаводска? До Петрозаводска вроде бы и не дойдешь, лучше по зем-ле. В Петрозаводске детским хирургом работает папа Серафимы. Работает так много, что дома не бывает годами. Мама говорит, к папе очередь на операции — столько же, сколько жителей Сортавалы. Серафима рассказывает об этом важно, почти шепотом, хоть и не помнит о папе практически ничего. В памяти возник-ает лицо-фотография, неживое лицо. Веня слушает внимательно, с интересом, недоверчиво морщит нос, но расспрашивать о многолетней службе отца не спе-шит.

Изо рта выбивается пар. В теплых многослойных одеждах — жарко.

Серафима отходит чуть в сторону, смотрит, как за-прыгивают друг на друга черные волны. Вдруг слы-шится радостный Венечкин крик:

— Деда!

Оборачивается. И правда, вот он: похожий на пут-

ника, словно вышедший из иного времени. Белая рас­трепанная борода, серое пальтишко, каждый год одно и то же. Лицо украшено морщинами, и все они, словно ручейки, ведут к голубым глазам. Ледяным, но добрым.

Серафима бежит навстречу. Кричит:

— Ты что же, дед, даже не зашел вчера? Венька говорит, что водку пил!

Дедушка улыбается:

— Ну уж, пил... так, заболел. Решил дома отдохнуть, вас не заражать.

Серафима смотрит на него с хитрым прищуром. Почти все мужчины вокруг нее — люди пьющие. И дед наверняка тоже пьет водку или самогон. Только от него не пахнет никогда так, как пахнет от многих других. Едкой волной, от которой глаза начинают слезиться, а нос — щипаться.

Рядом с берегом — замерзшая поваленная сосна. Дед садится на нее, смотрит на воду:

— Дети, а вы вечером вчера не видели, как огоньки летали по улицам?

Дети смеются, визжат:

— Нет же, нет, не видели! А что за огоньки?

— Да говорят, Мельничник, дух мельницы, проснулся не весной, а сегодня. Гуляли рядом с ним шумные дети. Разбудили. Он со злости взял свои хлеба, растер их на крошки и начал раскидываться, чтобы людям весной этот хлеб не достался. А хлеб у него волшебный, сверкающий. Вот и блестят крошки огоньками, летят. Говорят, собрались крошки и полетели через всю Ладогу. Пока не выпрыгнут огромные рыбы, не съедят их на обед, так и будут лететь.

Дети смеются, ловят ртом воздух по-рыбьи, прыгают. А ведь и впрямь пора обедать. Дед смотрит на часы, берет детей за руки и ведет домой. В сторону

города — широкая заснеженная дорога. Веня бежит вприпрыжку, Серафима идет аккуратно, с другой стороны, испытующе смотрит снизу вверх. Мучают вопросы, и не задать их она не в силах. Правда ли, что перо колет к беде? Правда ли, что сон ее — вещий? Дед смеется, сжимает ее руку:

— Серафима, правда в том, во что ты веришь.

Серафима не сдаётся:

— И ведь снилась мне потом злая старушенция! Почему?

— Да может, и в самом деле она идет куда-то, кто ее знает? Не к тебе ж она идет. Говорят, с Валаама, со святой земли, сбежала через наш сортавальский берег вся нечистая сила. На святом месте нет им покоя, а ближе земли нет, да и всюду гонят. Гонят еще с тех времен, когда Сортавала наша звалась иначе. Веками гонят нечистую силу, веками она сбегает.

— А как Сортавала раньше называлась?

— Сердоболь.

— Красивое какое имя. Только печальное.

За разговором и не заметили, как оказались возле дома. Красные щеки, нос, руки. В помещении тело ласково горит от сменившего холод тепла. Дед с Венечкой уходят в дом напротив, оба улыбаются Серафиме на прощание. Веня снимает дырявую варежку, машет красной рукой, а на вторую ладошку дышит, чтобы согреть. Даже когда дверь закрывается, Серафима видит, как его рыжая голова мелькает за окном; потом Веня поднимается к себе на крыльцо и показывает ей большой палец.

Ночью Серафима ворочается. Что-то настойчиво колет в щеку. Перышко. Серафима оттягивает ткань, и мешающее перо опускается вниз, будто бы его и не было. Сразу вспоминаются слова Венечки, но Серафима отмахивается от этого воспоминания, как от

комара. Слишком хорош был сегодняшний день. Засыпает. Видит сон, как огоньки летают над черной водой, а под ними — тени огромных голодных рыб. Ам, ам, ам... Куда вы поплывете? В Сердоболь.

Просыпается Серафима от неясного шума. За окном — яркое солнце, но светит оно непривычно темным. Утро? Вокруг, как нарастающая буря, поднимается грохот, треск, и разных голосов становится все больше. Серафима встает, но не может понять, что происходит. Подходит к окну, а за ним — стена пламени. Горит дом напротив. Горят белые занавески. Горят неистово, беспощадно, слепят глаза. Медленно наполняется дымом и комната Серафимы, а она смотрит на это пламя, как зачарованная, не в силах пошевелиться. Резким ударом отворяется дверь, в спальню вбегает мама, заворачивает Серафиму в одеяло и бежит с ней из дому прочь. Ветер тянет огонь от них в сторону. На улице зима, но жарко, как летом; ночь, но светло, как днем.

Что происходит, Серафиме непонятно. Вокруг гнездо из пугающих и непривычных запахов, звуков и красок. В одеяле образуется щелка, сквозь которую калейдоскопом проглядывает мир, наполненный отражениями, отблесками оранжевого. Текут слезы.

Вдруг в щелке появляется чей-то силуэт. Старуха, одетая в лохмотья. Согнувшись от хохота, она путается в своих же ногах — слишком велики сапожища. Поворачивается, будто знает, что Серафима смотрит, встречается с ней взглядом. Достает из кармана коробок спичек, из коробка — спичку; зажигает и через этот огонек изучает Серафиму и смеется. Серафима начинает плакать, выкручиваться. Мама поворачивает ее лицом к себе, прижимает еще ближе, шепчет:

— Не бойся, милая, мы живы, и это главное... это сейчас главное, самое важное...

Серафима всегда спит на перьевых подушках. Когда муж подарил ей дорогие подушки с гречневой лузгой, Серафима просто улыбнулась и спрятала их на какое-то время. С подарком разобралась просто. На рассвете, когда земля особенно чувствительна к подаркам, выйдя в поле, она выпустила всю лузгу так, как выпускают прах.

Серафима всегда спит на перьевых подушках. Перед тем, как окончательно погрузиться в сон, поглаживает рукой поверхность подушки. Иногда она гладкая, словно масло, но порой прощупывается острый перьевой хвостик. Аккуратно, словно пинцетом, вытаскивает Серафима перышко через узкую тканевую дырочку, рассматривает перо со всех сторон, любит-ся им, словно найденной драгоценностью. После этого лежит какое-то время просто так, глядя в потолок. Ждет рассвета, потому что спать сегодня нельзя.

А наутро, с восходом солнца незаметно для всех пробирается на балкон и выпускает перышко на волю. Наблюдает, как подхватывает и кружит его ветер, и несет туда, где уже невозможно будет отыскать.

«Лети, птенчик», — думает Серафима и представляет, как перо летит через город, а затем через всю Ладугу, в которой исчезает, растворяется.

Серафима не знает, но чувствует, что происходит дальше. Злые духи готовят людям свои напасти. Для духов не существует времени, торопиться им некуда. Они могут разбить фару машины. Могут украсть младенца. Могут рассыпать мусор. А могут просто пробраться в спальню и пощекотать пятки тем, кто пытается уснуть.

Но дать им отпор проще простого. Главное — не быть безразличным. Тогда они плюнут, передумают,

развернутся в другую сторону. Пойдут пешком по Ладоге. Идти можно долго. Особенно, когда у тебя целая вечность для шалостей. От их шагов вода поднимается паром, стоит плотным облаком...

Серафима возвращается в кровать, накрывается самым тяжелым одеялом, поворачивается на бок. Подушка теперь гладкая и мягкая. Значит, все будет хорошо.

Юлия КАЧАЛОВА
(г. Северный Потомак, США)

Авиталгык

Рассказ

В темноте танцует Влада. Глаза прикрыты, на губах блуждает улыбка. Она не слышит пьяной ругани, доносящейся из-за неплотно прикрытой двери, грохота падающих предметов, придушенных рыданий братишки. Накрыв голову подушкой, Колька изо всех сил вжимается в постель. Ему кажется, что в их с Владой комнату вползает чернильное тесто. Набухает от визгливых выкриков матери и бешеных ругательств отца и вот-вот дотянется до сестры. Облепит её худенькие ноги, полезет вверх, доберётся до лица, забьёт ноздри, уши, глотку, и Влада перестанет дышать. Как мальчик из её класса, который захлебнулся собственной рвотой, отравившись дурной водкой.

— Влада! — Колька не выдержал и заскулил, призывая старшую сестру, хотя знал, что Влада, когда танцует, не реагирует ни на что.

После того, как бабушка подарила сестре телефон, в который можно закачивать музыку, Влада не вынимала из ушей наушников. В них засыпала и просыпа-

лась, завтракала и шла в школу. Вытаскивала только на уроках и сразу же всовывала обратно, едва раздавался звонок на перемену. Ни к кому и ни к чему сестра не была привязана сильнее, чем к напичканному музыкой телефону и наушникам. Их особенная ценность открывалась ей, когда родители были пьяны и начинали в смежной комнате выяснять отношения. Колька дрожал и страдальчески затыкал уши. А Влада танцевала под музыку, звучащую из наушников, не реагируя на звуки внешнего мира.

Мать после двух-трёх безуспешных окликов, вырвала у Влады телефон и, вопя во всю глотку, свирепо трясла дочь. Властина голова безвольно болталась, как у тряпичной куклы, и Колька боялся, что тоненькая шейка не выдержит, голова оторвётся и полетит в окно, как волейбольный мячик. Но голова оставалась на месте, вопли и тряску сестра сносила безропотно.

Однажды, когда мать уже сильно набралась, ей зачем-то понадобилась Влада. Колька слышал раздражённый голос матери и подёргал сестру за рукав, но та отмахнулась. Влада всё ещё танцевала, когда взбешённая мать с рёвом грузовика вломила в их комнату, вырвала у неё телефон, швырнула на пол и принялась яростно топтать, Влада уставилась на мать так, словно видела её впервые. Отёкшее лицо, заплывшие щели глаз и пуговица носа, вдавленная меж пространствами толстых щёк. Открывающийся и закрывающийся рот, лишённый трёх передних зубов, с обиженно выпяченной нижней губой. Бесформенное тело втиснуто в халат, покрытый бурыми винными пятнами. Короткие толстые ноги в посеревших от въевшейся пыли сапогах поднимаются, словно в замедленной съёмке, и опускаются грубой подошвой на беззащитный телефон. Топчут, крошат. Владе кажется, что это не её мать, а чудовище, обезобразившее

знакомый облик. И не телефон оно топчет, а Владину жизнь. Чёрный зёв выкрикивает не бранные слова, а призывает духа смерти.

«Авиталгык», — шумит в голове Влады, и всё внутри смерзается.

Больше мать не услышала голоса дочери. В школе Влада с того дня тоже не произнесла ни единого слова, и её перевели в коррекционный класс как подростка с отставанием в развитии. Колька знал, что никакого отставания у Влады нет. Если сестра хотела, то разговаривала, как все. Но больше молчала — говорила лишь с Колькой да с бабушкой.

— Я в это время выключаю музыку, — объясняла Влада.

Лишившись телефона, сестра научилась включать внутреннюю музыку. Теперь ей не требовались наушники: в голове беспрерывно что-то крутилось, и Влада танцевала, ведо́мая ей одной слышимыми ритмами. Колька давно к этому привык и ничего особенного в поведении сестры не замечал.

Брат и сестра любили бывать у бабушки и иногда неделями оставались в её квартирке, где всегда было прибрано и уютно, к чаю их поджидало сладкое угощение, а на сон грядущий — сказка. Больше всего Кольке нравилось слушать про то, как подлинные люди пришли на их землю.

— Расскажи ещё раз про Ворона, Волка, Оленя и Царь-рыбу, — упрашивал он, когда бабушка желала им с Владой спокойной ночи.

— А тебе не наскучила эта сказка, Кайкако? — хитро улыбалась старушка, попыхивая трубкой.

Колька отчаянно мотал головой. Бабушка называла его Кайкако, именем, которое сама же дала ему при рождении. В переводе имя означало «Маленькое удивление». Колька действительно родился гноми-

ком в два кило, с глазёнками, округлившимися от любопытства при виде мира, в который попал. Поначалу Колька и в школе называл себя настоящим именем, но очень быстро ребята из приезжих стали над ним потешаться. Учителя из приезжих тоже смущались, и общими усилиями Кайкако переименовали в Кольку. Так всем было удобнее, он не возражал. Даже родители и Влада стали называть его Колькой. Но только не бабушка.

— Уж Владе точно эта сказка надоела, — с сомнением говорила бабушка.

— Не-е-а, я уже всё позабыла, — поддерживала игру сестра.

Колька мог поклясться, что ничего она не забыла, просто сказка очень нравилась им обоим. Выдержав паузу, бабушка начинала рассказ:

— В середине сурового края лежит заповедное озеро, самое глубокое из всех. Много рек впадает в то озеро, а какие-то берут из него начало. Озеро совершенной формы, и чище воды, чем в нём, вы нигде не найдёте. Однажды летом, что бывает в том краю всего месяц в году, собрались у камня, упавшего с неба, духи — хранители земли. С севера пришёл могучий Белый Волк, с запада прискакал Длинноногий Олень, скребущий рогами небесный свод. С востока прилетел гигантский Ворон, а с юга приплыл Царь-Рыба. Духи-хранители раз в пятьсот лет собирались у камня, чтобы обменяться новостями.

— Сюда идёт человек, — сообщил Царь-Рыба.

— Он намеревается стать Хозяином нашей земли, — добавил Длинноногий Олень.

Чёрный Ворон коротко кивнул, подтверждая, что и он это слышал. Все обратились к Белому Волку. Тот долго молчал и, наконец, произнёс:

— Я не против человека, если он будет чтить наш закон.

Ворон, умевший прозревать будущее на двести лет вперёд, прикрыл веки:

— Вижу пастырей оленьих стад и бесстрашных морских охотников. Тела их крепки, как горные кряжи, и столь же выносливы. Они презирают слабость и боль, терпеливы и упорны, преданы в дружбе, но не прощают обид. Они не убивают без надобности, забирают жизнь, только чтобы спасти жизнь.

— Это подлинные люди! — кивнул Белый Волк. — Пусть приходят!

Остальные духи-хранители согласились. Так на эту землю пришли наши предки. И стали называть себя луораветланы, что означает «подлинные люди».

* * *

Сейчас, когда бушевали за дверью пьяные родители, съёжившийся Колька цеплялся памятью за бабушкину сказку, словно за резиновый круг, который может спасти его от мерзости чернильного теста. Царь-Рыбу он представлял как большущего гольца. Колька невольно сглотнул, вспомнив вкус свежешеловленного гольца, с которого, если его подвесить, капает жир. Длинноногий Олень являлся ему в образе Влады. У сестры были длинные худенькие ножки, как у новорождённого оленёнка, и большие круглые глаза. Если бы Колька вздумал оценивать внешность сестры, то вынужден был бы признать, что Влада очень даже ничего. Но такая мысль одиннадцатилетнему мальчику в голову не приходила. Думая о сходстве сестры с Длинноногим Оленем, Колька невольно захихикал, представляя, как Влада скребёт ветвистыми рогами небесный свод.

На месте Белого Волка Колька видел Джипа. Пёс имел абсолютно белый окрас и ярко-голубые глаза. Откуда он появился, Колька так и не узнал. Собак у них в посёлке всегда водилось во множестве — ездовые, звереющие от цепей в бесснежные месяцы; старые брошенные псы и собаки, отродясь не знавшие хозяина. Ночами вся эта братия грызлась, выла и раздражалась злобным лаем. В собачьи гетто с наступлением темноты люди не совались. Но шайки одичавших псов слонялись по посёлку и среди бела дня. Три года назад жертвой такой шайки едва не стал Джип.

Возвращаясь с рыбалки, Колька заметил белого щенка, вжимавшегося в стену их дощатого дома. На расстоянии прыжка от щенка стягивали кольцо бродячие псы. Шерсть у них на загривках стояла дыбом, уши прижаты, они угрожающе рычали, обнажая клыки. Было ясно: расправиться с малышом намеревались всерьёз. Колька поднял камень и метко запустил в одного из косматых бандитов. Ушибленный пёс взвыл, остальные растерялись. Дверь подъезда распахнулась. Сердито ругая собак, Колькина соседка замахнулась на них клюкой, и те предпочли убраться, забыв о несостоявшейся расправе. Щенок по-прежнему вжимался в дощатую стену. Присев на корточки, Колька протянул к нему грязную руку, и малыш благодарно её лизнул. Так он сделался Колькиным и получил своё первое собственное имя. Щенок.

Бабушка посоветовала отдать его на обучение к деду Григорию, лучшему каюру¹ их края. Внимательно осмотрев Щенка, дед признал в нём чистую породу и пообещал сделать из него вожака при условии, что Колька будет помогать. А мальчику только того и было надо!

¹ Погонщик собачьей упряжки.

Колька проводил со Щенком всё свободное время. Кормил его тем же, что ел сам. Варил для него зимнюю похлёбку по специальному рецепту Григория. С помощью бабушки и Влады шил ему алык². Дед помог Кольке смастерить из сломанной детской коляски тележку и научил запрягать в неё Щенка. Пёс и мальчик быстро сроднились и понимали друг друга без звука. Когда щенок вымахал в рослого красавца с густой белоснежной шерстью, дед Григорий начал ставить его в упряжку. Частенько дед брал на охоту и Кольку, вводя мальчика в тонкости каюрова искусства.

— Вожак в упряжке, как начальник у людей, должен уметь организовать работу, заставить упряжку бежать, куда надо, — наставлял Григорий. — С этим у твоего Щенка пока слабовато, больно молод. Но не лентяй и команды схватывает на лету. К чему у него врождённый талант, так это ориентироваться среди торосов. Он не сбивается с курса в пургу, точно родился со встроенным в мозг джи-пи-эсом.

Так, с лёгкой руки деда Григория, Щенка переименовали в Джипизса, впоследствии усечённого до Джипа. В следующем году с помощью Джипа, ставшего вторым вожакom в упряжке, дед Григорий выиграл Большую гонку и получил в качестве приза настоящий джип. Прямымom к семидесятилетию. На своём юбилее Григорий сказал:

— Эх, Кайкако, дотянуть бы мне до твоего совершеннолетия! Посмотреть, как вы с Джипом Большую гонку выиграете!

И у Кольки появилась мечта: стать таким, как дед — лучшим каюром края!

² Собачья шлейка.

Накрыв подушкой голову, чтобы не слышать родительской брани, Колька думал о духе Севера. Вместо Белого Волка он видел Джипа, перепрыгивающего через трещины. И лишь на Чёрном Вороне Колькино воображение отдыхало. Дух Востока как две капли походил на обычного ворона, одного из тех, что деловито снуют по косе меж китовых останков, множащихся после каждого летнего промысла.

Родители за дверью угомонились, и Колька выпростал голову из-под подушки. Влада залезла в кровать и, выгнувшись мостиком, вытряхивала набившиеся в постель крошки. Когда сестра затихла, расслабился и Колька. Постукивала дверь в смежную комнату, то приоткрываясь, то захлопываясь. Сильно сквозило, видно родители, уходя за очередной дозой, не заперли входную дверь, и с улицы задувало. Но мальчика это не тревожило. Главное — страшное чернильное тесто на время исчезло, и Колька мирно уснул.

Проснулся он резко, точно кто-то рывком выдернул его из объятий сна.

Перед ним стояла мать. Колька точно знал, что это она, хотя такой её вживую не видел — лишь на сохранившейся у бабушки фотографии, где матери исполнилось пятнадцать, как ныне Владе. Мать-девочка посматривала на Кольку немного виновато, её губы пытались сложиться в неумелую улыбку, а ладони, сжимавшиеся у груди, выдавали беспокойство. Колька чувствовал, что она хочет сказать что-то важное, но у неё не получается. Отчего-то Кольке стало её жалко до слёз. Наконец, мать-девочка сумела произнести слово. Голоса её Колька не услышал, но по движению губ понял, что мать сказала: «Живи!»

Наутро брат с сестрой узнали, что осиротели. Первую неделю после смерти матери они провели у бабушки, а отчий кров превратился в сборище всех поселковых алкашей. На затянувшихся поминках отец пропивал деньги, копимые на телевизор (прежний уже год как разбили в одной из пьяных драк). Когда деньги кончились, отец куда-то исчез. С месяц о нём не было ни слуху, ни духу. Потом к бабушке явился участковый и сообщил, что найдено замёрзшее тело. На похороны ни Влада, ни Колька не пошли. Колька всё время после школы проводил с Джипом, а Влада неожиданно-негаданно влюбилась в Приезжего-парня-строившего-дорогу.

Парень покориł Владу множеством достоинств. И тем, что приехал из далёкой страны, и умением класть грунтовку, и южными страстными взглядами, и пылкими поцелуями. А главное, дешёвым колечком, которое парень надел на безымянный палец её правой руки. Влада отключила внутреннюю музыку и перешла на новую программу — бесконечный диалог с Приезжим-парнем-строившим-дорогу. Она могла с ним общаться только мысленно, поскольку языка друг друга они не понимали. Но язык любви известен всем — и людям, и животным; и Влада трепетала от доселе неведомых ощущений. Она вернулась от бабушки в опустевший родительский дом. Иметь в своём распоряжении целую квартиру было большим везением — другие влюблённые парочки жались по подъездам. Кольке в отчем доме не нравилось, он оставался у бабушки, и это Владу весьма устраивало.

Недели три она не ходила по земле, а словно летала. Прозрение наступило столь же внезапно, как и любовное помрачение. На безымянном пальце правой

руки Риты из одиннадцатого класса Влада увидела кольцо — в точности такое же, как у неё. Быстро сунув правую руку в карман, Влада дружелюбно заметила:

— Миленькое колечко. Давно носишь?

— Не-а, — степенно ответила Рита. — Недавно парень мой подарил. Он приезжий, строит у нас дорогу. Сказал, что мы скоро поженимся.

Ничего подобного Приезжий-парень-строивший-дорогу Рите, конечно, не говорил. Даже если бы и сказал, Рита его слов не поняла бы, поскольку языком приезжего владела не больше, чем Влада. Но так выглядело солиднее. Соврав, Рита мгновенно уверовала в истинность собственных слов. Поверила и Влада.

Её глаза застлало багровой пеленой, из которой материализовалась грузная фигура матери, втапывающей в пыль и грязь Владину жизнь. В ушах застучало: «Авиталгык... авиталгык... авиталгык...»

Рита удивлённо спросила:

— Ты чего побледнела?

— Ерунда, всё нормально, — слабо отмахнулась Влада.

* * *

Кольку разбудило прикосновение к лицу чего-то одновременно жёсткого и мягкого, тёплого и холодного. Он попытался осмыслить такую несуразность, но прикосновение повторилось, и Колька открыл глаза. На его кровати сидел большущий Чёрный Ворон и смотрел куда-то вбок. А жёстко-мягким и тепло-холодным было его крыло.

— Я — дух-хранитель, — сказал Ворон, и Колька не удивился. — Идёшь со мной?

Мальчик кивнул и сразу очутился в месте, которое прекрасно знал.

На склоне к заливу были свалены ржавые бочки. Чуть выше свалки обитали цепные и бездомные собаки, ниже склон убегал к воде. В залив врезалась галечная коса, усеянная китовыми костями. Ворон легонько коснулся перьями щеки мальчика:

— Смотри внимательно, Кайкако.

Колька всмотрелся. В свете закатного солнца свалка выглядела почти прекрасной. Ржавое железо превращалось в сияющую медь, и казалось, что какой-то рассеянный великан рассыпал здесь сокровища. Но сейчас стояла ночь, и чёрное нагромождение бочек напоминало мёртвую китовую тушу. Внезапно взвыли и забесновались псы.

— Смотри, — шепнул Ворон.

Бочки ожили, начали подниматься и настраиваться друг на друга, пока не образовали гигантскую фигуру. Перестук пустых бочек складывался в заунывный речитатив: «Авиталгык... авиталгык... авиталгык...»

Колька увидел, что по склону спускаются тени, похожие на мать-девочку, привидевшуюся ему в ночь смерти матери. Каждая фигурка держит в ладонях плоску с горящим огоньком. Первая тень приблизилась к трансформеру из ржавых бочек, остановилась и резким движением выплеснула содержимое плоски. Гроыхнуло: «Авиталгык!», — и над голубоватой тенью возникла такая же призрачная петля. Вторая тень замерла на миг и выплеснула содержимое плоски. «Авиталгык!» — салютовали ржавые бочки, и Колька увидел дуло, направленное на тень. Своей очереди дожидается третья фигурка. Колька обмер, узнав её по длинным и тонким, как у оленёнка, ножкам. Тень подошла к трансформеру, но Ворон раскатисто вскричал:

— Контр-р-акт!

Колька проснулся. Кровать Влады была пуста. Ах да, Влада же больше не ночует у бабушки! Колька вскочил и, как есть, в трусиках и маечке, босиком выбежал на улицу. Он нёсся к родительскому дому, не чувствуя ни холода, ни камней, ранищих ступни. Влетел в комнату, которую делил с сестрой при жизни родителей. Та пустовала. Колька понёсся в коридор к туалету, распахнул дверь и увидел Владу. Сестра стояла на унитазах и затягивала вокруг шеи петлю из длинного отцовского ремня, прикрученного к потолочной трубе.

Влада уставилась на брата. И без того круглые её глаза ещё больше расширились от неожиданного вторжения. Колька своим небольшим умишком вдруг понял, что если сейчас ошибётся в слове, интонации, жесте, то будет конец. Авиталгык! А он слишком маленький, чтобы не ошибиться! Глаза резануло, точно в них плеснули кислотой, и Колька, молча, бросился лицом в колени сестры, а слёзы уже рвались из него безудержным потоком. Влада скинула с шеи петлю и прижала к себе братишку.

* * *

Когда брат и сестра вышли из туалета, в коридоре их поджидал Ворон.

— Это дух-хранитель Востока из бабушкиной сказки, — шепнул сестре Колька.

Ворон степенно переступал по дощатым половицам, шествуя из конца в конец коридора. Он был очень похож на директора школы, и Колька с Владой одновременно прыснули. Ворон повернул к ним глянцевою голову, и брат с сестрой подавились смешками.

— Нар-рушение контр-ракта! — свирепо каркнул хранитель Востока. — Пр-ришёл дух смерти! Авиталгык!

Глядя в растерянные глазёнки Кольки и Влады, Ворон уяснил, что речь его произвела впечатление, но понята не была.

— Духи-хранители собираются раз в пятьсот лет, — вздохнув, начал Ворон.

Дети кивнули, об этом бабушка рассказывала.

— Последний раз мы встречались у небесного камня лет четырёхста назад, и ничто не предвещало беды. Подлинные люди следовали закону, никто не нарушал контракта с жизнью без необходимости. Но сейчас на нашу землю пр-ришла настоящая беда! Людьями завладел дух смерти! В моём восточном пр-ределе точно, — сокрушённо уточнил Ворон. — Нужно отправиться в Северный предел, найти Белого Волка, рассказать ему обо всём, что здесь творится, и просить его помощи. Одному мне не справиться, Авиталгык очень силён! Мне необходимы вестники, которые видели неприглядную истину собственными глазами. Для того я и показал тебе всё, как есть, Кайкако, и не позволил, чтобы Авиталгык заполучил Владу, готовую нарушить контракт.

Влада точно избавилась от наваждения. Приезжий-парень-строивший-дорогу исчез из её сердца, словно его выдуло порывом сильного морозного ветра. Внезапно Влада почувствовала, что Кольку сотрясает дрожь. Братишка по-прежнему оставался в трусиках и маечке, с пораненными о камни ступнями. Охнув, она потащила Кольку в комнату, уложила в постель, обмыла ступни и натерла их перпичьим жиром. Натянула на ноги тёплые носки и усе-лась рядом.

Ворон вновь обратился к брату и сестре:

— Так вы согласитесь помочь? Подумайте хорошенько. Путь к Северному пределу пр-редстоит тр-рудный и опасный. При-ризнаюсь, я на вас рассчитываю, но р-решать вам.

Ребята молчали. Владу пугала перспектива путешествия по зимней тундре, но боялась она не столько за себя, сколько за брата. Колька же думал о матери-девочке, которую погубил Авиталгык. Об отце. О мальчике, отравившемся дурной водкой. О Владе в петле. И в нём зрела решимость.

Он сжал ладонь сестры, как делал всегда, когда бабушка заканчивала их любимую сказку. Это означало: «Мы — луораветланы». Влада кивнула и по праву старшей ответила за обоих:

— Мы согласны.

Юлия ШОЛОМОВА
(г. Санкт-Петербург, РФ)

ТОТТИ

Рассказ

Прижавшись щекой к оконному стеклу, Инесса смотрела, как высокие ели, раскачиваясь на ветру, щеко-кочут небу животик. Небо — это огромный звездный кот, свернувшийся вокруг планеты. И до тех пор, пока ему нравится игрушка, этот шарик — планета Земля, — кот будет обнимать ее, согревать и оберегать, и не даст закатиться в дальний пыльный угол, где планета сгинет, потухнет и остынет, и никто про нее никогда не вспомнит.

«Поэтому — дуй! Дуй, ветер, — мысленно шептала Инесса. — Раскачивайтесь, ели и сосны!»

Она прильнула к стеклу ухом и отчетливо услышала довольное мурчание небесного кота.

— А что мне еще остается? Стараюсь не обращать внимания, — перекрыл мурчание голос тети Вики. — Я понятия не имею, что с ней. Все время молчит. А мне, понимаешь, перед людьми стыдно. Приятно что ли, когда ребенок ненормальный?

Тетя Вика рассказывала своей подруге про нее, Инессу, и даже не старалась говорить тише.

Из кухни горьковато пахло кофе и сигаретным дымом.

— Может, показать ее специалисту? — посоветовала подруга. — Наверняка имеет место неприятный диагноз. Знаешь, в наше время дети поголовно с диагнозами.

— Да показывала я ее! И психологу, и неврологу. Куда только не возила. Даже в институт мозга. Говорят, здорова, просто необычная. Ты рисунки ее видела? Каждый день пачками выбрасываю. Бред один.

Инесса покосилась на хрустальную вазу. При маме здесь стояла обычная стеклянная банка, зато с цветами или пушистыми еловыми ветками, обломанными ветром с самых вершин.

Тетя любила хрусталь. Раньше Инесса видела ее редко, но часто слышала от мамы, мол, тетя Вика опять уехала на заработки.

— Девочка не виновата, что такая. С другими детьми играть не может, — объясняла тетя.

«Могу, но не хочу», — подумала Инесса и дотронулась рукой до ломкого хрустального узора.

Мама говорила, что весь этот хрусталь, а также золото и каменные крошки, за которые люди отдают зарплаты, — пустое.

Настоящее — филигранные морозные узоры на окнах, золото ласкового вечернего солнца, сверкающие бриллианты на поверхности темного озера с песчаным берегом.

— Во всем виновата ее мама. Моя сестра и сама была странной, и вот — ребенка испортила. Где это видано? В садик не отдам, в школу не отдам, ее там не поймут, сломают, сделают несчастной. Уж профессио-

нальные педагоги получше нее знают, что для ребенка благо, а что вред!

Инесса слегка надавила — и хрустальная ваза с противным скрежетом поползла по столешнице.

— Да-а, сочувствую, — вздохнула тетина подруга.

— И потом! — волновалась тетя. — Разве поменяет человек в здравом уме квартиру в центре Петербурга на эту халупу в зачуханном Рощино?!

Инесса застыла. Мама рассказывала, что Рощино появилось, когда не только Петербурга, но и самого Петра Первого в помине не было, и называлось прежде вовсе не Рощино, а Райвола. И дом у них славный. Даже исторический. Построен на каменном, еще финском, фундаменте. Мама говорила, будто согласна здесь состариться, а Инесса смотрела на лунную мамину кожу и не могла представить на ней морщины.

— А мне теперь думай, как разрулить обратно! Спасибо, сестренка! Ох, прости, осподи, Царствие тебе Небесное!

Последние слова утонули в предсмертном звоне хрусталя.

В кухне загрохотали стулья. Тетя Вика с подругой появились в дверях.

— Вот, о чем я говорила, понимаешь?! — причитала тетя Вика. — Осподи, дай мне сил!

— Может, коньячку? — предложила подруга.

— Пожалуй. Инесса! Иди гулять! На улице от тебя меньше ущерба.

Инесса молча накинула поверх ситцевого платья ветровку и вышла в сад.

Сад — громко сказано. Несколько старых яблонь, а в основном скорее — лес.

Мама не успела заняться посадками. Они и пожили-то здесь вместе всего несколько месяцев.

Мама говорила, облагородить — это значит уничтожить всю красоту и устроить скучные грядки.

И обе они не желали лишаться упоительных объятий леса.

Прямо у почерневших стен дома розовеют сыроежки.

Шаг с крыльца — и ты в компании вековых елей и сосен идешь вниз по мшистой тропинке, вдоль которой среди вереска и папоротника краснеет брусника, поблескивают темные бусинки черники, и тонкие осинки машут круглыми ладошками, путая светящиеся паутиновые кружева. Дятел стучит, сопровождая птичьим трелям. Высоко в кронах суетятся маленькие серые белки.

Дальше — лес улыбается старым щербатым забором, который больше не составляет преграды. Деревья расходятся в стороны. Повсюду из земли проступают и длятся бесконечные корни, словно голубые вены на маминых руках.

И наконец тропинка тает и теряется в песке у гладкого темного озера, в котором плавают облака и дикие утки.

Инесса подолгу сидела здесь на поваленном ветром дереве — в покое и одиночестве, убаюканная в ладонях леса.

Но сегодня место оказалось занятым.

На дереве, возвышающемся над песком, словно хребет неведомого гиганта, уже пристроилась девочка.

Инесса остановилась и шагнула назад. Скорее — прочь отсюда. Потому что девочка обязательно начнет знакомиться, задавать вопросы: как зовут, откуда и самый невыносимый вопрос — «где твоя мама?».

Инесса пятилась, спотыкаясь о корни, но девочка и ухом не вела.

Странная. Будто не замечает. И платье на ней странное — пышное, с длинными рукавами и узким воротником, закрывающим шею. И трепещущие волосы заколоты высоко, как у взрослых.

Безразличие девочки казалось осязаемым — холодным, как лед.

Безразличие безопасно. Оно не требует ответов.

Инесса помедлила, а затем приблизилась к дереву и села на другом конце. Дерево качнулось и сухо захрустело.

Девочка продолжала неотрывно смотреть на воду, словно в озере плавали не только облака и утки, но и звезды, и планеты, и целые галактики.

Инесса с удивлением поняла, что на этот раз сама не прочь задавать вопросы.

Она с нарочито громким кряхтеньем вытряхнула из сандалий песок, но привлечь внимание девочки снова не удалось.

Наверное, она глухая и всё равно ничего не услышит.

Инесса пошевелила отвыкшим от слов языком, разомкнула губы и хрипло прошептала:

— Твои волосы светятся в лучах. Как корона. Живая корона на ветру.

Девочка повернулась и посмотрела внимательно и серьезно. Потом улыбнулась, словно узнала.

Инесса тоже улыбнулась и поднялась с дерева.

— Только не подходи ко мне, — предостерегла девочка.

— Почему?

— Я болею. Могу тебя заразить.

— А может, я как раз хочу заразиться, чтобы очутиться с мамой — там, на небе! — неожиданно для себя выпалила Инесса.

Откуда взялась эта обида, сдавившая горло?

— Еще успеешь. Твоя мама не обрадуется, если так рано, — задумчиво рассудила девочка. — Ходи пока по земле, ищи свою тропу.

— А что ты здесь делаешь?

— Например, спасаю котиков.

Инесса удивленно осмотрелась. Никаких котиков вокруг не было:

— Где же они?

— А ты следуй за мной. Покажу одного. Только близко ко мне не подходи. Нельзя.

Девочка зашагала вдоль берега. Инесса пошла следом.

Песок сменился зарослями тростника — пришлось обходить по глубокому зыбкому мху, в который ноги проваливались выше щиколотки.

Постепенно в птичьем щебете стал различим слабый сиплый писк.

Девочка остановилась возле больших валунов и показала рукой:

— Посмотри там.

Инесса послушно подобралась к берегу и ахнула:

— Ой, мамочка!

За скользкую каменную кромку цеплялся мокрый дрожащий котенок.

Она села на корточки, одной рукой ухватила за куст, а второй потянулась вниз, вытащила котенка и прижала холодное тельце к груди. Ситцевое платье мгновенно пропиталось ледяной водой.

— Бедняжка. Как он сюда попал?

— Их было пятеро, — сказала девочка. — Остался один. Его зовут Тотти.

— Откуда ты знаешь, как его зовут?

— Потому что он всегда выживает. Мой Тотти. Впервые он пришел, когда я была еще взрослой, — непонятно ответила девочка. — Возьмешь его к себе? Я разрешаю.

Инесса посмотрела на котенка. Он так устал, что в теплых объятиях мгновенно притих и закрыл глаза.

— Тотти... — прошептала она. — Пойдем домой? Ты, наверное, есть хочешь?

Внезапно ветер стих, и тишина заложила уши, как в самолете.

Инесса подняла глаза. Девочки возле валуна не было.

Она хотела позвать, но вдруг поняла, что так и не спросила имени.

Ну и пусть. Сейчас не время играть в прятки. Нужно скорее накормить Тотти.

На крыльце стояли тетя Вика с подругой.

— Час от часу не легче. Скажи, что мне это мерещится! — простонала тетя, увидев Инессу с котенком на руках.

— Не хочу тебя расстраивать, — ответила подруга, выпустив изо рта облако дыма, похожее на маленькое привидение, — но, кажется, твоя племянница держит в руках какое-то животное.

— Это не животное, а Тотти, — возразила Инесса.

Тетя Вика и подруга встрепенулись. Тетя выставила в сторону подруги руку с растопыренными пальцами:

— Тихо! Тсс. Инесса... Дорогая... Как, говоришь, его зовут?

— Тотти, — повторила Инесса. — Он хочет есть.

— Оссподи, спасибо тебе. Она заговорила! Я уж не знала, к каким врачам бежать! Она заговорила! Спасибо тебе, оссподи!

— За это надо выпить, — сообразила подруга.

Только тут Инесса заметила, что обе женщины уже изрядно пьяны. Ну и пусть, зато тетя не требует оставить котенка на улице.

На следующий день Инесса сидела в комнате и

гладила пушистого, как одуванчик, Тотти. Когда шерстка высохла, он оказался полосатым с белыми грудкой, животиком и лапками. И на мордочке — белая маска, словно медицинская повязка. Или будто котенок сунулся в чашку сметаны.

Из кухни снова доносился горьковатый запах кофе и сигаретного дыма.

Там опять беседовали двое, но на этот раз — тетя Вика и старик-сосед, которого она пригласила, потому что тот оказался ветеринаром.

— Значит, ваша племянница спасла котенка? Хорошая девочка, — проскрипел он. — Ну что ж? Проглистогоним, конечно, на всякий пожарный, пару прививок и пациент готов. Вполне здоровое млекопитающее.

— Спасибо вам, доктор, — по привычке громко горячилась тетя. — Видите ли, девочка сложная. Раз это животное помогло ей снова заговорить, я не могу просто так выкинуть его на улицу. Что ж у меня — сердца, что ли, нет?

— Да-а, — неопределенно крикнул сосед. — Кошкотерапия, понимаешь... Как зверя-то назвали?

— Это самое... Как там его? Тотти!

Сосед закашлялся.

— О-о, вижу, изучили наши достопримечательности? — одобрил он.

— Чего-о? Какие еще достопримечательности? — не поняла тетя Вика.

— Известно, какие. Памятник коту Тотти, любимцу поэтессы Эдит Сёдергран.

— Эдит кто?

— Сёдер-гран, — отдельно повторил сосед. — Она скончалась совсем молодой — от туберкулеза. Говорят, кот умер прямо на ее могиле — от тоски. По другой версии, его застрелили еще при жизни поэтессы и она очень страдала по этому поводу.

— Осподи! — воскликнула тетя. — Страсти какие. Нет, доктор, мы нормальные люди — поэзиями не увлекаемся.

— Да? Странно... — протянул ветеринар. — Главное, и окрас совпадает. Тоже полосатый с белым брюхом. Бывает же. Ладно... Пойду я. Приносите завтра вашего Тотти.

Инесса услышала шаги. Скрипнула дверь.

Она вскочила и бросилась на крыльцо:

— Доктор!

Сосед обернул к ней морщинистое лицо и поднял пушистые одуванчиковые брови.

— Да, девочка?

— А когда умер тот кот? Которому памятник.

— Тотти? Да уж почти сто лет назад.

— А вот и нет. Она сказала, что ее Тотти всегда выживает. Всегда!

— Осподи! Да не слушайте вы ее! — всплеснула руками тетя. — До свидания, доктор!

Сосед пошел по дорожке вдоль дома, всё время растерянно оглядываясь, будто что-то забыл.

Он рос в этих местах, когда Роцино еще было Райволой, и, если бы не эта «нормальная» женщина, обязательно признался бы девочке, что давным-давно, когда был не ветеринаром, а просто маленьким мальчиком, — тоже спас Тотти.

Марина ВОРОНИНА
(г. Городец, РФ)

Месяц, месяц, золотые рожки

Притча

Жила-была ведьма. Звали ее Вевея. Больше всего на свете не любила она прозвище «баба Яга». Злилась. Ехидна в досюльные времена от обиды какой-нито нашипела, а ты носи его, будто и впрямь.

Если по справедливости, матушка Вевеи могла, при встрече, обликом ошарашить. В синюшном рту решетка гнилых клыков, глаза что зерна заплесневевшие, по щекам бородавки волосатые. А попробуй с её поработать, еще хуже портрет нарисуется!

Земля от потопа не обсохла, когда великий Див повелел Ягарме северные пустоши лесами зарастить. Во все дни и погоды Ягарма сеяла, сажала, следила и обихаживала хозяйство. Ее рук дело — шум густых дубрав, кисейные рощи березовые, золото сосновых и дремучесть еловых чащоб. Заселила угодыя всякими птицами, зверями, лесными духами. И всё — сама, своим умом и руками. Быть ли норову медовым, а лицу гладким, точно шелк? Обезобразилась тяжкими трудами, не без того. Но что «кости из тела тор-

чат, сосцы ниже пояса болтаются, а ступу черти волокут» — поклеп. Пусть переключит того, кто наврал и по миру разнес.

Дочка у Ягармы красавица знатная. А у глупцов всё от зубов не отлипнет: баба Яга, да баба Яга. Старухи, дескать, страшные и детей едят. Тьфу на них!..

Но это, судари, присказка. Сказка, как водится, впереди. Про то, как и почему исчезла из наших мест чаровница Вевея.

А надо еще сказать, что ведьмы — они, конечно, вечные, да только есть для них милость-разрешение: когда совсем не в мочь или еще чего внутри али снаружи их сотворится нечаянно, вправе они кончить назначенный путь. И самим выбрать, в облике чего за мертвую межу уйти. Так сделала и Ягарма. Триста лет назад уступила владения дочери, превратившись в жертвенное дерево.

Стоит далеко-далеко в лесу высокая-превысокая ель. Узкая, как посох Дива. Ветви у нее не вширь торчат, а вдоль ствола виснут. Каждая хвоинка двойного цвета: слева зеленая, справа синяя. Ходят к той ели люди, поклоняются, помощи просят, Ягарма слушает. И дочь знала, где материна ель, только запрет ей летать туда.

Ох, какая была Вевея!.. Рослая, гладкая и ладная, точно мачта корабельная, гордо вздернутая над водой. Ликом строга, а глаза черничные и блестят, как дождем умытые. Раскрасавица, словом. Даром, тряпьем обвешана. Пять рубах на ней, и все порваны. Для острастки такое придумано, встречных-поперечных шугать: хозяйка владения облетает! Рваньё шумит, шуршит, полощется, поневоле зажмуришься. А грудь-то под рубищем крепка, и руки-ноги целы. И волосы у нее такие желтые и пушистые, точно копну соломы

разворошили. Бывает, в особо знойный полдень копна расцветится нимбом — жуть! Святая снизошла?!..

— Падший ангел, ага! — хохотал по округе леший. — Под зад пинком послали тайгу метлой обмахивать! Тучочки все ангелы, я главный, хах-хах!

Ну, он известный насмешник, еще история меж них приключилась. Вот и плевался дрянными словами, ранить норовил.

Так-то, натуру нашей ведьмы злой не обзовешь, хотя ей по должности велено рвать, метать и в однорядь всех строить. Аукины песни слушала, хороводы русалочки глядеть любила. Но ежели чем задеть — худа не оберешься. Лешему что! Громадный, неуязвимый, подчинения не имеет. А фараонкам куда деваться, подагам, пушевикам где прятаться, когда старшая ярится?.. Нет. Что в полдень, что в любой другой час, речью ли, делом, обитатели зазря хозяйку не беспокоили. Копошимся, живем, как назначено. Но чуть цыкнет — замерли. Арысь-поле, помнится, порядок ведьмин презрела, и где теперь дитя неразумное? Носит ветром от края до края, без прибежища и покоя, когда еще расколдование придет. Нет, ведьма — она ведьма и есть. Не напрасно между стеречь поставлена.

Ведала Вевея, что про нее шелестит лесная братия. Каждый выдох ветра умела читать. Далеко разносятся слухи! Моложе была — злилась. Иной раз вихрем носится среди косматых елей, метлой воздух рвёт: бездельники, пустобрёхи, вот я вас! Разбежится зверье, а подлая нежить — чтоб недовольство ведьмино умерить и потехи ради, — человечешку какого подсунут. Терзай, мол! Терзала... После Арысь-поля только и поутихла. Устала. Надоело. Тоской тягучей обернулись все полёты, порядки, не веселили ни хороводы, ни копошеньё лесавок в густой листве. Лес для нее

замер и остановился, как только отзвучало тогдашнее гневное заклятие.

Лет за сто это случилось, не меньше.

Объявился в лесу новый лешак. Прежний по дурости сгинул. Оборотился шатуном, грибников попугать, чтоб далеко не лезли, и что уж там сделалось, неясно, а только из медведя он обратно не вышел. Теперь в берлоге лапу сосет. Вместо дурня того и прислали Бормота.

Зимой дело было. Морозы стояли страшные. Всё окрест звенело от холода. Деревья не шелохались, снегом заваленные. Под сугробами пряталась мелочь: зайцы да лисы, мыши да ежи с куропатками. Лишь глухари неслухами торчали на ветках, и валялись в снег смёрзлыми кулями. Ими тогда многая живность от голодной смерти спаслась.

Вылетела Вевея на жгучий мороз. Свежего воздуха хлебнуть. Надзор провести. Всё ли на местах, не балует ли кто, не погибает ли попусту. Подкошенную березу с осинки скинуть. Всегда нагладишь, что в вверенном хозяйстве поправить. Вот тогда и встретились с лешаком-то, будь он неладен.

Увидала его Вевея — подивилась. Что за юдо с небес свалилось? Стоит — белесый, плоский, худой, высоченный, сугробы по щиколотку. Весь как берестой покрыт, а глаза болотным туманом заволочены. По плечам волосья ледяным ручьем стекают. Молчит, безгубый рот растянул — дескать, здорово живем, хозяйка!

В каких краях такого отыскали?

— Здоров будешь, — улыбнулась Вевея. — Звать-то как?

— Бор-р-р-мо-том!

Пророкотал, и огнем чаровницу обдало. Каков глосище у ледяного столба! Огнедышащий, громовой. Не Горыныч ли шутки шутит?

Угадал тот её сомнения, захохотал:

— Не бойсь! Свой я. Бормот Батькович. Леший из лешаков, — и, снизив рокот, добавил вкрадчиво, точно масла влил: — А теперича твоим стану. Хочешь ли, хозяйка?..

Только и нашлась Вевея, что — кивнуть. Ужом вполз Бормот Батькович в её сердце, и свернулся там, тесня и покалывая.

Во все дни, что довелось вместе жить, дивилась она, как связываются, не мешаясь, леденящий вид и раскаленная глотка исполина. Сколько он этим перепугал-перепутал народишку — не сосчитать. От одного хохота люди в страх впадали, а если доводилось узреть, как плывет над деревьями верстовая бель, вовсе ум теряли. Пьяницы зареклись в лес ходить. Детишкам бабы наказали дальше малинника не соваться. Заготовки какие — только сообща. Оно и сподручней. Раньше мужичонка захудалый неделю с валежником валандается, так и бросит половину, из сил выбившись. А толпой да поспешая, в ту же неделю вся деревня на зиму дровами запаслась!

Славно жили Бормот с Вевеей. Она из дому, почитай, не вылезала. Всё у пылающей печи, жарит-варит, мухоморы сушит, можжуху перегоняет. Леший за двоих по лесам шурует. Явится — распаренный, взбудораженный, происшествия всякие выкладывает, а той до происшествий дела нет. Спину его берестяную ладошами оглаживает, пятки задубелые сильными пальцами жмет. Отдыхай, суженный, отдыхай, ряженный. Постель гагачью заправлять не успевала — такая любовь меж них кипела! И когда совсем уж Вевея уверилась, что сложилась семья, что так и будут бытовать, в любви и согласии, два могучих лесных недобрика (так людишки зовут — «недобрики», для лес-

ной братии они — сиятельства!), подкатилась напасть, откуда не ждали.

Арысь-поле, Арысь-поле
Нет свободы, будет воля...¹

День-другой, неделя, прекратил Бормот по лесам шуметь, забыл шутейные неистовства. Только птичий пересвист по затихшим борам слышать. Народишко осмелел. Глубоко в чащу не совался, но ближайшие опушки уже обхаживал. За околицами, что ни вечер, песни разливаются, гармоники пиликают.

Ведея, в хлопотах-то, не знала, что вокруг творится, не ведала о переменах. Уходит Бормот буреломить, как обычно, возвращается, когда вздумается. Всегда так. Но когда он трижды за подряд трапезничать отказался и валялся на печи, не милуя в гагачьем пуху подругу, та призадумалась. Смотрела на торчащие с полатей ступни, гадала: что происходит?

На пятые молчаливые сутки, не сказавши слов, лохматый опять ушел. Ведея пустилась следом. Ступу из осторожности дома оставила.

Нюх у ведьм, известно, какой. Ветка чью-то шкуру процарапает — ей уж ведомо, чью и как. Кровь ли где капнет, пот изольется, смола по коре протечет — всё ведьме в ноздри лезет. Но сейчас не горбатым носом учуяла беду. Сердце бабье, стиснутое тоской, подсказало, где Бормот и что с ним. Не шла — чугунные гири по земле волокла. И пришла.

На поляне, залитой лунным светом, стояли они. Лешак сам на себя не походил: рост человеческий, цвет тоже человеческий, грива по спине как живая. И держал он за обе руки девку, простую деревенскую, но уж Ве-

¹ Строки из поэмы Марины Кудимовой.

вее с нею не потягаться. Сама мягкая, дебелая, губы полные, щеки ямочками, брови ласточками, а шея опарой в груди стекает и булками из сарафана прет. Держались полюбовники и смотрели друг в дружку, как зачарованные.

Вдруг Бормот склонился перед девкой, подобрал ейный подол и стал задира́ть, оголяя белые балясины ног. Мшистой болотной жменью зачернело меж балясинами тайное лоно. Кинув одёжу прочь, пал Бормот на колени и ткнулся в мох рылом.

— Ох! — разом застонали девка и ведьма.

— Ох! — в звонком испуге вскрикнула одна.

— Ох-х-х-х... — вторила темнеющим сознанием другая.

Вскочил лешак: кто посмел!.. Углядел во тьме Ве-вею, вспыхнул яростью:

— Ты, проклятая?!

— Я-а-а... — зашипела ведьма, ступая на поляну.

— Бормот, Бормот, кто это? — пряталась за лешачью спину полюбовница.

— Не бойся, милая. Это баба Яга.

— Кто?!

— Дряхлая старуха Ягуха.

— Чего она здесь?

— Не ложится на печи, вот и явилась глазеть. Тоже, чай, хочет, чтобы потрогали.

Забыв про наготу, девка жадно, только что пальцем не тыча, разглядывала известную, доселе не виданную, лесную нежить.

— Ой, совсем как тетка Матрена, женка мельника! Взаправду баба Яга?

— А то! Яга — на башке рога.

— Баба Яга,
Костяная нога,

Спит, пердит,
Колесом вертит,
Пуговицы рвутся,
Прорехи дерутся!..

Подхватила глупая деваха. И так ей сделалось смешно, аж перегнулась, выставив зад.

— Ох, ох! Спит, пердит!.. — ржала и ножкой пристукивала, будто игривая кобылка в стойле.

Лешак тоже ржал, подзадоривая, зло блестя на ведьму ледяными глазами.

— Скачи, Арина! Так ей, проклятой, так! Надоела, молодых хочу!..

— Тпр-ру, окаянная! Стой, безумица! — взывала Вевея, и замерло всё вокруг.

Остановилась девка. Замолчал Бормот. Очарованные не любовью, а страхом, смотрели они, как ведьма, наконец ставшая тем невиданным, косматым, в сучьях, лишаях и коросте, чудищем, поднимает к звездам корявые руки и пронзает ночную тишину кличем:

— Месяц, месяц, золотые рожки! Услышь меня!.. За бесчестие сотворенное опрокинь безумицу в кару, кою та сама накликала!

Зашумел неистово бор, закачался и опрокинулся рожками вниз багряный месяц. Воем вьюги засвистело страшное заклятие:

— Быть отныне ей кобылой, дикой лошадейю, да скакать мимо всех лесов, степей, болот, берегов, островов без продыху, да чтоб ни зверь, ни чудь, ни вихрь, ни один человек не приблизился к ней многие веки. А когда стесутся в кровь сто копыт, иссохнет черной немочью сердце, пусть явится избавитель, да угадает в злом звере девицу, да сдерет с нее шкуру заживо, да сожжет на большом костре! Лишь тогда заклятью моему конец. Звать же её отныне Арысь-поле,

дабы помнила и по смерти страшилась девка бывлой кручины!..

Хлынул ливень, и в блеске дождевых струй успел увидеть Бормот грудь огромной, точно гора, кобылицы, и не было на земле краше лошади, чем она.

— А-ри-ш-ы-сь!..

...Много с той поры минуло дён. Бормот с Веве-ей считать перестали. Обитали они всё в том же лесу, только уж наособицу, не встречаясь, не мешая один другому.

Лешак притих, к лесу оравнодушел. На поляне той памятной ночи просиживал. Надерет лыка на лапти, оседлает пенек, только и слышно, как приговаривает:

— Свети, светило!

Луна из-за туч — зырк! Поглядит на работу да скроется.

Он опять:

— Свети, светило!

Ночь прочь, и лешак с поляны долой. Потом, вроде блаженного, ходит по базарам, лапти продает, пытается: не встречал ли кто кобылу? Красивую, аж зубы ломит?.. Поначалу смеялись, потом уж отмахивались от бедолаги.

А ведьму видели всё реже. В иной час еще покружит, цыкнет на зверье или расшалившихся духов, а так всё домовничает, ночами свечи жжет. Волк седой глядел, дивился, как сидит истуканом ведьма у стола. Здоровая, сильная, очень из себя даже привлекательная — разве ее желтые волосы тусклы? Разве чело покрыто морщинами?.. Сидит, ковыряет щепки в дубовой столешнице. Надоест, нальет в плошку бурой мухоморной настойки, что на лешачью утробу готовила, опять сидит.

— Тоскует, — постановил волчара и улегся под крыльцо, сторожить. — Скучно ей.

Еще бы не скучно! Всё-то она многожды раз видела, слышала, везде побывала, чего надо натворила и сотворила. И любовь была, благодарствуйте на добром слове. Дальше что? Бабой-ягой жить? Лосей разнимать, с медведем из-за порушенной ограды браниться? Да пропади пропадом! Ичетик, кум соседнего водяного, без спросу ольховый омут занял. Днем и ночью лягушек картами забавляет. А ей безразлично. Не струнит, не гонит. Зачем? Явится другой болотник, пятый-десятый.

Тосковала-тосковала Вевея, да и удумала. Полезла в подполье, достала с полки глиняный кувшинчик, обвязанный ивовым прутом. Заветное зелье. На крайний случай припасенное. Пусть и ведьма она, но баба все ж, не всякого ворога посильна одолеть. Где хитрость, а когда и подлость применит.

— Мил-дружок! — пропоет ласково, подливая из кувшинчика. — Не отведаешь ли ядрёна напитокка? Сама бы пила, да жалко драгоценное попусту тратить.

Кто откажется вкусным угоститься? Она и понюхать прежде даст. Каково? Ароматно, не устоять? То-то же!.. Отборные мохряночки в дело пущены. Не один огненный змей, глотнув, костями на частоколе повис.

Настал — решила Вевея — ее черед. Слабина не в мочь ее одолела. Знала, что за самовольство наказание ожидает нешуточное, а все же решилась...

По лесу который день хлестал дождь. Завелся, как скаженный. Будто оплакивал.

Влила Вевея в берестяную чарочку голубоватого зелья. Осмотрелась. Пустые стены. Нетопленая печь. Ничегошеньки не жалко оставлять. И — выпила разом.

Она ждала и знала: разверзнется земля, полыхнет из недр язвительное пламя, но не красная преиспод-

няя, а бесконечный утешительный небосвод распахнулся перед нею. Заискрилось множество звезд вокруг.

— Вевея! — подмигивали, смеялись и звали они. — Лети! Займи своё место!..

Ослепшая, теряющая тело, ведьма дотянулась до ступы и рассыпалась в сверкающем пространстве вечного пристанища.

Она и ныне там, на нас смотрит.

Елена АХМАТОВА

(г. Москва, РФ)

Шаманская сказка

Рассказ

Случилось это в те далёкие времена, когда Небо ласково обнимало Землю, звери и птицы не боялись людей, а сосны были такими высокими, что можно было залезть по стволу на самый верх и рукой дотянуться до звёзд.

Хорошо и радостно жилось на свете, вот только снов люди не видели. Каждую ночь прилетали с Луны птицы с серебристым оперением и склёвывали зёрна снов — не успевали те прорасти чудесными цветами и заполнить ночные видения.

И так бы люди и спали без сновидений, если бы не мальчик Суор.

Жил Суор со своей бабушкой в старом чуме почти на краю Земли. И всё ему было интересно: и как лёд на реке замерзает, и как облака по небу летят.

Часто гулял он среди высоких сосен, играл со зверями лесными и слушал пение птиц. Однажды он нашёл птенца с поломанным крылом — тот из гнезда выпал. Принёс Суор птенца домой, крыло ему вылечил. Птенец окреп, подрос и превратился в краси-

вую птицу. С тех пор птица и Суор стали неразлучны: идёт Суор по тропинке, а птица рядом летит, звенит радостной песней, под её пение и шагается легче, и смотрится по сторонам веселей.

Одно только не давало Суору покоя, и часто спрашивал он у бабушки:

— Почему наши сны такие тёмные? Вокруг столько всего интересного, а мы лежим, как тюлени, и смотрим внутрь себя пустыми глазами.

Но бабушка хоть и долго прожила на свете и была очень мудрой, ответа на этот вопрос не знала и только руками разводила.

Однажды зимой случилась с Суором беда: долго простоял он у реки, засмотрелся на рыб, что подо льдом в реке проплывали, замёрз сильно. И ночью начался у него жар. Укутала его бабушка оленьими шкурами, напоила целебным отваром. Да только не помогло ничего, всё хуже Суору и хуже.

И тогда бабушка откинула полог и выпустила птицу из чума:

— Лети и отыщи великих шаманов, попроси у них помощи. Они тебе не откажут.

Полетела птица вначале на север — туда, где у дальнего моря жил Старый Шаман. В любую погоду отправлялся Старый Шаман в море, умел он своим пением даже самую сильную бурю укротить. Попросила его Птица помочь Суору. Молча кивнул старый Шаман и начал в путь собираться.

А птица на запад полетела. Там в густых лесах жил Шаман-Охотник, он знал язык птиц и зверей, пел песни Ветру. И его попросила птица помочь Суору, и тоже не отказал Шаман-Охотник и отправился в путь.

На восток полетела птица и разыскала там Шаманку-Целительницу. Всё знала Целительница о тра-

вах, цветах и деревьях, могла вплетать в травы заговоренные слова, лечить птиц и зверей. Только увидела птицу Шаманка-Целительница, сразу поняла, что нужна её помощь.

А птица времени зря не теряла — полетела на юг. Там у большой реки, у высоких приречных столбов, жила Шаманка-Садовница. Росли у неё в саду золотые яблоки, да такие сочные и спелые, и так много, что можно было накормить ими всех птиц и зверей, да ещё и людям бы осталось. Улыбнулась птице Шаманка-Садовница, сорвала с яблони три золотых яблока и тоже поспешила на край земли, к старому чуму.

И вот собрались четыре великих шамана вокруг очага и попросили бабушку Суора дров в огонь подкинуть. Весело вспыхнуло сухое дерево, взметнулись вверх горячие искры.

И затянул Старый Шаман песню Северного моря, и перестал Суор метаться во сне. Привиделось ему, что стоит он на берегу моря, волн на море почти нет, и плывёт к нему из тумана лодка. Сел Суор в лодку, и легко полетела она вперёд, рассекая носом туман. И змеился вокруг, светлел и скоро вконец рассеялся, будто и не было его вовсе. Заискрились на волнах солнечные блики, появились в воде радужные рыбы, подплывали они совсем близко к лодке и смотрели на Суора весёлыми глазами. И вот уже в плеске воды начал Суор различать голоса рыб, но тут лодка мягко уткнулась носом в седой песок. И захотелось мальчику выйти на берег и посмотреть, что же там, вдали, среди высоких сосен.

И в этот момент подхватил Молодой Шаман песню, и наполнился сон Суора свежим ветром и голосами птиц и зверей. И почти спал его жар, дыхание стало глубоким и ровным. И тогда Шаманка-Целительница бросила в костёр щепоть сухих целебных

трав и распевным голосом начала вплетать в песнь ветра слова, и приносили они облегчение, и прогоняли боль. А в видения Суора ворвались запахи сочного лета, трав и цветов, и тёплой дорожной пыли, что так ласково щекочет ноги в полдень.

И тогда рассмеялась Шаманка-Садовница и легко вошла в сон мальчика:

— Возьми, Суор, эти три яблока. Одно отдай птицам с серебряным оперением — они унесут его на Луну и больше никогда не будут клевать зёрна снов. Второе раздели между рыбами, зверями и птицами, что помогали тебе сейчас и прогоняли твою болезнь. А с третьим яблоком можешь делать всё, что захочешь, оно твоё.

Так и поступил Суор: отдал он лунным птицам первое яблоко, и улетели те на небо. Второе разделил между птицами, зверями и рыбами, что пришли к нему в сон.

— А можно третье яблоко отдать людям? — спросил Суор Шаманку-Садовницу. — Чтобы не только мне яркие сны снились?

— Твоё яблоко — твоё желание, — улыбнулась Садовница. — Только знай, что у яблока один бок спелый, а другой — нет, поэтому сны будут приходить разные, не только красочные и добрые.

— Ну и пусть, — решил Суор. — Это лучше, чем чёрная пустота.

И с тех пор людям снятся сны. Иногда красивые и яркие, иногда страшные и мрачные. Но когда в дальних садах у Шаманки-Садовницы с ветки срывается и падает вниз золотое яблоко, то снятся особые сны, ароматные и лёгкие, и многому могут они научить, и даже болезнь прочь прогнать.

А ещё могут подарить эти сны крылья, такие же серебристые и светлые, как у лунных птиц...

Вадим ВОЛОБУЕВ

(г. Москва, РФ)

Пёс государев

Рассказ

— Ну вот, граждане, — объявил Соловьёв, толкая дверь и без стука входя в дом. — Теперь и до ваших нетрудовых личностей очередь дошла. Хватит вам среди тёмной массы религиозную неграмотность изводить. — Он извлёк из планшета бумагу и прошествовал к столу. — Получите, как говорится, и распишитесь.

— Выселяете, значит? — мрачно промолвил священник, опуская взгляд на бланк со зловещим заголовком «Особая комиссия при Н.К.В.Д. Р.С.Ф.С.Р.»

— Всеобязательно.

— Да как же это, — всплеснула руками попадья. — И так уже сидим тише воды — ниже травы...

— Знаем мы, как вы тут сидите, — буркнул Соловьёв. — Народная власть, значит, борется с классовым врагом в лице голода, а вы тут позволяете себе Антихриста и мелкобуржуазный образ жизни...

— И кто ж нас выселяет? — обречённо вздохнул хозяин дома. — Губисполком или кто повыше?

— Там обо всём указано. — Соловьёв присел на

табурет и снял буденовку. — Водица у вас найдётся? А то жажда прямо поперёк горла встала...

Попадья ушла за водой, а муж её взял документ и начал читать.

— Особая комиссия... Как враждебный элемент... Ссылка на три года в Мезень... — Он поднял глаза на гостя. — Это ж надо — без вины, без проступка, даже без обвинения. Дожили.

— Какое вам, попам, ещё обвинение? — удивился Соловьёв, вытирая пот со лба. — Пожировали на народных хлебах — и баста. Я бы вас, которые бывшие, вообще к стенке ставил. Для наглядности.

Хозяйка вынесла жестяную кружку с водой. Спросила:

— А может, отменят ещё решение-то? Может, не окончательно это?

Священник хмуро прогудел:

— Не отменят. Понятно же — раздавить нас хотят. Выполоть всю православную церковь под корень.

— И правильно, — сказал чекист, возвращая пустую кружку попадье. — Неча с вами цацкаться. Раз дармоед — получи. Да и граница рядом, того и гляди Антанта нагрянет. Савинковцы тоже шныряют, а вы тут, гражданин Рождественский, контрреволюцию проповедуете... В общем, сроку вам на семейные вопросы — три дня. Потом явитесь в указанный адрес.

— А что там, в этой Мезени-то, господин комиссар? — торопливо спросила попадья. — Нам ведь не одним там жить, а детей ещё кормить надо...

Соловьёв досадливо покачал головой:

— Вы, гражданка, хоть несознательный класс, а должны соблюдать. Какой тут вам «господин»? Господа все до революции были, а теперь кончились. Такой у нас курс нынче. Доступно?

— Куда уж доступнее, — проворчал хозяин дома.

— А что там есть — сами узнаете. Детей ваших как невинных в старом режиме можно в коммуны взять. На перековку и трудовое воспитание.

— Нет уж, — отрезал священник. — Своих воспитывайте. А мы сами как-нибудь...

Соловьёв хмыкнул, поднялся с табурета и от души потянулся, хрустнув суставами:

— А в избе вашей сделаем ответственную ячейку. Партийные будут жить, просвещение устраивать.

Дверь распахнулась, и внутрь влетела запыхавшаяся румяная женщина в цветастой юбке и светлом овчинном полушубке. Увидев сотрудника ГПУ, прям просияла:

— Заарестовывать пришли?

— А вы кто, гражданка, будете? — подозрительно спросил Соловьёв.

— Комарова я, Дарья Прохоровна. Пришла вот напоследок в глаза этому подлецу взглянуть.

— Злорадствуешь, Дарья? — произнёс священник.

— А что ж не позлорадствовать-то, отец Тимофей? Ты мне почитай как бельмо на глазу. Всю душу вымотал.

— Потому как ворожкой занимаешься. А это — от дьявола.

— Погодьте-ка, — оборвал их Соловьёв. — Комарова? Кто такая? Почему не по уставу?

— Вот ещё, уставы ваши! Хватит уж того, что я сигнал вам отправила, на чистую воду этих паразитов вывела.

Попадья всплеснула руками:

— Так это через тебя мы муку терпим? Ой, матушки мои, сил нету... И как тебе не совестно в глаза честным людям-то смотреть?

— Да я в ваши глаза завсегда могу и посмотреть, и плюнуть, Татьяна Сергеевна. Это уж как пожелаете.

— Зараза бесстыжая.

— Не гневи Господа, — пробурчал муж. — Всё в воле Божией. Раз решил Он так, значит, правильно это.

— А ну отставить! — рявкнул Соловьёв. — Суеверной агитации тут больше быть не может. А вы, гражданка Комарова, отвечайте как будто на исповеди: за каким лешим мешаете ходу революционных действий?

— Ну так это... — смутилась гостя, — гляжу, конь ваш привязанный мается, вот и притопала. Потому как долг во мне играет. Не хочу в стороне остаться от событий. Чтоб знали, кто тут радеет за революцию.

— Заслуги ваши перед властью рабочих и крестьян не пропадут, отметятся. Вы в сомнение не впадайте...

— Ну коли так, пусть мне ихний дом и перейдёт. Я не прочь, даже наоборот.

Священник криво ухмыльнулся.

— Вот она, сознательность ваша, — сказал он Соловьёву. — Цена ей — поповский дом.

— Очень вы невнятно поступаете, — укорил работник ГПУ Дарью. — Пока трудовой народ не на жизнь, а на смерть давит гидру капитализма, вы тут ведёте такие странные беседы.

— Да на кой ляд мне ваша гидра! Что мне ею, скотину кормить?

Соловьёв аж рот раскрыл. Хозяин дома произнёс:

— Детей наших тебе не жалко, так хоть душу свою пожалея, Дарья. Господь-то всё видит. — Он многозначительно показал на икону в углу.

— А видел Он, отец Тимофей, как предок твой мою прабабку на костёр отправил?

— Ты это о чём? — удивился священник.

— Будто и не знаешь.

— Помилуй Бог!

— А прапрадеда своего, который в Пскове дьяком был, помнишь ли?

— Прапрадеда? Которого? — растерялся священник. — Да и не окормляло у нас никого во Пскове уже сто лет как...

— Не сто, а пять раз по сто, отец Тимофей.

— Что ты мелешь! Никак пьяная заявила?

— А вот я тебе сейчас покажу кой-чего, — усмехнулась Дарья.

И не дав никому опомниться, зашептала что-то неразборчиво, закрутилась на месте, да так устрашающе, что Соловьёв потянулся за наганом.

— Гляжу, у вас прям гнездо тут... — пробормотал он.

Но оружие вытащить не успел: окружающий мир вдруг исчез, а вместо него явилось нечто ошеломляющее.

* * *

Высокий тёмный подвал. Арочные потолки тонули в дыму и копоти. Пахло потом, жареным мясом и кровью. Доносились слабые стоны. В центре на коленях стояла измученная женщина со связанными за спиной руками, облачённая в грязную нижнюю рубашку, из-под которой белесыми костяшками торчали голени. Рядом кряжистым истуканом возвышался невысокий человек с плетью в руке. На красном от жара лице его мерцали капельки пота, мокрые чёрные волосы прилипли ко лбу. Чуть поодаль виднелся бородач в холщовой рубахе, перепоясанной ремешком, в сермяжных портах, заткнутых в сапоги. Глаза его были полуприкрыты, подбородок прижат к груди; он перебирал чётки и беззвучно шевелил губами — моллился. Ещё дальше, возле короткой каменной лестни-

цы, ведущей к низкой ковanej двери, за маленьким столиком на табурете сидел писарь. Перед ним лежал желтоватый лист пергамента, испещрённый чернильными закорючками.

— На дыбу, что ль? — обернувшись, спросил человек с плетью у обладателя чётков.

Тот поднял лицо, мотнул головой:

— Экий ты торопливый. Всех ведьм мне перекалечишь.

— Ну тогда огнём. Оно даже сподручнее.

Бородач вздохнул, приблизился к женщине. Присел, заглянул ей в лицо, остерегаясь касаться руками. Под глазами у пытаемой набрякли синяки, щёки были расцарапаны, в правом уголке рта запеклась кровь. Приоткрыв губы, она тяжело дышала и дрожала веками.

— Ну что, Дарья, будешь ты правду молвить или железом тебя прижечь?

— Никакой за мной вины нету, — слабо ответила та. — Наговор это. Матушкой Богородицей клянусь...

— Ай-яй-яй, — огорчился бородач. — И как это уста твои поганые святое имя смеют произносить? Да ещё и клясться? Разве не знаешь ты, что Господь Бог запретил нам клясться?

Женщина тупо смотрела на него и ничего не отвечала. Бородач отошёл к писарю, взял пергаментный свиток, раскрутил.

— Сказано было второго дня Марфою — кузнецовой дочерью, — зачитал он: — Сего года шесть тысяч девятьсот девятнадцатого от сотворения мира собирались мы на Крестопоклонное воскресенье у Глашки Сантыповой — жены гончара Ивашки воровать да порчу наводить. Были там, окромя меня, Дашка Створова — дочка Маланьи-чародейки, да Ульянка — вдова по каменщике Потапе, Андрияновом сыне. И та

Дашка показывала нам, как гадать о грядущем и говорить с бесами, а пуще того — вызывать хвори и губить урожай. — Бородач перевёл взгляд на пытаемую: — Показания против тебя несокрушимые, Дарья. Признайся, облегчи душу. Ведь скоро предстанешь перед Создателем нашим. С чем пойдёшь на тот свет? Избавься от лукавого, не то — видит Бог! — возьмёмся за тебя со всей силою.

— Ничего не было, — ответила женщина, с трудом ворочая языком. — Что собирались, то правда. А про хвори и прочее — всё брехня.

— Силён диавол!

— Может, кнутовищем? — предложил палач.

— На дыбу. И калёным железом. Пока всё не признает.

Палач взялся за дыбу, а допрашивающий отступил к кадке с водой и отпил из черпака. Затем присел на ступеньки рядом с писарем:

— Уморился я с ними. А ведь только четвёртая пошла! Сколько их ещё?

— Восемь, — ответил тот.

— Сегодня не поспеем. Придётся завтра сразу после заутрени начинать.

— Да что ж? Разве к спеху дело?

— Князь торопит. Чернь воду мутит, слухи разные бродят. Да и Орден под боком. Не ровён час — ударит.

— Слышно, у них тоже язва пошла...

Палач меж тем вздёрнул стонущую женщину на дыбе, отошёл к пылающей жаровне и, надев рукавицы, взял клещи с раскалёнными зажимами. Бородач встал, приблизился к несчастной:

— Последний раз тебя прошу: искупи грехи покаянием. Признайся во всё. Скажи, кого ещё на зло подбила?

Женщина с трудом подняла веки:

— Будь ты проклят, Тимоха.

Бородач досадливо поджал губы и обернулся к палачу:

— Приступай.

Дикий крик огласил своды пытошной. Послышалось шипение прижигаемой плоти и потрескивание тлеющей одежды. Женщина уронила голову. Пока палач окачивал её водой, приводя в чувство, бородач что-то шептал, перебирая чётки, потом опять обратился к Дашке с увещанием:

— Признавайся, несчастная. Отринь бесовское прельщение.

— Нету больше сил моих, — прошептала женщина. — Истерзали, ироды. Всё подтверждаю. Только прекратите муку эту.

Дьяк прытко подскочил к столу, схватил пергамент. Бросая взгляд то на свиток с письменами, то на женщину, принялся тараторить:

— Признаёшь ли, что на Крестопоклонное воскресенье была у Глашки Сантыповой и там смущала её, Глашку, а також и двух иных соблазнами дьявольскими?

— Признаю.

— Признаёшь ли, что учила вызывать хвори и бедствия, говорить с бесами и отдаваться нечистому?

— Признаю.

— Признаёшь ли, что, побуждаемая сатаной, вместе с другими девицами, тобою смущёнными, навела моровую язву на христиан?

— Всё признаю. Только избавьте от муки.

Тимоха удовлетворённо кивнул и обернулся к палачу:

— Записал свидетельство её?

— Записал.

— Сымай, — махнул он палачу.

Тот начал медленно опускать дыбу. Раздался скрип двери, и в застенок вошёл щеголеватый человек с короткой чёрной бородой, в синих сафьяновых сапогах, коричневых шароварах, расшитых золотым узорочьем, и в перетянутой тугим ремнём коричневой же рубахе. На ремне его покачивался короткий кинжал в ножнах, инкрустированных драгоценными камнями. Все склонили перед ним головы, и только женщина, снятая с дыбы, слабо шевелилась на холодном, пропитанном кровью полу.

— Ну что, дьяк, сведал ли, сколько ведьм у нас зло творили? — спросил гость, сходя по лестнице.

— Двенадцать, князь. Это те, коих изловили. А сколько всего — Бог ведает!

— Старайся, дьяк, старайся! Ежели хорошо мне послужишь, я тебя перед владыкой отличу.

— Не за корыстью, князь, гонюсь, но за выгодой людской и Божеской. Сам о том знаешь.

— Знаю, знаю... — рассеянно ответил вошедший. Потом подошёл к Дарье и некоторое время с любопытством её рассматривал: — Кто такая?

— Дашка Створова, — ответил дьяк. — От неё всё зло пошло.

— П-паскуда. Не уморил ты её, Соловей? — спросил вошедший у палача.

— Обижаешь, княже. Я своё дело знаю.

— Смотри у меня! Не доживёт до костра — запорю.

— Не тревожься, князь, — благодушно изрёк палач. — Доживёт.

Гость снова обернулся к бородачу:

— Зло своё признала?

— Признала.

— Хорошо. — Князь наклонился к женщине, проорал ей чуть не в ухо: — Каково тебе с дьяволом-то было, сука? Небось знатные тебе выгоды сулил? Отвечай, зараза!

Из горла несчастной донеслись хрипы и тяжёлое дыхание, спёкшиеся губы дрожали от боли. На князя она не смотрела.

— У, сатанинское отродье, — с ненавистью бросил тот.

— Позволь, княже, спросить тебя, — вновь подал голос дьяк.

— Давай.

— Как с добром ведьминым поступить? Раздать людям, перевести в казну или спалить?

— Поступай как знаешь. Мне до этого дела нет.

— Благодарствую.

Князь сделал несколько шагов к выходу, но вдруг остановился и положил руку на плечо Тимохи:

— Старайся, дьяк. Усердно старайся! Чтобы и духу здесь сатанинского не осталось. А уж я за тебя в Москве словечко замолвлю.

Тимоха поклонился и ничего не ответил. Князь вышел.

* * *

Картинка опять смазалась, зарябила, краски смешались, и сознание присутствующих перенеслось обратно в избу отца Тимофея.

Соловьёв захлопал глазами, будто спросонок, оглядел всех и, помедлив, выдавил:

— Хм, прикорнул, кажись. — Он потёр веки, произнёс хрипло: — В общем, граждане, диспозиция вам ясная. Чтоб через три дня как штыки... — Он не договаривал, ещё раз бросил взгляд на Комарову и протопал к двери.

— Так домик-то я себе заберу, — бросила ему вслед доносчица.

Соловьёв лишь досадливо махнул рукой и вышел вон.

— Ишь ты, пёс государев, — с улыбкой обронила Комарова. Потом глянула на притихших хозяев дома и произнесла задорно: — Так-то вот, граждане будущие ссыльные! Грабь награбленное, забирай то, что отнято было. Бог — не Тимошка, видит немножко. — Она захохотала и, развернувшись, выскользнула из дома.

Попадья очумело повела головой, машинально перекрестилась, спросила у мужа:

— Это что ж такое было? Наваждение, что ль? Ведовство?

Отец Тимофей глядел в одну точку. Потом очнулся, издал тягостный вздох и промолвил отрешённо:

— Бог — не Тимошка, это да. А я-то кто? Тимошка и есть...

Инна ДЕВЯТЬЯРОВА
(г. Санкт-Петербург, РФ)

Могила ойууна¹ Монньогона

Рассказ

Сны разливались чернотой под веками, пахли терпко еловой хвоей и застоялой озерной водой. Андрей закрывал глаза — и сны обнимали его тысячей мягких рук, вели за порог, сквозь поскрип иссохшейся двери, сквозь комариные писки над ухом и гулкое уханье сов — по ночному, замершему лесу, туда, где, отражая собою луну, раскинулось бесконечно огромное озеро, и утки возились в его камышах, и рыба бесшумно скользила под темною гладью его.

Ш-шурх! Что-то нежно коснулось щеки, едва ощутимое, словно птичье перо из подушки, оставленной им тысячу шагов назад по ночному, промозглому лесу, в уютности теплой избы, там, где тикали над головою часы, отсчитывая привычно идущее время... здесь же время теряло свой счет, растянутое, изломанное сырой темнотой, поросшее мхом и плесенью время его заточения в снах. Ш-шрх! Он протянул руку во тьму — и рука его коснулась дрожащего пти-

© Инна Девятьярова, 2020

¹ Ойуун — якутский шаман.

чьего бока, уткнулась в колкие перья неостановимо бьющихся крыл.

— Курл... курлы-а-а! — серой, заблудившейся тенью журавль скользнул над затылком его, призывно махнул крылом — мол, за мною, по иглами встопорщившейся траве, мимо елей, плюющихся шишками под ноги — быстрее, и не отставать! — А-а-курл!

И он шел, опасаясь послушаться, и из-под ботинок его порскали недовольные зайцы, и белым — бездумно светила в небе луна, и свет ее вычернил силуэт на ветке, что встала вдруг посреди пути неодолимой оградой, перекрывая дорогу.

— Токи, токи... ток-тодок! — запрокинув к небу игольно-острый клюв, глухарь пересчитывал звезды, белыми ягодами проросшие в черных поднебесных кустах, призывно манящие с невероятных вершин глухариные, бусенично-круглые птичьи глаза. — Ток... ток-тодоке!

Звезды гасли, одна за другою, тронутые точным клювом в самую сердцевину, оставляя небу одинокое блюдо луны, бледное, с желтизной по краям, и гулко-пустое. А потом — луна загудела угрожающим гонгом, точно готовясь обрушиться вниз, разбиться — на тысячу тысяч зеркал, и дрогнули ели, мохнатые вершины свои склоняя пред нею, точно перед начавшимся ураганом, и лес расступился, давая дорогу блеклой озерной воде, с останками звезд, потонувшими в ней.

— Гу-гу-гу... чвирк! — тяжело распахнув необъятные крылья, лебедь выплыл из-за камышей, вопросительно выгнув шею, взглянул на луну, оттеняющую с неба его белоснежие. — Чвир-рк, гу-гу-гу-а!

И луна зашептала, запела, и в свете кружащихся лунных лучей, там, на озерном берегу, полускрытые лебедиными крыльями — показались четыре сосны, с верхушками, обкусанными безжалостными

топорами, мертвенно-черные, возносящие к небесам гроб-арангас², колыбель для уснувших навеки в этой непроглядно глухой ночи, спящих без сновидений. А потом — арангас зашевелился, сходя со своего основания, и крышка его отворилась со скрипом.

— Подойди, — глухо зазвучало над елями. — Подойди, беспамятный, забывший предков своих, забывший уважение к своему роду...

И Андрей пошел — навстречу лунному свету, люющемуся везде и ниоткуда, навстречу сиянию лебединых распахнутых крыл и черной, зверино оскаленной пасти полуоткрытого арангаса, в котором сидел, приподнявшись, крошечный сморщенный старичок, хихикая, манил его скрюченным пальцем.

— Мое почтение, дедушка! — в горле высохло разом, будто провели наждаком, в глазах — мелькнуло белой лунною вспышкой, когда немеющие с каждым шагом ноги донесли его до корнями вцепившихся в землю сосен — крепко-накрепко, чтобы воздушно качающийся арангас не унесло в небеса, и лунобородый старик так и оставался навеки — прикованным к этой земле и этому лесу. — Что ты хочешь передать правнуку своему в этот раз?

— То же, что и в прошлый, и в позапрошлый... — лунный свет содрал с лица старика мясо и кожу, оставив лишь костяной, оголившийся череп с высушенными клочками волос. Щелкая зубами, череп остановил взгляд своих опустевших глазниц на лице его, привычно улыбнулся, оскалясь. — Останки мои должны быть перезахоронены трижды. И я не вижу, чтобы кто-то из вас спешил исполнить положенное. Мой арангас полусгнил, трухлявое чрево его полно

² Арангас — шаманская воздушная могила, при которой гроб укладывали на четыре рядом стоящих дерева с отпиленными вершинами, а перезахоронение — делалось трижды, по мере разрушения арангаса.

жучков-древоточцев, они нудят и нудят над ухом моим денно и ночью, и мешают мне спать! Мой палец на правой руке... — он потряс в воздухе калечной четырехпалою кистью, — мой палец лишился своего сухожилия и отвалился, закатившись за спину, и теперь мне неудобно лежать! Сквозь дыры в арангасе течет солнечный свет, не давая покоя... долго еще будут продолжаться эти мучения — того, кто при жизни отдавал все силы благополучию своего рода?

Гулкий, страшный голос его ветром взметнулся над елями, отозвавшись в отдалении раскатистым ухом совы, и жалостно чвиркнул лебедь, исчезая во тьме, унося от опасности свою белоснежность, и сосны зашелестели, точно пробудившиеся от спячки злые абасы³ — одноногие, однорукие, надвинулись ближе, злобным шепотом вызывая из темноты новые и новые сонмища духов.

— Помни, что я сказал тебе, правнук мой... — прощально отозвалось под ухом, еле слышимое, как писк комара, — помни, если не хочешь, чтобы великие бедствия обрушились на род твой...

И огневое, рассветное зарево засияло над лесом, прогоняя прочь ночные видения. И Андрей проснулся — в мокрой от пота постели, в привычных четырех стенах своей старой избы, от солнца — рыжего, ясноликого, лучами своими бьющего прямо в глаза, пробудился со всхлипом, лежал, пытаюсь унять сердечное колотье.

— Завтра же собираю людей. Хватит. В ближайший ысыах⁴ — дело и проведем... невозможно ж тер-

³ Абасы — злые духи якутской мифологии, ростом с дерево, одноглазые, однорукие и одноногие.

⁴ Ысыах — главный якутский праздник, отмечается в день летнего солнцестояния. В ысыахах жгут костры, кропят их, траву и деревья кумысом, ведут хоровод осуохай вокруг шеста, двигаясь по направлению солнца.

петь уже, — он приподнялся на кровати, промокая ладонью испарину на разгоряченных щеках. — Да и прав Старик — непочтительно это. Справедлив его гнев...

И, сжатое тисками страха, сердце умерило свой бешеный стук, давая спокойствие — мыслям его, растревоженным ночными кошмарами.

* * *

Полдень наливался солнечным жаром, гудел мошкаркою, зеленью утрамбованной ногами травы радовал глаз. Полдень вел хоровод — неостановимо движущееся колесо-осухай, что ехало по земле вальжно-неторопливо, ведя за собою на ниточке масляно-румяное солнце, и шест, перевязанный лентами, торчал в небеса колесною осью, и огненно полыхали костры.

— Товарищ Максимов!

Андрей обернулся — пронзительно-звонкому, точно ястребиный повскрик, голосу подошедшего. Узкие, едва видные из-за заплывших щек, темные глазки смотрели на мир с хитрецей, рогатая шапка на теме его по-бычьей целилась в небо. Он перемял пальцами воздух, накаленный от жара костров, будто о чем-то раздумывая, а потом — выпалил скороговоркою:

— Как у председателя колхоза поинтересоваться хочу... хоть и не мое это дело вовсе — а как расходы эти списывать будешь, как перед го-су-дар-ством, — его голос невольно возвысился, делая произнесенное важным и значимым, — отчитываться? Как бы растрату не пришили...

Андрею припомнилось, враз пролетело перед глазами — ночное озеро, скрип полусгнившего арангаса, голос над поутихшими елями — тяжелый и страшный, впечатывающий в сырую, промозглую землю

невывсказанные проклятия, и это было тысячекратно ужаснее, чем все беды, что могло обрушиться на его голову всемогущее го-су-дар-ство, установившее в Атамае советскую власть, красные, кровавого цвета, флаги повесившее над атамайскими избами. Власть была юна, горяча и отчаянна, волчьи, точеные зубы ее рвали в куски посмевших усомниться в силе ее хоть на йоту... но силам ее были пределы — и пределы эти звались самою смертью, проклятие же родовое — простиралось куда дальше...

— Не знаю, почтенный ойуун Омокун, — глазами ошаривая хоровод, пляшущий посолонь, обронил Андрей — небрежно, точно травинку, к одежде приставшую, оземь. — Как получится — так пусть и будет. Выхода у нас другого нет, и тебе ли, как ойууну, этого не понимать? Растрату мы уж как-нибудь перетерпим. А вот гнев Старика...

...Солнце садилось за косматые ели, кровавило небо рыжим закатом. Скрипя, останавливалось колесо-осухай, цепляясь за шестовую ось, и белые капли кумыса летели из кувшинов, кропя собою траву, и сосны, и затухающие под ними костры. Андрей шел вслед за Омокуном, ведя в поводу красно-пегого, ясноглазого жеребца, что фыркал испуганно, косясь на сторожко замершие ели, по тропке, протоптанной сквозь траву расшитыми унтами ойууна, и в такт жеребиным пофыркам — жалостно взмыкивала корова, белой, пятнистою мордой приникая к кустам, точно пытаясь укрыться от неизбежного. Петляя ниткою между древесных стволов, тропа вывела к озеру, холодной хрусталью волн расплескавшемуся от берега и до берега, и у подножия его, распятый на четырех соснах, шестом-лесенкой упертый в шаткую землю — висел арангас, а в чреве его — видел сны заблу-

дившийся в них навеки, черные, беспокойные сны... Андрей вздрогнул, вспоминая, как случилось ему глянуть в них — всего лишь единым глазком — будто с головой окунуться в беспросветно, смоляно-жуткое, что несли в себе эти мертвые сны. И он не хотел больше этого видеть.

— Прости нас, неразумных потомков твоих, почтеннейший ойуун Монньогон! — выдохнул он, склоняясь в земном поклоне перед арангасом. — Прости, что так долго шли на зов твой, что о могиле твоей не заботились, в третий раз не перезахоронили, как требовала твоя душа. Прости, что медлили с жертвами, почтеннейший. Будь и дальше милостив к нам, великий ойуун... Начинайте! — махнул он рукою Кэндэю и Тэрийти, что держали бешено водящих глазами, копытами в песок упирающихся жеребца и корову. — Пусть огненный вкус жертвенной крови насытит душу великого ойууна!

И кровь плеснулась, пачкая озерный хрусталь, теплой, парною струей ливанула из перерезанных жил, и рвано сучил копытами умирающий жеребец, и угасали высокие сосны в мутнеющих, слезою подернутых коровьих глазах. Когда же последние кровавые капли принял в себя, впитал без остатка холодный озерный песок, Андрей подступил к арангасу, ладонями взялся за темные, занозистые борта его — лодки, отошедшей в последнее плавание, толкнул, поднатужась, тяжелую крышку.

...Сны не солгали ему — он был точно такой же, объединенный смертью до самых костей, с пожелтевшими пучками волос, прилипшими к темечку — великий ойуун Монньогон, забытый ойуун Монньогон, владыка мертвых озерных снов и тягучей, тянущейся за ними тьмы. Губами коснувшись костяного лба, Ан-

дрей перевернул мертвеца, оказавшегося вдруг невесомо-легким, точно лебединое перышко, вынул из-за спины его закатившийся палец.

— Жилы конские подмогою будут, — обронил он Омокуну, чьи красные от крови ладони еще хранили в себе холод жертвенного ножа. — Снова станет цельным тело его... камлай, ойуун!

И ысыях продолжался — протяжным пением Омокуна, и ели слушали его, склоняя под ветром вершины, и танцевала под пальцами нить, сшивая разорванное, соединяя вновь некогда целое, и ночь забирала в себя — огневеющее пламя костра и стук топоров, молчаливые черные тени и раскрытые в пении рты, треск еловых шишек под унтами пляшущих — и тяжелую, недобрую тишину, что скомкала, стиснула голоса, когда, хватаясь руками за грудь, ойуун Омокун вдруг свалился на бок, суча по песку унтами, и по нижней губе его поползла ленточка крови.

— Провожатый мне требуется, — услышал Андрей в мертвенной тишине, враз повисшей над озером, точно душное облако. — Слышишь меня, правнук мой? — с новыми толчками крови рванулось изо рта Омокуна. — Коли добровольца не будет, камлавшего ойууна с собой заберу... но только беды на весь ваш род после того обрушатся, неисчислимы беды...

И Андрей понял, ощутил, каждой клеточкой кожи, леденеющей под десятками глаз — что это он, он, ответственный за все, председатель колхоза товарищ Максимов, должен встать, как на партсобрании, встать и выйти вперед, и сказать, подняв руку: «Я. Я вызываюсь добровольцем!», и уйти — вслед за ойууном Монньогоном, провожатым на вечном пути, навеки оставшись в черном, смердящем смертью лесу... и со стыдом осознал, что не может, что горло его точно

закостенело, погребая в себе несказанные слова, что ноги его, в щегольских кожаных ботинках — будто бы приросли к земле, не в силах сделать ни шагу, развеивая мертвенный морок... а потом — кто-то тихо прокашлялся по правую руку его и шагнул вперед, прерывая собой тишину.

— Я согласен. Достаточно уже на этом свете пожил, почтеннейший ойуун Монньогон. А Омокуна оставь, не надобно это...

Он узнал — голос собственного деда, надломанный старостью, с хрипотцой, присущей любителям покурить. Дед вышел в расступившийся круг, присел на корточки, подавая ладонь ошалело вращавшему глазами Омокуну, успокоительно глянул — туда, где чернеющей горою плыл в бледном рассветном небе силуэт арангаса.

— Дедушка... — сипом выдавил из себя Андрей, — зачем ты так... это ж мое... моя жертва должна быть...

— Твоя жертва еще впереди, — закатив глаза до пугающе-ярких белков, вдруг произнес Омокун, кривя окровавленный рот. — Ждут твой колхоз неприятности, власть ысыях не простит... но ты эти неприятности, выдержишь, знаю. Да и я тебе помогу.

И Андрей смотрел в зыбкий, предрассветный туман, бледным маревом кутавший сонное озеро, и думал о неприятностях миновавших и о тех, что еще впереди, и в мыслях его больше не было страха — лишь единая обреченность, та, что носили в себе ведомые на убой к арангасу жеребец и корова — до последнего своего мига.

Лампа била в глаза ярче самого яркого солнца, ослепляющим кинжалом лучей выжигала слезу. Андрей повернул голову к стенке — туда, где в лишенном света оттенении, в бронзой крашеной рамке строго смотрел портрет — за всем, происходящим сейчас в кабинете, и в черных, как сажа, глазах его не было ни следа осуждения, и рисованная трубка во рту его не пыхла в ответ ни единым колечком сизого дыма.

— Долго еще молчать будешь?! — грянуло над ухом. — Говори, говори, вражина, с кем стакнулся, все имена назови!

Роняя брань с перекошенных, капельками слюны забрызганных губ, следователь нависал над ним, бил кулаком — в столешницу прямо перед Андреем, так, что пегая от синих потеков чернильница вздрагивала в такт, всеми своими боками, и Андрей протянул руку, и успокоительно коснулся ее, пачкая пальцы в синей чернильной крови.

— Руки! Руки убрал от бумаг! Вражина, растратчик! — взревел, осатаняясь, следователь. — Думаешь, с подельников твоих не спросим?! Со всех спросим, все у меня говорить будут! Развел тут у себя в колхозе религиозную пропаганду! Пригрела вражину советская власть!.. Алексеев, побеседуй тут с ним, как ты умеешь. Чтобы понял...

И жадно распахнувшая пасти свои темнота за спиной его колыхнулась, выпуская к свету невысокого, крепко сложенного человека в штатском. Скучаяще посмотрев на Андрея, он примерился и — обрушил удар свой с размаху в лицо, и, радостно клацнув зубами, темнота поглотила Андрея, черная, ударами бубна грохочущая темнота. И в ней — были искры от тысяч

костров великого, мирового ысыаха, и жесткой кабаньей щетиной пружинила под ногами трава, и шест арангаса торчал в небеса, точно покривившаяся ось от телеги — невообразимо огромного арангаса, вознесенного соснами под самые облака. И Андрей засмеялся — тому, что все наконец-то закончилось, и, приподнявшись на цыпочки, оттолкнулся от иглами впившейся под лодыжки травы, и, журавлино крича, полетел вдоль шеста арангаса — бесконечной лестницы в небо, туда, где цепляясь унтами за облака, брел нетвердой походкою ойуун Монньогон, и слепые глазницы его не дразнило сияние солнца, и костлявые плечи его поддерживал провожатый, не давая упасть.

— Монньогон! Ты обещал! Обещал защитить их! — выкрикнул Андрей, настигая, простирая перьями обросшие руки свои — туда, в неоглядно широкое поле, где шумел ысыах. — Обещал отвести беды от этих людей! Вспомни свои обещания!

Монньогон обернулся. Дымкая, безмятежно клубилась тьма над его головою, обращаясь то черным, будто сажей окрашенным лебедем, то взъерошенным глухарем, и из горла ее вырывались сипучие звуки, и сомкнутые губы Монньогона были молчаливы и тихи.

— Я не забыл обещанного, правнук мой, — наконец произнес он, светлячками выпуская во тьму скупые слова. — Возвращайся назад и больше не беспокойся — ойуун Монньогон держит свое слово. А твоя жертва — принята.

И Андрея закружило, точно пушинку в воздушных потоках, подкинуло под самое небо, там, где края его жались к земле, швырнуло в чмакнувшую за спиною, всепоглощающую пустоту, выбивая дыхание из груди, а когда же дыхание вновь возвратилось, неся с собой непривычно яркие краски и прорвавшиеся,

словно сквозь упругую пленку, далекие голоса — Андрей обнаружил себя присаженным на мягкий диван в кабинете, и под головою его твердел круглый диванный валик, а ноги — бессильно свисали вниз, на опасно качливый пол.

— ...ничего не понимаю. Приказ от самого прокурора... — донеслось до просыпающегося слуха Андрея, — прекратить дело за отсутствием состава преступления...

— ...ну да, мол, какая пятьдесят восьмая статья? Что взять с них, это ж колхозники темные... не так поняли новую конституцию товарища Сталина... ту статью, где о свободе отправления религиозных культов... ну и дела...

Слова лопались в ушах, как воздушные пузырьки, с шорохом осыпались сброшенной конфетной оберткой, и во рту Андрея было сладко — от тягучего привкуса собственной крови. Он посмотрел на стену — туда, где, сжимая губами вечно молчащую трубку, из тьмы выступал портрет — с черными, будто сажей очерченными глазами, и бронзой окрашенная рамка обрезала его орденами украшенный китель по самые плечи, и Андрею отчего-то подумалось, что ниже плеч портрета — та самая темнота из мертвого, в снах утонувшего леса, что тьма смотрит — глазами его, и лучше не заглядывать в эти глаза, если вновь не хочешь заблудиться в лесу, а потом — кто-то щелкнул пальцами перед носом его, приводя окончательно в чувство.

— Очнулся, вражина? — беззлобно хмыкнул следователь ошалелому, испуганному взгляду Андрея. — Ну, ну, не дрожи так, бить больше не будем. Отпускаем тебя подобра-поздорову, обратно в колхоз. Работай там, на передовой, так сказать, социалистических строек! — Он крякнул, со значением указав на портрет. — Приказ пришел на тебя, сверху спущен-

ный... так что — извиняй нас, ошибка вышла, зазря арестовали. Перегибы на местах, как сказал товарищ Сталин... головокружение от успехов... Алексеев! Проводи товарища к выходу!

И Андрей вышел — вслед за тяжело ступающими сапогами в подсвеченную лампочками коридорную полумглу, и полумгла развеялась — светом настезь распахнутой двери, за которой — невозможно рыжее и яркое до бесстыдства — ярилось закатное солнце, истирая из памяти последние ключья меркнувшей тьмы.

* * *

— И? Вот прямо так и отпустили? А ойуун ваш — он больше не приходил? — вопросы сыпались из фотографа, как щебень из дырявого мешка; приплясывая на месте от нетерпения, он едва ль не хватал за руки Андрея, дерганый, суетливый, будто отогревшийся под теплым солнцем кузнечик, скачущий споро с одной зеленой травинки на другую на вечно беспокойных ногах. — Это... это просто потрясающе, дедушка! Такой репортаж сделаем — бомба! А ну-ка, встаньте-ка вот сюда, на фоне дерева! Улыбочку!

Щелк! Глаза Андрея змеино ужалила вспышка, так, словно ненасытное летнее солнце вдруг грянуло навстречу из черного короба фотоаппарата, ответно вышибая слезу. Он оглянулся — все, как и лет сорок назад: курчавившееся облаками белесое небо, травы по самый пояс, раздобревшие от долгих дождей, строгие мохнатые ели, угрожающе нависшие над головою... и тропа к озеру, та самая, по которой несли его когда-то еще молодые, здоровые ноги и по которой сейчас мчался фотограф, нелепо взмахивая руками,

будто боясь опоздать — к пришествию ойууна Монньогона, к навеки укрытой в лесах могиле его.

— Репортаж, говоришь? Ну-ну, посмотрим, какой репортаж... посмотрим, что ойуун Монньогон тебе по этому поводу скажет... — прокашлявшись в бороду, Андрей отвернулся, протирая глаза — от крупинок намертво въевшейся вспышки. — С нашим ойууном — не в игрушки играть, с ним шутки плохи... жаль, не сразу это в пониманье приходит.

И, прихрамывая на травяных кочках, он двинулся прочь — в сторону строго

**Лауреаты Международного литературного конкурса
«Петроглиф» в номинациях «Реалистическая проза»
и «Фантастика»**

Кожин Олег

Мошников Олег

Пупышев Сергей

Нетребо Леонид

Филичкин Александр

Кучеренкова Ирина (Денисовская)

Качалова Юлия

Воронина Марина

Лозович Виталий

Девятьярова Инна

Братов Мурат

СОДЕРЖАНИЕ

МИР РЕАЛЬНЫЙ

Владимир Софиенко. Смотритель реки. <i>Рассказ</i>	7
Ольга Вершинина. Песня Севера. <i>Рассказ</i>	48
Наталья Сергеева. Шаманские штучки. <i>Рассказ</i>	62
Олег Мошников. Гармошка. <i>Рассказ</i>	80
Сергей Пупышев. Пинь-зи-пинь (Вечная песня синицы). <i>Рассказ</i>	86
Диана Неверова. Габбро. <i>Рассказ</i>	106
Александр Вальт. Коса. <i>Рассказ</i>	119
Елена Халдина. А вы робят моих не видали? <i>Рассказ</i> (Из цикла «Деревенские посиделки»).....	130
Ирина Михайлова. Подвиг. <i>Рассказ</i>	136
Юлия Федина. Быть помором. <i>Рассказ</i>	144
Михаил Соловьев. Вечная охота. <i>Рассказ</i>	158
Леонид Нетребо. Полуостров Налим. <i>Рассказ</i>	164
Владимир Шпаков. На карнизе. <i>Рассказ</i>	178
Виктор Авива Свиначев. Северное сияние под названием Амнистия. <i>Святочный рассказ</i>	187
Леонид Левинзон. Мчится поезд курьерский. <i>Рассказ</i>	191
Виталий Лозович. Голубой лёд Хальмер-Го. (<i>Сокращенный вариант</i>).....	208
Мурат Братов. Ангел. <i>Рассказ</i>	222

МИР ИРРЕАЛЬНЫЙ

Олег Кожин. Снежные волки. <i>Рассказ</i>	241
Ольга Набережная. Самое дорогое. <i>Рассказ</i>	253
Влада Ольховская. Холодная вода. <i>Рассказ</i>	267
Владимир Софиенко. Небесная кобра. <i>Рассказ</i>	278
Владимир Шпаков. В облаке пара. <i>Рассказ</i>	301
Александр Морозов. Постоянный клиент. <i>Рассказ</i>	314
Александр Шушеньков. Запечник. <i>Рассказ</i>	330
Рена Арзуманова. Федя-соловей. <i>Рассказ</i>	345
Роман Комаров. Кукушка. <i>Рассказ</i>	353
Дмитрий Петров. Огрызок. <i>Рассказ</i>	369
Александр Кузнецов. Королева. <i>Рассказ</i>	374
Анна Лужбина. Сердоболь. <i>Рассказ</i>	376
Юлия Качалова. Авиталгык. <i>Рассказ</i>	387
Юлия Шоломова. Тотти. <i>Рассказ</i>	401
Марина Воронина. Месяц, месяц, золотые рожки. <i>Притча</i>	410
Елена Ахматова. Шаманская сказка. <i>Рассказ</i>	421
Вадим Волобуев. Пёс государев. <i>Рассказ</i>	425
Инна Девятьярова. Могила ойууна Монньогона. <i>Рассказ</i>	436

ЖИВОЙ СЕВЕР

Сборник рассказов

Ответственный редактор *Александр Сидорович*

Редактор *Светлана Васильева*

Корректор: *Нина Виноградова*

Верстка *Светлана Полянская*

«Издательство Сидорович»

Подписано в печать 09.04.2020

Формат 84×108 1/32. Гарнитура «Петербург».

Печать офсетная. Усл.-печ. л. 13,44. Уч.-изд. л. 9,2.

Тираж 500 экз. Заказ №

Отпечатано с готовых файлов заказчика

в АО «Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д.1

Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru,

т. 8 (499) 270-73-73.